



---

**АРК. БУХОВ**

Аркадий Бухов

Жуки на булавках

Из ранних рассказов

Из сборника «Жуки на булавках»

1915

Первый опыт

I

Однажды меня позвали ехать на бега. Так как это предложение исходило от лиц, которым я ничего плохого не сделал, мне оно не показалось планомерным и заранее обдуманном вовлечением в невыгодную сделку. Говорят, что в первый раз это не кажется никому.

Один из убеждавших меня людей хорошо знал лошадей. Когда он говорил о них, казалось, что он провел все свое детство в беговой конюшне, умеет быстро сойтись с любой, даже самой замкнутой, лошадью и выведать от нее беговую тайну завтрашнего дня. Порой я даже удивлялся, почему у него еще не вырос хвост.

– Ты понимаешь: приходишь ты на бега, ставишь на лошадь десять рублей, и представь себе твое удивление, когда тебе выдают сто сорок рублей.

– Это будет даже не удивление, а вернее – радость, – согласился я, – тем более, если можно будет поставить еще...

– Ну конечно, можно... А больше поставишь – больше и дадут...

Признаюсь, что у меня даже мелькнула мысль о застойном состоянии нашей промышленности, раз есть такая область, где каждые десять рублей охотно оцениваются суммой в четырнадцать раз большей, тем более без всякого применения физического и умственного труда.

– Будешь сидеть и смотреть, а тут тебе деньги...

– Я понимаю, что мне самому бегать не придется... Я не настолько жаден, чтобы увеличивать

свой заработок трехверстным пробегом. Но неужели это так?..

– Да, только поедем... Ты сам увидишь... У меня есть верные лошади.

– То есть как верные?

– Да так уж, верные. Не выдадут.

Было похоже, что меня зовут на какое-то темное дело, где верные сообщники обещались не выдавать. Это давало богатую пищу моей любви к необычайным происшествиям, но мало говорило чисто практическим соображениям.

– Все-таки, может быть, ты объяснишь...

– Вот привязался, право... Мне жокей говорил...

– Ах, жокей... А что же, жокеи тоже бегают?

– Еще острит. Не жокеи бегают, а лошади.

– Знаешь, если бы тебе сказала сама лошадь, я был бы спокойнее.

Все-таки я поехал.

II

Около входа на места резко обнаружилось мое первое незнакомство с беговыми обычаями.

– Пойди отдай в кассу три рубля, – сказал мне один из близких.

– Как же это так, – поморщился я, – еще не видел ни одной лошади, а уже отдавай... На какую же ставить?

– Фу-ты, дурак... Это же за себя.

Я испуганно посмотрел на своего спутника и хмуро полез за деньгами.

– Я лучше за тебя поставлю. Ты здесь свой человек. Я проиграю.

Через несколько минут я понял, что это брали за право попасть на те места, где выдают вместо десяти рублей сто сорок. Это была выгодная комбинация, против которой протестовать было нелепо...

Из какого-то уголка, приветливо прижатый группой разговорчивых людей к стене, я смог сразу осмотреть весь ипподром, по которому мирно и спокойно ездили на лошадях люди, одетые в куски самых разнообразных материй. Так приблизительно одевают к маскараду молодых людей провинциальные костюмеры, у которых все уже разобрано и для шестерых желающих остались только костюм Офелии, розовое домино и два рыжих парика.

В жизни жокеи одеваются значительно скромнее и выдержаннее. Многие из них, заходя даже запросто к знакомым, не надевают красных шапок и зеленых штанов.

– Ты видишь эту лошадь?

– Вижу. Черная?

– Черная. Пятый номер. На нее и ставь. Выиграет.

– Именно эта? Черная? Ты это верно?

Я посмотрел на лошадь. У ней был простодушный вид, совершенно не подчеркивающий ее желания оказать мне небольшую денежную услугу.

– Значит, она наверняка?..

– Ну, еще бы...

Тон у него был настолько уверенный, что я перестал сомневаться. В конце концов, у лошади не может быть человеческой страсти насолить малознакомому и остаться последней только для того, чтобы посмеяться потом с другой лошадью над моей недальновидностью. Я вспомнил, что в специальных трудах я не встречал таких примеров в описании лошадиного характера. Деньги в кассе тотализатора у меня взяли охотно, что еще раз в моих глазах подчеркнуло теплое доверие, которое мне оказывала администрация бегов.

– Ну что, взял?

– Взял. Можно пойти получать? Это из той же кассы?

– Что получать?

– Сто сорок рублей. Ты же сказал...

– погоди, брат, побегут, потом получишь...

Эта система расплаты мне не понравилась сразу.

– После народа много будет у кассы. Не дотолкаешься. Может, хоть половину сейчас выдадут.

– Начали, начали, смотри...

Я стал смотреть. Бежали семь черных лошадей и одна серая. Какая из них была моя, я догадаться не мог. Бежали долго. Кто-то вытащил из-под меня стул, стал ногами на кончик моего пальто и замахал над самой головой биноклем.

– Где же моя лошадь? – тревожно спросил я спутника.

– Бежит, бежит, не мешай...

Чувствовать, что какая-то лошадь везет сто сорок рублей, принадлежащих лично мне, и не знать, какая она, – это может сильно влиять на настроение. Никаких разъяснений я не мог добиться до самого последнего мгновения, пока человек, отнявший у меня стул, не соскочил с него и, посмотрев на своего соседа, хмуро процедил:

– Идиот... Тоже, советчик...

– Ну, теперь можно идти получать? – заискивающе спросил я спутника, – все прибежали...

– А ты на какую ставил?

– На черную. У меня даже билет есть. Хочешь – покажу?

– Черных много. А твоя – того, брат...

– Что – того... Я не понимаю этих беговых терминов...

– Не пришла, и все.

– Как так не пришла? Что же, ее в дороге потеряли, что ли? Или домой завтракать уехали? Я пойду получать...

– Не ходи, – сухо заметил спутник, – не стоит. Разве кто-нибудь билет обронил...

В кассе мне выдали обратно билет и просили не мешать. Вторичное предъявление того же билета в другом окошечке вызвало более резкий и ярче выраженный отпор моим вполне искренним попыткам оправдать обещание, данное мне спутником еще до бегов, о ста сорока рублях.

Если это была шутка – то я мог бы за нее не платить десяти рублей, тем более постороннему человеку, сидящему в кассе. Если это ошибка моего приятеля и лошади, то пусть они делят мои расходы пополам: я не хочу отвечать за чужие ошибки.

Поэтому я довольно сухо протянул своему спутнику руку и сказал, что еду домой.

– Постой, постой... Куда же ты?..

– Да так, знаешь, домой. Повеселился, и будет.

– Ну брось... Сейчас одна лошадь будет бежать...

– Совсем одна? Эта уж наверное первой придет...

– Нет, не в том дело... Я хочу сказать, что она такая...

– Верная?

– Верная.

– Ну, прощай, я пошел...

– Да нет же... Ну поставь на эту. Я тебе ручаюсь.

Я поставил новых десять рублей и стал сам внимательно следить за лошадью. Это было добросовестное животное, по-видимому, решившее поддерживать мнение о себе моего приятеля. Она сразу оставила сзади себя всех остальных лошадей и только уже около призового столба, экономя силы для другого заезда, пришла пятой.

И на этот раз мой билет, как актерская контрамарка при полном сборе, оказался недействительным. Этим же свойством обладал и билет моего спутника, взятый на другую лошадь, отставшую от моей всего на несколько сажен.

– Ты видишь, – ласково сказал он, не выдерживая моего взгляда, – и я же проиграл.

– Видишь ли, – раздраженно ответил я, – на моих глазах людей переезжало поездом, однако я никогда не утешался этим, когда мне наступали на ногу...

– Да, ты прав, но лошадь же была верная... Это простой сбой...

– Принимая во внимание мое полнейшее незнакомство в этой области, – сдержанно, но сухо ответил я, – ты можешь мне объяснить, что лошадь треснула по ватерлинии, что у нее лопнул пропеллер или что у нее соскочили подшипник и маховое колесо, – я все равно не пойму. Тем не менее я ухожу домой.

– Ну иди... Если ты такая свинья...

– Послушай... Мне это стоило двадцать рублей... Где же мои двести восемьдесят?

– Получишь...

– Может быть, мне их дадут в другом месте, я тогда лучше поеду туда...

– А хоть ко всем чертям...

После этого или перестают подавать руку, или молча вздыхают и остаются. Слабость была и будет одной из отрицательных черт моего характера.

– На какую же ставить?

– Выбери сам...

– У меня совсем нет знакомства в этом кругу... Вот на эту, пожалуй, поставлю... Видишь, вот эта ходит, я на нее хочу...

– На эту нельзя...

– Неужели она тут так попусту бегают... Зачем же ее пустили, если на нее и ставить нельзя... Это жульничество...

– Ставить-то можно. Дураки ставят. Только не возьмет. Разве такие берут?..

Я посмотрел на лошадь. Ничего опорочивающего в ее наружности не было. У ней было на месте все, что только может пожелать любая лошадь, берущая призы.

– Может, ты знаешь о ней что-нибудь? Ты скажи. Это останется между нами...

– Да разве такие берут, – иронически усмехнулся он, – а если и придет, так с тебя же еще возьмут деньги...

– Что же это – штраф, что ли? – испуганно спросил я, с презрением взглянув на редкую лошадь.

– Не штраф, а так... Дураки на нее ставят... На Бабочку ставить... Тоже...

– Слышал, слышал... А на какую же?

– Ставь на четвертый номер... Верные деньги.

– Я знаю, что верные... Хорошо, если только не с меня...

Я пошел и безропотно поставил на указанный номер.

– Ты знаешь, это интересно, – сказал я, возвратившись, – я непременно буду смотреть за этой вот, о которой ты говорил... Интересно посмотреть потом на физиономии этих дураков, которые на нее поставят... Ругаются, наверное...

– На то они и дураки, чтобы ругаться, – весело подтвердил мой спутник, – а вот как мы с тобой схватим сейчас...

Лошадь, на которую ставили дураки, действительно вела себя непозволительно. С первого же момента заезда она стала отставать от других, догонять, вмешиваться в общую кучу, выбиваясь из сил и мотая головой.

Я искренне смеялся, чувствуя в душе благодарность к человеку, выручившему меня советом от такого неосторожного шага, как ставка на нее лишних десяти рублей...

Перестал я смеяться только тогда, когда эта смешная лошадь пришла первой. Через несколько минут я увидел небольшую группу дураков, игравших на нее, которые отходили от кассы с горстями бумажек. Выдавали им около шестисот рублей.

– А они берут – эти вот... дураки, – надтреснуто шепнул я спутнику, – по шестисот...

– Берут, – уныло ответил он, – верная лошадь...

– А когда я хотел на нее ставить, – желчно спросил я, – что ты тогда изволил...

– Да разве на такую лошадь...

– А если вот за нее теперь такую сумму...

– Верная лошадь...

– Да... Вот что... Верная?! Знаешь что, голубчик, ты ко мне хотел завтра, кажется, зайти? Да? Хотел? Да?

– Ну хотел, предположим...

– Ну, так извини... Только уж меня дома не будет...

– Видишь ли, я, собственно...

– Может быть, ты через день хотел? Может, на будущей неделе? Может, через месяц? Все равно меня не будет... Прощай...

### III

Я никогда больше не поеду на бега... Позволить брать с себя какие-то деньги, зависеть от лошади... Я даже не понимаю, как культурный человек может опуститься до того, чтобы сидеть и лихорадочно ждать, когда ему выдадут за десять рублей сто рублей лишних.

Хорошая книга любимого автора, серьезная пьеса или разговор с людьми, которых ценишь и уважаешь, вот что должно заполнять жизнь, отданную кропотливой умственной работе.

Только в четверг съезжу. Говорят, что выдачи будут большие и лошади есть верные. Надо же отыграть проигрыш.

1915

Непосредственная натура

I

Судьба сталкивала меня с глупыми будничными женщинами, повисающими тупыми тяжелыми жерновами на покорной мужской шее: твердость характера и умение заглядывать вперед спасали меня в этих случаях, не оставляя в душе ничего, кроме тихой робости перед новыми знакомствами.

Та же судьба столкнула меня всего один раз с незаурядной, полной своеобразной оригинальности и непосредственности женщиной. Если бы я описал мою встречу с ней как рыцарский поединок двух натур, я должен был бы сказать о себе в третьем лице небольшую и красивую фразу из старых романов: он вышел на бой с открытым забралом, а через неделю его ноги все еще торчали из придорожной ямы, пугая прохожих...

Может быть, вы поймете меня, если услышите обо мне, что я часто, не считаясь с приличиями, даже в малознакомом доме неожиданно встаю из-за стола, молча прощаюсь с хозяевами и перестаю бывать совсем. Каждый раз это происходит, когда ко мне подходит кто-нибудь с любезной улыбкой и предлагает:

- Хотите познакомиться с ней?.. Удивительно интересная женщина. Такая оригинальная, непосредственная...
  - Вы хотите сказать, что в ней этой мещанской робости, этого буржуазного страха перед...
  - Ну, да, да... Конечно. Она умна и смела, она...
  - Она говорит правду в глаза, умеет бороться с недоумевающими взглядами, она привыкла...
  - Честное слово, такая... Прямо даже поразительно.
  - Это очень хорошо. Очень, очень. Прощайте. Меня ждут.
  - Как ждут? Куда? Вы же обещались сегодня.
  - Сначала обещал, а теперь ждут. После увидимся...
  - Куда же вы... Вы, может, обиделись... А познакомиться?..
- Куда же? Станный молодой человек... Ушел... А почему?

## II

Если бы я сделал это и в тот раз, никто ничего не потерял бы, но я почему-то любезно поклонился хозяину, поблагодарил его и подошел с ним к Наталье Михайловне.

- Очень приятно.
- Что приятно-то? – с иронической улыбкой спросила Наталья Михайловна. – Разве вы сами попросили познакомиться вас?..
- Нет, но все-таки...
- Ну, будет, не ханжите. Вас вот предо мной познакомили с какой-то старой напудренной лошадьё, и вы ей, наверное, тоже сказали, что вам это очень приятно...



– Сказал, ей-богу, сказал, – восхищенно поддакнул хозяин, зацепившись за какого-то другого гостя, – ну и молодец Наталья Михайловна... Я уж пойду, вы займитесь...

– Жаль, – посмотрела ему вслед Наталья Михайловна, – образованный мужчина, красивый довольно, а дурак.

– Ну, что вы, – нерешительно запротестовал я, – наш милый хозяин...

– Ах, вот почему... Значит, если бы я была у вас в гостях, я и о вас не могла сказать то же самое...

– Мне кажется, что...

– Вам кажется, что вы умный?... Да?

– То есть как? – удивился я неожиданному обороту разговора, – я думаю, что...

– А мне вот не кажется.

Она с любопытством посмотрела мне в глаза. Я тоже посмотрел на нее. У нее было довольно красивое смуглое лицо, серые глаза и четкие белые зубы: женщине это дает право говорить глуповатые грубости, и я не стал уверять ее в положительности моих умственных качеств.

– Да вы не обижаетесь?..

– Помилуйте, что вы... Напротив...

– Даже напротив... Следовательно, если бы я назвала вас умным, так вы... Да чего там. Пойдемте, что ли, ужинать... Там зовут уже...

За ужином мы сидели рядом. Все время Наталья Михайловна убивала меня неожиданностью суждений по поводу каждого моего слова и самого незначительного поступка. Даже по поводу какого-нибудь простого предложения рыбного салата она умела бросить фразу, сразу раскрывающую предлагающему всю безыдейность его поступка и его незавидную роль в качестве добровольного лакея дамы, которая и сама прекрасно может взять, что ей захочется.

Я даже с некоторым опасением подумал о той легкости и радушии, с которым другие гости уступили мне соседство с такой красивой и неглупой женщиной.

– Вам, кажется, скучно? – вскользь спросила она, понюхав кусочек колбасы и брезгливо кладя ее на тарелку, – несвежая... хорошая дорогой, наверное, показалась... Скучно? И мне тоже... А вот сказать вслух вы бы, наверное, постеснялись...

– Ну, еще бы, – с удивлением отозвался я, – Иван Ильич мой приятель, жену его я девочкой еще знал...

– Такая же дура была?..

– Она совсем не такая, как вы думаете... Я их очень люблю... И они меня...

– Ну, тоже... Сидят и думают, наверное, что вы лишний рот за ужином... И тоже боятся сказать. Вот вы, наверное, сегодня бы сумели лучше провести время?..

– Да, собственно, звали меня в одно место...

– Я и говорю. Веселились бы там, а здесь зеваете, а сказать трусите...

– Видите ли...

– Трус, трус, трус...

– В чем дело? – с любезной улыбкой вмешалась хозяйка. – За что это вы его?

– Да у нас тут спор один...

– Какой? Ну, скажите... скажите, – с плохо сделанным любопытством пристал кто-то из гостей.

– Дело в том, что вот он... Сказать? – насмешливо посмотрела она на меня.

– Ну, что вы? – тревожно вырвалось у меня. – Пожалуйста, я прошу вас, не надо, пожалуйста...

– Ага, трусишка... Да так, пустяки... Дело в том, что мосье Пилкову очень скучно... Он сегодня был зван на один вечер, отказался, а теперь сидит здесь, скучает, а сказать...

Я опустил глаза, не решаясь их поднять на окружающих.

– Мне кажется, что он мог бы сказать это заранее, – сухо отозвалась хозяйка, – кроме этого, я не смею...

– Ради бога, Марья Никифоровна... Я пошутил, – убито и сконфуженно сказал я, – то есть я даже не сказал...

– Да мы никогда никого и не задерживаем, – вскользь заметил Иван Ильич, пододвигая кому-то пепельницу, – спички тут же...

Я густо покраснел и не знал, что делать.

Наталья Михайловна уже разговаривала с кем-то другим. Смущенно оглядев присутствующих, я увидел упорно опущенные взгляды и очень незначительный процент сочувствующих.

Кажется, что после меня остались играть в карты. Провожал меня в прихожей хозяин, сухо пожавший руку и уклонившийся от обычного предложения заходить чаще. Наталья Михайловна вышла тоже и сказала, что если я не врал, приглашая ее завтра пойти со мной в театр, – то она с удовольствием. Позвонит сама. Телефон мой найдет в книжке. Если я обиделся, она даже извиняется. Мало ли есть глупых людей, которые думают, что извинение сглаживает все.

III

– Вас там любовница к телефону спрашивают, – недовольно сказала кухарка.

Мой собеседник, малознакомый артист, искоса поглядел на меня и игриво улыбнулся.

– Ого... здорово...

– Какая любовница, – сконфуженно пробормотал я, – это что такое...

– Идите, идите, кто без греха...

Я подошел к телефону.

– Это я. Здравствуйте.

– Наталья Михайловна?

– Ну да. Вас, наверное, удивило... Что? Ну, что же я могла сказать. Говорю – знакомая. Та, эта ваша идиотка... Может, это ваша жена? А я думала, что жена. Как фамилия, да как доложить, да по какому делу... А я думаю, скажу что-нибудь такое, чтобы сразу передала... Вы еще не раздумали? Значит, едем? Ну, так я вас буду ждать в театре... У меня сегодня бешеное настроение, хочется смеяться, веселиться, прыгать... Получила одно письмо... Значит, жду. Пока.

Я оделся и с нехорошим предчувствием поехал в театр. Пока я одевался, за стеной старушечий монотонный голос сверлил тишину.

– Ишь ты... Половиков в передней нет, а он по любовницам шляется... Звонит, дрянь такая... Полюбовница, говорит, доложи поди... А если я тебя мокрым полотенцем по роже? Может, я чиновничья дочь, а ты полюбовница... Теперь жалованье-то тютю... Все к полюбовнице снесет на кофеи да цветы... В трубку-то срамные словища говорить мастерица, а у самой, чай, белье штопано...

– Так и сказать, – мрачно раздался вопрос пред моим уходом, – если опросит кто, что, мол, к полюбовнице уехал?

#### IV

Во время первого действия пьеса, по-видимому, мало занимала Наталью Михайловну.

– Вы знаете, – шепнула она, – я бы сейчас кататься поехала лучше... Да вы не бойтесь, я не зову вас... Знаете, с песнями, как в деревне... Ну, да эх, вы, залетные, эх, вы мои...

– Тише, – сдержанно попросил ее сосед, нервно комкая программу, – здесь, кажется, театр...

– Что вы? – насмешливо спросила его Наталья Михайловна.

– Глупо, – зашипел сосед. – Очень даже глупо, барышня.

– Я дама, – в тон ему ответила она и подтолкнула меня ногой, – злится.

– Я бы вас просил мне не мешать... Приходят тут какие-то...

Я безумно не люблю скандала, особенно в театре, где каждый нарушающий тишину, будь это даже человек, которого посадили на отточенную бритву, в глазах соседей кажется пьяным буяном. Но положение создалось такое, что мое вмешательство становилось необходимым...

– Я просил бы вас осторожнее...

– А вас кто спрашивает, – злобно повернулся ко мне сосед Натальи Михайловны, – я позову капельдинера...

– Вас же и выведут, – кинула ему та.

– Ну, это мы еще посмотрим... – Он вскочил с места и, протискиваясь между стульями, побежал к выходу.

К счастью, опустился занавес. Больше половины антракта я провел в театральной конторе, объясняясь с какими-то людьми и разозленным соседом по поводу всех слов и жестов; пришлось обещаться на другой день быть у него с извинением; все обошлось хорошо. К Наталье Михайловне я вернулся хмурый и злой.

– Едемте домой, – предложил я, – надоело.

– Едем, пожалуй, – охотно согласилась она, – пьеса дрянь, да и публика... Точно с базара...

Дама, внимательно рассматривавшая ее в лорнет почти в упор, с шумом бросила на соседнее кресло ридикюль и встала...

V

Дня через три я услышал, что в кабинете зазвонил телефон. Нехорошее предчувствие, что это Наталья Михайловна, сразу охватило меня, и я крикнул:

– Даша... Если это та, что сегодня звонила, скажите, что меня нет дома... Поняли?

– Поняла, поняла, не маленькая... Слу-ши-ю... Кого? Их дома нет... Спит? Нет, не спят... Я не говорю, что не спят, а в столовой...

– Фу-ты, дура... Даша, ну, чего же вы... Ну, скажите, что сейчас подойду... Слушаю вас... Здравствуйте, Наталья Михайловна... Ко мне? Вы? Конечно... Конечно... Я очень рад, пожалуйста... Нет, дома... Сейчас должен ко мне брат с женой заехать, я и жду... Едете? Пожалуйста... Фу-ты... Вот тоже... Даша, купите что-нибудь к чаю...

Приехала Наталья Михайловна раньше, чем брат с женой.

– Ого, да у вас очень мило, – сказала она, входя в кабинет, – положите шляпку... Прекрасный диван: можно? Ну, спасибо, я люблю так полулежать... Ну-с, рассказывайте...

Когда Даша открыла через десять минут дверь на звонок и кто-то зашумел ногами в прихожей, Наталья Михайловна засмеялась, лениво потянулась и посмотрела на меня.

– Нашествие родственников началось? Пришли с нравоучениями блудному брату... У меня такая же история...

Не знаю, слышал ли это брат; но когда я выглянул в прихожую, поздоровался он довольно сухо и почему-то спросил:

– Может быть, мы помешали? У тебя, кажется, кто-то есть?..

– Нет, нет, пожалуйста... Это моя добрая знакомая... Познакомьтесь... Мой старший брат...

Разговор клеился плохо.

Когда он зашел о том, где лучше провести лето, Наталья Михайловна посмотрела на шляпку моей родственницы и засмеялась.

– Здесь покупали?

– Что? Шляпку? – удивленно спросила та, – здесь... А что?

– Я так. Вспомнила. У меня одна знакомая называла такие шляпки гурьевской кашей. Фруктов масса, а смешно...

– Это очень дорогая шляпа, – обиженно возразила та.

– Это-то и обидно. Мещанская шляпенка, а денег стоит уйму. Модная, наверно. Мода – это такая приманка для мещан...

Я с размаху переменял тему разговора. До своего ухода Наталья Михайловна, узнав, что мой брат инженер, успела сказать, что у нее тоже есть два знакомых инженера и что вообще инженеры жулики.

– Ну-с, прощайте, – весело сказала она, надевая мантию, – решайте свои семейные дела... Пилите вашего братца за истраченный рубль, советуйте ему жениться... У меня самой родственники... Позже я вам позвоню...

– Какая у тебя странная знакомая, – неопределенно произнес брат после ее ухода, – давно знакомы?..

– Недавно, – смущенно ответил я.

– Ты, кажется, что-то скрываешь...

– У него, может быть, есть причины скрывать от нас, – зловеще вмешалась жена, – но мне кажется, что только уже не прислуга...

– Что прислуга?

– Прислуга, которая так в курсе дел... Мы приходим, а она уже изволит докладывать: у барина любовница сидит...

– Ей-богу же, это...

– Это, конечно, твое дело, ты не маленький, но ты так упорно твердил, что целые дни работаешь...

– Да я, право же...

– Да ты не оправдывайся, смешно... Ну, пока прощай... Заходи...

– Вы ко мне...

– Да теперь к тебе неловко... Еще помешаешь...

## VI

Тяжелый дубовый клин нельзя вынуть сахарными щипцами. Его можно выбить только клином.

– Знаете что, Наталья Михайловна, – сказал я ей при последней, сильно зависевшей от нее, встрече, – вы завтра будете звонить ко мне?

– Буду.

– Не надо. Пожалуйста, не звоните.

Она с удивлением посмотрела на меня.

– Странно. Вы, может, хотите, чтобы я приехала сама?

– Именно не хочу. Понимаете, что значит: не хочу?

Она пожала плечами.

– Это же нахальство говорить женщине...

Я немного подумал и мягко ответил:

– Пожалуй, вы правы. Это нахальство.

– Вы меня хотите удивить и тем самым...

– Ничего не хочу. Понимаете?..

– Удивляюсь... В таком случае...

– Ну, что там... Прощайте...

– Прощайте... Только я думала...

– Что там думать...

\* \* \*

Больше я не видел Натальи Михайловны. Кажется, года через два я встретил одного приятеля, который млел и сох около нее.

– О тебе часто говорим, – сказал он.

– А что? Рассказывает что-нибудь?

– А как же... Ты только не сердись... Все рассказывает. Чудак, говорит, он... Влюбился и нарочно придумал какую-то историю, чтобы поссориться...

– А тебе что она – нравится?

– Да нечего, брат, скрывать... Как и ты в свое время... Непосредственная такая, целостная натура, искренняя. Я теперь около нее живу. С родными из-за нее разошелся, да и с приятелями тоже... Оригинальная женщина...

Иногда я думаю: почему мы защищаем себя от дождя, грозы или ветра, и никто не додумался до какой-нибудь примитивной защиты от непосредственных, оригинальных натур, влезających в чужую жизнь. Тем более, что и то средство, которое я испробовал, нельзя назвать особенно плохим...

1915

## Четыре жестокосердых

Есть шутники, преимущественно из молодых людей, не занятых определенной работой, которые легкостью выдумки и игривостью ее выполнения могут убить быка.

Обычно они выбирают предметом салонной шутки непроверенный слух о близости хозяина дома к одной из малоизвестных в городе портних, лысину одного из вспыльчивых гостей, неопределенность возраста хозяйкиной сестры; или просто дружески смеются над малолюдством похоронной процессии, устроенной недавно одним из присутствующих по поводу смерти горячо любимой жены...

Милая улыбка и нескрываемое желание повеселить окружающих незлобивостью шутки часто спасают неопытного весельчака от неожиданных последствий. Больше того, многие даже улыбаются, тепло оглядывая рассказчика и вскользь доставая часы и уходя сейчас же после такого рассказа. Но в большинстве случаев неудачная шутка портит карьеру рассказчика несравненно сильнее, чем даже удачное оскорбление словами одного из присутствующих...

Единственный день, когда шутникам дурного тона дается полная индульгенция на слова и поступки, – это первое апреля... И все же я помню, как четыре жестокосердых человека, не учтя этого дня, непоследовательно жестоко отомстили одному такому же скромному, ничем не выдающемуся человеку за одно его желание скрасить их серые будни веселой ординарной шуткой.

Мы сидели у Щиткова и пили чай, когда в коридоре резко задребезжал телефон.

– Иди ты, – сказал сам Щитков, – я устал.

– Я тоже. Я старше тебя, – ответил Женечка, размешивая ложечкой чай, – пусть он сходит.

– Позвонит и перестанет, – философски заметил Салицын, закуривая папироску, – какая-то жалкая машинка, может быть, в одну индикаторную лошадиную паровую силу, а из-за нее человек должен терять равновесие...

Потерял равновесие я. Я подошел к телефону и снял трубку.

– Алло. Что? Да, это квартира Шиткова. Не может. Занят. Что? Что? Кто застрелился? Послушайте, вы серьезно? Даниил Михайлович? Послушай, да это. кажется, ты сам, Донька? Что?

Голос сильно напоминал виновника несчастного случая, но я был слишком взволнован неожиданно налетевшей вестью.

– Послушай, да будет тебе... Что? Не шутите? Извините... А когда это произошло? В шесть часов?.. Почему? Может быть, записка?.. Хорошо, хорошо, конечно, мы приедем...

Когда я, положив трубку, вернулся в столовую, передавать разговор мне не пришлось. Все отлично его слышали, и нечуткость близких к покойнику людей резнула меня по сердцу.

– Слышали, – спокойно сказал Женечка, посмотрев на мое искаженное жалостью лицо. – Не рассказывай. Лучше сядь и расскажи, почему это у тебя происходит. От родителей, воспитание ненормальное, что ли, или так, внешние причины?

– Что?.. внешние причины...

– Я, короче говоря, совершенно дилетантски интересуюсь вопросом: почему ты такой идиот?

– Но позволь... Ты же слышал, что человек...

– Тебе нужно брать ванны. Насыпь в воду соль и сиди с градусником, – сочувственно прибавил Шитков, – это помогает от твоих недостатков...

Я обиженно посмотрел на всех троих, собравшихся в этой столовой, и в недоумении пожал плечами.

– Ну, знаете... ваше воспитание... тоже...

– Идиот, – кротко остановил меня Салицын, – какое сегодня число?

– Ну, первое апреля... Ах да, да, да... Что же это значит?..

– Собираемся, друзья, – деловито предложил Шитков, – к покойнику. Я уж давно до него добираться...

– Четыре человека идут проводить весело время, – резюмировал Салицын, надевая мою шапку, – это даже хорошо... Четыре человека и один покойник... Немного, но весело.

\* \* \*

– Здравствуйте. Покойный Дольский дома?

– Хозяин-то? Дома, дома, пожалуйста...

– Он у себя? Разлагается?

– Не видела. Может, там, в кабинете. Одни сидят.

– Раздевайся, братцы... Только заходить всем сразу. Готово? Ну, я стучу. Можно?

– Войдите... Войдите же... А, вся компания? Покойника проведать? Здорово я вас... Это называется попасться... Вот четыре осла-то, вот...

– Женечка, холодный или нет?

– Рука холодная; эх, Шитков, сам понимаешь, сейчас десять, а это в шесть произошло.

– Кто холодный, я? Сами вы, черти, холодные...

– А почему это мертвец не на диване? Странно как-то... Положить бы его хорошо, все-таки благочиние требует...

– Положить? Это можно... Нет, ты за голову, а я уж за ноги...

– Бросьте дурака валять... Осторожнее, рукав разорвешь...

– Положили. Лежит. Все-таки для глаза приятнее.

– А я вот взял и встал, взял и встал...

– Как ты относишься к насилию над мертвецом?

– Вещь, Шитков, в законах не предусмотренная. Принципиально одобряю.

– А достань-ка вот там полотенце... Вот тут, за шкафом.



- Это чистое, не хватайте, черти, сегодня только вынул.
- Салицын, захвати и другое. Первым за ноги, вторым я за шею и к дивану...
- Да будет вам! Ну что за дурацкие шутки!.. Ой, ой, больно шее... Я же говорю, что больно!!
- Привязали?.. Ногой шевелит? Затяни потуже. Теперь хорошо. А жаль парня... Давно ли, цветущий, веселый, жизнерадостный, он был среди нас, а теперь лежит без движения на этом диване... Так вся жизнь. Донька – олицетворение нашей кратковременной жизни...
- Обмыть бы покойничка... Позаботься об этом, Женечка. Знакомые осудят... скажут: что же мы, если мы, если друзья не позаботились о нем.
- Ну, оставьте это... Пошутили, и будет! Снимайте полотенце, горло режет... Чего же вы молчите?.. Снимайте же, идиоты... Я, кроме шуток, кричать буду... Это уж издевательство какое-то!
- Салицын! Поройся в воспоминаниях – мешал ли когда-нибудь носовой платок, удачно засунутый в рот, – резким крикам и проклятиям окружающих?
- Мешал, Шитков. Об этом писали многие знатоки этого дела. Дай твой. Мой грязный. Нужно чтить память самоубийцы.
- Убери ты платок... Это хамство! Это черт знает что... Я кричать буду... Я... аггр... пер... фрх... кнк...
- Вставил?
- Кажется, что плотно. Воздух проходит через нос. Обмывать не умею.
- Я умею. Правда, поверхностно, но думаю, что дойду до нужного чисто логическим путем. Дай-ка сюда графин и пробку открой...
- погоди, я расстегну жилетку... Можно...
- Наклоняй лучше. Вот так... Хм!.. Ежится... Жаль, что температура воды несколько пониженная; графин стоял на холодном подоконнике. Остатки можно на голову... Я кончил...
- Как жаль его, Салицын... Как сейчас, помню я его добрую улыбку и открытое славянское лицо...
- Придется взять на себя заботы об извещении близких покойного о его трагической смерти... Кстати, как фамилия этой дамы, за которой он последнее время ухаживал?
- Луканова. Ее телефон, должно быть, в книжке записан. У него книжечка такая есть... Жаль, что ее муж ничего не знал об этих ухаживаниях, и если мы наткнемся на него...
- Ммм... упр... кхт...
- И если мы наткнемся на него, это будет большой бестактностью... Но что делать... Печальные обстоятельства и долг товарищества... четыре – семнадцать – шестьдесят? Так? Сейчас... Станция? четыре – семнадцать – шестьдесят... Занято... Еще позвоним... Ах, Доня, Доня... На кого ты нас, как это говорится, оставил... Барышня, четыре – семнадцать – шестьдесят... Алло! Гражданин Луканов?
- Кхт... Нкр... Хп... Хп...
- Поправьте покойному платок... Гражданин Луканов... Я взял на себя печальную миссию

известить вашу супругу о непредвиденной смерти ее лучшего друга, Даниила Михайловича... Не знаете такого? Нам, его друзьям, не были известны его отношения к вам... Он подробно рассказывал нам только о близком знакомстве с уважаемой гражданкой Лукановой, незадолго до своей трагической смерти... Позвольте, но я только исполняю свой долг, так что ваш резкий тон... Повесил трубку. Очевидно, и на него сильно повлияла смерть нашего незабвенного друга... Да и чье сердце не дрогнет, узнав о том, как подломился этот нежный стебель, выращавший под яркими лучами весеннего солнца!..

– Ты хорошо говоришь... Тебе должна выпасть редкая в наше время честь сказать последнее слово над могилой нашего товарища... Такие люди редко умирают... А как же с похоронами?... У меня лично только четыре рубля...

– Шитков... У меня мелькнула блестящая мысль... Поправьте получше платок во рту у почившего... Блестящая мысль... На что нужны деньги этому трупу, не оставившему после себя ни одной души?... А хорошие похороны...

– Я знаю, где это. Вот тут, в боковом ящике. Пусты-ка... Вот в этой шкатулочке. Ну конечно... Это подчеркивает аккуратность покойного, одно из многочисленных достоинств его характера... Сто... Тринадцать... Двести восемьдесят рублей.

– При неродовитости мертвеца этого вполне хватит на скромные, чисто интеллигентные похороны...

– Да, но зачем обременять одного из нас всеми заботами, когда мы можем разделить эти деньги поровну, и каждый может работать самостоятельно в деле погребения нашего дорогого, нашего горячо любимого, нашего незабываемого друга...

– У мертвеца нехорошие глаза. Они обращены в нашу сторону с немим укором, как бы напоминая о том, что мы не должны забывать его, а чтить его память...

– Возьмем по пятидесяти. А восемьдесят оставим. Может быть, он не уплатил за месяц той девушке с приветливым лицом, которая нас впустила сюда. Больше того... я из своих пятидесяти оставлю здесь еще три рубля. Салицын, сделай и ты это. Не хочешь? Может быть, ты прав: я тоже возьму свои обратно.

– Как жаль, что у меня нет ничего на память об этом хорошем, родном человеке, так опрометчиво покончившем все счета со своей молодой, благоуханной жизнью... Впрочем, если я возьму вот этот портсигар, у меня уже будет небольшая вещица. Проба есть, и верхняя крышка золотая.

– Я лично остановлюсь вот на этой цепочке... Покойный так любил ее носить с белым жилетом. Я дам ее на сохранение в какое-нибудь такое место, где бы мне поручились за ее целостность небольшой суммой и квитанцией...

– А вы что же? Берите. Хорошенькие вещицы... Ты даже возьми себе еще вот эту статуэтку... Не понравится, дорогой разобьешь... Ну, тронулись...

– Прощай, Доня... Прощай... В первый раз плачу... Не стесняйтесь и вы – разве можно стыдиться слез любви и дружбы... Прощай, родной... Скоро все там будем... Платок нужно пальцем поглубже...

– Надевайте пальто скорее... Готовы? Девушка, хозяин просил никого-никого не принимать... Он хочет мечтать об уходящих в ту синюю даль, где легкие цикады... А вас он просил зайти сейчас же...

С Доней мы больше не встречались. Кто-то мне передавал, что в его характере произошел крутой перелом: он стал серьезнее, мрачнее и совершенно избегает шуток.

В первых числах апреля почти ежегодно уезжает за город...

1915

Потомки

Много лет тому назад, выходя из дому, Пушкин вспомнил, что не захватил с собой чистого носового платка.

Вернувшись домой и, после тщетных поисков, не найдя этого платка, великий поэт оставил на столе записку. Так как Пушкин писал только стихами, то даже эта скромная записка была написана звучными строками автора «Евгения Онегина»:

NN! Когда б ты приволок

Мне носовой один платок!

Тебе я благодарен буду

И сей услуги не забуду.

NN, к которому была обращена эта записка, платка не нашел, но сверху приписал и свою просьбу, тоже стихами, так как в пушкинский период даже прозу все писали стихами:

О Пушкин, друга пожалей

И оставь у прислуги семь рублей.

В течение двух дней, пока бумажка валялась на столе, на ней появлялись новые и новые фразы:

«Был у тебя. Поедем завтра к Д. Ладно?» – писало на ней какое-то незнакомое лицо.

«Хорошая тема, – набросал на уголке сам Пушкин. – Грозный. Опричники. Лес. Большой монолог. Народ. Музыка».

«Был я. Приду завтра», – писало другое незнакомое лицо.

На обратной стороне скучающий гость нарисовал козу. Бумажку вымел лакей. Потом поднял ее и вместе с другими бумажками отдал прислуге на растопку.

Коза, нарисованная опытной рукой, привлекла внимание простодушной женщины. Она взяла бумажку и положила ее к другим бумажкам, так или иначе заслуживающим внимания.

Судьба играет человеком. Кухарка вышла замуж. Через восемьдесят лет ее внук, ветеринар в одной из глухих провинций, разбирая архив бабушки, аккуратно сложенный в коробке из-под карамели, нашел бумажку, на краешке которой стояла подпись гениального поэта.

Через две недели ее вертели в руках два исследователя Пушкина, которых многие осторожно звали пушкинианцами. Это ремесло перешло им по наследству; к этой профессии они приучали и своих детей обоего пола.

– По-моему, Пушкин, – уверенно сказал один из них, прочитав бумажку, – и фамилия похожая: Пушкин, и год подходящий...

– Опять же по козе видно, – согласился другой, – кто, кроме автора «Полтавы», мог так нарисовать это простое животное?..

– К тому же этот ритм в стихах:

Был у тебя. Поедем завтра к Д.

– Это, кажется, проза...

– Это проза? Ну, знаете... Тут даже не поэт окончание припишет: сегодня я, а завтра ты в беде... Слышите?

– Что ж я, не пушкинианец, что ли?! Слышу.

– Дополним?

– Воспроизведем.

– Издадим?

– Может быть, вы думаете, что я миллионер, что у меня по особняку в кармане, чтобы я стал спорить?..

Приблизительно через месяц в одном из журналов, печатавшем большей частью варианты ненаписанных стихов гениальных людей, появилось новое неизданное стихотворение Пушкина. Из уважения к автору оно было названо посмертным.

Стихотворение имело, после тщательной обработки его, приблизительно такой вид:

NN! Когда б ты приволок

Мне чистый носовой платок.

О Пушкин, друга пожалей

И оставь у прислуги (вариант: – прислуге) семь рублей.

Был у тебя, поедем завтра к Д.

И будем оба мы везде.

Опричник. Грозный. – Тема вот.

Лес, монолог большой, народ.

Был я. Приду к тебе опять.

Играть. Кидать. Пытать. Шагать.

Споры по поводу стихотворения почти не было. Некоторые пытались из упрямства приписать его Лермонтову, ссылаясь на нарисованную козу, так как Лермонтов был на Кавказе, где коз очень много, но пушкинианцы не выпускали добычи из зубов, и пришлось им уступить.

Когда неизданные стихи увидел режиссер большого идейного театра с повышенной платой на места, он побледнел, схватил себя за сердце и упал на стул.

– Бедные мы, – успел простонать он, – другие возьмут и сделают...

– Успеем, – успокоил его близкий человек, притворяя дверь, – инсценируем за один присест... Это не энциклопедический словарь в четыреста двух полутумах в кожаных переплетах... Сядем вместе, и пьеса будет...

Инсценировали стихотворение для большой обстановочной пьесы. Сначала хотели переделать в комедию, чему сильно способствовала развязная поза козы, нарисованной на обороте, и история с носовым платком, но для памяти Пушкина это показалось неудобным. Решили остановиться на вполне законченной исторической драме.

– Декорации-то нетрудно сделать, – хмуро думал режиссер, – художника только хорошего надо позвать: в первом действии все на фоне носового платка, во втором можно завтрак в сукнах, в третьем монолог зеленой краской с желтыми переливами... Вот четвертое... Не то козу эту самую живую поставить, не то в духе Грозного...

Пьесу писали заново, придерживаясь пушкинского замысла. Содержание получалось довольно яркое и, как об этом не раз высказывался в интервью с репортерами сам режиссер, выдержанное в духе творчества гениального поэта.

Молодой опричник во время чтения монолога теряет носовой платок. Появляется незнакомец в маске, который говорит, чтобы ему за платок выдали семь рублей, иначе он грозит уехать к Д. За сценой настоящий мотор гудит в настоящий рожок. Для реальности в первых рядах даже пахнет бензином. Опричник не соглашается на такую трату и уходит в лес, собрав перед этим громадную толпу народа и объявив ей, что эти семь рублей он оставляет своей прислуге, так как у него прислуги нет, то эти деньги берет с собой коза. Кончается пьеса выходом NN, загримированного под Пушкина, с последней краткой фразой: «Был у тебя, приду опять...»

Так как слов для всех действующих лиц не хватило, пришлось их заимствовать из других неизданных произведений разных авторов.

Диалоги получались хотя и красивые, но часто не соответствовали развитию фабулы.

– Была та смутная пора, – горячо говорил герой пьесы, – когда Россия молодая, в бореньях силы напрягая, мужалась гением Петра...

Героиня, не давая ему докончить фразы, возражала уверенно и сердито:

– Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь, так воспитаньем, слава богу, у нас не мудрено блеснуть...

Ссора кончалась только благодаря вмешательству третьего лица, введенного в пьесу режиссером для заполнения пустого места у настоящего розового куста с чудными плодами, причем это третье лицо давало резюме, мирившее всех:

– Зима. Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь.

В одном месте, где пушкинские неизданные стихи были слишком неуместны, а нужно было все же брать что-нибудь из пушкинского материала, герой пьесы читал большой монолог из ежедневной газеты о необходимости устройства лечебницы для алкоголиков имени великого поэта.

Пресса в своих мнениях о пьесе раскололась на две неравные части. Большая, не получившая контрамарок на премьеру, укоряла декоратора и вторые персонажи в чрезвычайно долгих антрактах; меньшая часть, уступившая свои контрамарки родственникам жен, наоборот, пьесу выдвигала, сравнивая ее даже с «Крейцеровой сонатой» по звучности стихов...

И только один экстерн, прочитав к экзамену «Капитанскую дочку» и сделавшийся внезапно поклонником Пушкина, – скопил от продажи старых учебников семнадцать рублей, поехал на могилу великого поэта и выразил свое мнение по поводу пьесы. Взял бумажку, прикрепил ее ржавым гвоздем к ограде и вывел большими кривыми буквами:

«Здесь плевать воспрещается».

1915

Из сборника «Тихие неприятности»

1915

Путь к здоровью

I

Она с любопытством и с некоторым сожалением посмотрела на меня.

– Вы какой-то городской. Затхлый. В вас нет природы... Понимаете?

Я не был заинтересован в отсутствии ни самой Ариадны Сергеевны, ни природы, поэтому сказал, что хочу есть и чтобы меня отвели домой.

– А сами-то вы дорогу не знаете? – И она иронически усмехнулась. – Два шага – четыре версты от вашей дачи... Тем более лесом.

– Я не привык так шагать, – нехотя сказал я, – и тем более вашим этим... лесом...

– Ну, я вами займусь, – погрозила она пальцем, – я заставлю вас отдохнуть... Вы такой городской, затхлый...

– Слышал.

– Я заставлю вас кататься верхом, много ходить, ездить, играть... Я хочу, чтобы вы были здоровы...

– Я тоже, – загадочно ответил я, – проводите?

– Ну, провожу, провожу... Тюря...

Дорогой она много говорила о том, как приятно носиться по полю верхом на горячей лошади, как хорошо одному по целым дням бродить по лесу, не обращая внимания ни на жару, ни на дождь, или играть в футбол и, утомившись, думать о том, что волнует сердце. Она с такой непосредственностью описывала каждую деталь этих удовольствий, что у меня опускались руки.

– Ну-с, неврастеник... Итак, все это принято?

– Принято, – бледнея, отвечал я, – оздоравливайте.

Она протянула мне руку и улыбнулась обещающей улыбкой, от которой по телу пробежали мурашки.

У Ариадны Сергеевны были красивые голубые глаза и розоватая кожа на лице. Кроме того, она была женщина; если бы не эти благоприятные для нее обстоятельства, вряд ли что-нибудь помешало бы моему искреннему намерению: остановиться, извиниться за эту небольшую остановку, отойти в сторону, отломить хорошую палку и, ударив Ариадну Сергеевну, уйти, не подав ей руки. Многие это не любят, и она наверное бы больше не искала со мной встречи, а я был бы совершенно спокоен за свой летний отдых.

Но она была – женщина, и я, несмотря на свою нечуткость, сразу учел это и только сказал:

– Спасибо... Жду...

## II

Прекрасное летнее утро. Как манит соседний лес, еще не загаженный дачниками и мальчишками!.. Красиво облако, тающее в чистом, ослепительном небе, когда никто не тычет в него пальцем и не лезет к вам, чтобы вы оценили это облако по достоинству... Вдвойне прекрасно летнее утро еще потому, что я встаю не раньше двенадцати и никогда не вижу его, а только красиво грущу о нем... На этот раз мне суждено было соприкоснуться с летним утром около пяти часов, максимально через два часа после того, как я потушил лампу и перестал читать.

– Вас там барышня дожидаются, – с приветливой улыбкой сказала какая-то домашняя старуха, которая обычно отсыпалась во время какого-нибудь другого сезона, а летом была всегда на ногах, – соседская.

В душе я назвал барышню не соседской, а много хуже и спросил, что ей надо.

– С лошадьми приехала, – шепотом передала старуха.

Я сдержан на язык и никому не мог сказать, что я лошадиный барышник. Вряд ли по моему внешнему облику меня можно было принять и за ветеринара. Поэтому я с большой неприязнью встретил этот визит.

– Может, это не барышня, – зевая, спросил я, – так, может, постоянный двор кто ищет?

– Барышня, – убежденно сказала старуха, – такая из себя глазами голубая...

В эту минуту мои симпатии искренне принадлежали даже самым порочным людям, но с черными глазами, тем не менее я встал, оделся и, не умываясь, сошел вниз.

– Ах, это вы? – И Ариадна Сергеевна приподнялась со стула.

– Должно быть, я, – холодно пожал я ее протянутую руку, – хотя мне редко приходилось видеть себя в пять утра...

– Ах, голубчик, какой вы, право...

– Городской, затхлый? – злобно спросил я. – Чем, так сказать, обязан?..

– А я лошадей привела, – весело сказала она, – и для вас одну...

– Чего же я с ней делать буду?

Около года тому назад мне пришлось выиграть на лотерее корову, и я хорошо еще помню, какого позора мне стоил выигрыш, когда я приставал ко всем с просьбой принять ее от меня на память. С лошадью, которую всегда можно привязать к забору, особенно летом и на даче, я справился бы гораздо быстрее, но саму Ариадну Сергеевну нельзя было ни привязать к забору, ни подарить на память; предстояла ответственная и тяжелая для человека, который спал всего два часа, задача – быть любезным...

– Как что делать? Кататься поедем...

– Не хочется кататься, – робко сказал я.

– Опять городские привычки? Нечего, нечего... Это свежит людей, это приучает их, так сказать, к здоровью...

Я вспомнил одного знакомого офицера, который упал с лошади и разбил голову. Я очень хотел, чтобы он был сейчас здесь и завел бы оживленный спор с Ариадной Сергеевной о сущности здоровья и способах его приобретения.

– Я не умею...

– Да вы когда-нибудь ездили? Ну, где вы были в прошлом году?.. Неужели не ездили?

– Ездил. В Крым. К родным. Только не верхом...

– Господи, да как это просто... Сесть верхом на лошадь  
к поехать...

«Просто, – с отвращением подумал я, – и человека зарезать просто...»

– Ну, идем... Увалень...

III

Когда я посмотрел на лошадь, я сразу понял, что мы оба вовлечены в невыгодную сделку. Я



не понимал, во имя чего я должен сесть верхом на беззащитное, покорное своей судьбе животное; лошадь, со своей стороны, тоже, вероятно, смотрела на это как на неблагоприятный поступок, рекомендуемый меня с худой стороны.

– Ну, что же вы... садитесь!..

– Лошадь не кресло, – хмуро бросил я в сторону, – сразу не сядешь... Потом, как же я сяду... Высоко...

– Ах, господи... Вот человек-то... Да вы станьте вот на тумбочку, потом приподымите ногу, и все...

– Да как же я стану, – с огорчением вырвалось у меня, – тумбочка здесь, а лошадь за три сажени...

– Подведите.

Я в нерешительности остановился.

– А куда поедем? – пытаюсь немного оттянуть время, спросил я. – А?

– Доедем на первый раз до станции... Верст восемь...

«На первый раз, – мысленно вздохнул я, – к концу лета на другой материк, очевидно, ездить заставит...»

– Когда сядете, берите узду крепко в руки, а ногами обхватите покрепче лошадь. Поняли?

Я с большим удовольствием прогнал бы от себя это животное, чем обнимать его, хотя и таким рискованным способом, но все-таки мне удалось взгромоздиться на лошадь и исполнить все в точности.

– Держитесь?

– Держусь, – боязливо оглянулся я назад, – только зачем оно хвостом машет...

– Кто – оно?

– Да животное это...

– Едем, будет болтать глупости...

Я решительно не знал, что нужно сделать для того, чтобы лошадь поехала. Отсутствие рычагов, руля или каких-нибудь других приспособлений сразу сделало лошадь совершенно непонятным, загадочным для меня существом. Заставить ее двигаться путем личного убеждения я все равно не смог бы, поэтому я решил просто ударить ее кулаком в бок. Лошадь повернула голову немного вбок, посмотрела на меня неопределенным взглядом и взмахнула хвостом.

– Послушайте, – нетвердо произнес я, – она не едет.

У меня даже мелькнула мысль, что, может быть, здесь вопрос самолюбия, лошадь откажется везти меня, и эта мерзкая прогулка отложится до еще более неблагоприятного случая.

– Поводья натяните, – со смехом сказала Ариадна Сергеевна. – Ну!

Лошадь действительно пошла, решив, очевидно, что у нее еще останется много времени, чтобы сбросить меня в какую-нибудь канаву.

В течение первых десяти минут Ариадна Сергеевна добросовестно исполняла свои педагогические обязанности.

– Не держитесь за гриву, – заботилась она, – и за седло не держитесь... Зачем вы сползаете набок?.. Да вы не бойтесь... Ай, что вы делаете... Разве можно кричать лошади в ухо... Трясет? Ничего... На пятый раз и не заметите, привыкнете...

Я уже перестал рассчитывать на благополучный исход прогулки. Тем более, если бы мне и предложили сесть отдохнуть, вряд ли я смог бы сделать это с удовольствием для себя: седло в этом отношении сыграло весьма неблагоприятную роль...

Лошадь, – и я ее вполне понимаю, – делала все, чтобы отравить мне спокойное состояние. Она с удовольствием перепрыгивала каждую канавку, математически высчитывая, на какую сторону я должен при этом отлететь. Иногда она резко останавливалась, предоставляя мне широкую возможность перелететь через голову.

– Вот приучитесь, – ободряла Ариадна Сергеевна, – мы кавалькаду устроим...

– Устроим сейчас, – охотно предложил я, – вы поедете, а я слезу и пойду пешком... Хорошо?..

– Это не кавалькада, – засмеялась она.

– А что же по-вашему – кавалькада... чтобы меня еще к лошадиному хвосту привязали и по полю волокли... Да?

Около станции мы остановились и стали дожидаться поезда... Я с завистью подумал о людях, которые благоразумно избрали другой способ передвижения; лошадь, очевидно, была другого мнения, потому что с первым же появлением паровозного дымка она тревожно насторожила уши и стала проявлять признаки явного беспокойства.

– Она чего-то хочет... Лошадь эта, – тревожно сказал я, – ей-богу, не знаю.

– Смотрите, чтобы не сбросила, – спокойно ответила Ариадна Сергеевна, – поезда боится... Я знала одну лошадь, которая даже от велосипедных звонков...

Может быть, у той лошади была своя интересная для любителей история, но мне, к сожалению, не пришлось дослушать ее, потому что другая лошадь, с которой сейчас было связано мое существование, куда-то резко попятилась, зафыркала, снова забила хвостом и, с отчетливым стремлением остаться в одиночестве, бросилась в сторону. Очевидно, наши дороги не сошлись: она бежала обратно, а я, не успев даже выразить своего совершенно справедливого негодования, ощутил под собой какую-то липкую грязь и бутылочные осколки...

Первое, что донеслось до меня, это был бешеный истерический смех Ариадны Сергеевны.

– Упал... А... а... упал... Вот упал... Свалился... Ох-ха... хо... Упал...

Я не стал отвечать, пользуясь очевидностью факта, тем более что его могли засвидетельствовать и ранние пассажиры со станции, которым все случившееся казалось необычайно веселым.

При первой же встрече со мной Ариадна Сергеевна протянула руки, посмотрела в глаза и вдруг затряслась от бурного, ничем не сдерживаемого смеха.

– Не могу... Не могу... Упал... Как упал!..

Она произнесла это последнее с такой гордостью для меня, что я даже покраснел...

– Не сердитесь, голубчик, – перестав смеяться, сказала она, – это всегда так бывает... Ну, если не хотите кататься, будем так на воздухе... Есть, наконец, спорт, ходьба...

– Спорт, ходьба? – с горечью спросил я. – Для здоровья? Да?

– Ну да... Чего же вы такой?..

– Такой? А вот почему... Вы хотите, чтобы я играл в футбол?.. То есть, иными словами, чтобы меня повели на какую-то площадку, уронили на землю и стали бить грязным мячом по голове? Да? Вы хотите, чтобы я ходил пешком мимо каких-нибудь огородов и дрался с собаками или мок под дождем за десять верст от своей дачи?.. Да? Так я вас понял?...

– Да, но здоровье, – пробормотала она, – вы такой...

– Городской, затхлый?.. А то, что я себе руку вывихнул, – это не затхлый?.. Нет, вы говорите!..

– Ну, как знаете, – обиженно сказала Ариадна Сергеевна, – для вас же...

Больше мы с ней не встречались, и я совершенно оставил всякие заботы о здоровье. Может быть, поэтому, когда я приехал в город, врачи сказали, что я прибавил на одиннадцать фунтов и что мне можно снова садиться за работу...

1915

## Шаблонный мужчина

Когда все столпились в передней и стали искать калоши, я воспользовался случаем и, наскоро попрощавшись с кем-то из незнакомых гостей, вышел на лестницу.

– Арсений Петрович... Вы куда? Нет, нет... Так нельзя. Я оглянулся и почувствовал, что рабочая ночь пропала.

– Нет уж, вы кого-нибудь проводите, – мило улыбнулась хозяйка, – хотите Нюрочку?..

– Пожалуйста, – кисло сказал я, – дайте Нюрочку.

– Анну Петровну, – поправил чей-то мужской голос сбоку, – разрешите представить: моя жена Анна Петровна... Я, видите ли, остаюсь в банчок смазаться, а уж если вы будете так добры...

Анна Петровна окинула меня быстрым взглядом, всунула в капор голову и лизнула хозяйку в

губы.

– Едемте... Как вас... Арсеньев?

– Арсений Петрович, – сдержанно ответил я, – Саламин.

– Это что такое Саламин?

– Фамилия моя, – сухо ответил я, – Арсений Петрович.

– Ах да, да... Мне о вас говорила Катя. Это у вас жена в тифе лежит? Как жалко...

– Нет. Благодарю вас. Я не женат.

– Вы настройщик? Да? Мне Катя тоже говорила.

– Врет ваша Катя, – холодно возразил я, – я журналист.

– Ах, вот как... Это интересно... Стихи пишете?..

На улице не было ни одного извозчика, и мы пошли пешком. Анна Петровна шла, опираясь на мою руку.

– Удивительные эти мужчины, – говорила она, смеясь, – вот сейчас видели эту толстую даму в бархатном? Нет? Ну, вот которая мне о своей квартире рассказывала... Она сейчас хотела, чтобы ее кто-нибудь проводил, – так ведь никто не согласился... А нам, у которых рожица смазливая, стоит только захотеть, и все побегут... Вот вы, например, пошли бы ее провожать?..

– А где она живет, эта ваша дама?

– Да вот тут за углом...

– Пошел бы, – сурово ответил я, – тут недалеко... Мне еще работать надо...

– Ну да, пошли бы, – снова засмеялась Анна Петровна, – это вы просто, чтобы меня заинтриговать, говорите... Старый приемчик, милый мой... Я опытная... А меня так с удовольствием... И в другую сторону от дома пошли... Верно?

– В другую, – с тихим сожалением сказал я, – верст шесть от меня будет...

– Ну, вот видите... Для меня так и шесть верст пустыки, а для старухи полверсты жалко... Эх вы, рыцари... Именно самцы, и ничего больше... Я вас всех как насквозь вижу... Дай-ка, мол, провожу, может, что-нибудь и выйдет...

Я лично смутно догадывался, что ничего хорошего из провожания на другой конец города выйти не может, кроме того, что мне придется похоронить сегодняшнюю работу и завтра подниматься в восемь утра, однако не высказал вслух этих соображений, а только обиженно возразил:

– Ну, помилуйте... Ничего, ничего... Я провожу...

– Я и говорю... Идете и думаете: скорей, мол, на извозчика, поедем... Там заведу разговорчик о том, что устал, что все равно работать сегодня не хочется...

– Хочется, – уныло вставил я.

– Ну, вы для смазливой женщины и работу готовы бросить... Не первого вижу... Начнете

говорить о том, что как хорошо выпить бокал шампанского в кабинете хорошего ресторана...

– Я не пью шампанского...

– Э, милый мой, это все вы только до ресторана говорите, а потом так набрасываетесь, что не оторвешь... Послушайте, Арсеньев, это там извозчик стоит?

– Саламин, а не Арсеньев. Да, извозчик. Позвать?

– Ну конечно, вы как все, как две капли воды... Сейчас наймете извозчика, сядете ко мне чуть ли не на колени... Больше полтинника ему не давайте... Не едет... Ну, дайте шестьдесят... Садитесь вы слева... Только, пожалуйста, без этих обниманий, я не ребенок – не выпаду из саней...

– Я не обнимаю, – тихо оправдался я, – честное слово...

– Ну, не обнимаете, так будете... Дайте сюда руку да держите крепче, я поворотов боюсь... Ну, начинайте... Рассказывайте о том, что вы одиноки, что у вас душа ищет теплоты и сочувствия, что вам так нужна женская отзывчивость... Ох, как вы все до ужаса одинаковы... Сначала, конечно, предложите немножко покататься... Я знаю это немножко... Да, да, да, знаю... Извозчик, сколько за час? Что? Рубль семь гривен? Много... Полтора хочешь?... ну, потом двугривенный прибавит... Только поезжай скорее... Ну, вот – достигли своего. Шаблонные людишки. Вырвали свое. Рады?

– Рад, – жалобно улыбнулся я, – спасибо...

– Ну конечно, – иронически засмеялась Анна Петровка, – чего же вам больше надо... Хоть бы в одном каплю оригинальности нашла... Сейчас в ресторан потянете...

– Я не люблю ресторанов, – тоскливо ответил я, – в них шумно...

– Ну, уж это слишком, господин... Малакин, – возмущенно заговорила Анна Петровна, – не смеете же вы меня к себе на квартиру звать... Помните, что у меня муж...

– Я помню, помню, ей-богу помню, высокий такой, черный, – испуганно заметил я, – только я не думаю, вы поверьте... Если я о ресторанах сказал...

– Ну вот, ну вот... Что я говорила, – торжествующе сказала Анна Петровна, – у него уже ресторан с языка не сходит... Старый, говорила уже вам, приемчик... Сидите, наверное, и обдумываете, какой бы найти ресторан подешевле. Только имейте в виду, что я в скверный ресторан поехать

не могу, я вам не горничная, которую можно куриной котлетой покорить... Если уж так не можете от меня отстать... Извозчик, «Рим» знаешь?... Что? Какой же ты извозчик... Тебе бы настройщиком быть... Ах, прощон, прощон... Я оскорбила вашу профессию... Вы, кажется, сердитесь, мосье Калугин?... Ну, хорошо, не сердитесь, – я и так уступаю всем вашим прихотям... Ну что, извозчик, вспомнил?... Только скорее... Терпеть не могу скверной езды... Ну что, добились? Эх, вы... Плотоядные...

В ресторане, упрекая меня за то, что я всеми силами стараюсь отговорить ее от ужина в общем зале, Анна Петровна велела приготовить все, что надо, в большом, отдельном кабинете. Весело забегали лакеи. Я прощупывал через боковой карман унылую наличность в бумажнике. Пить Анна Петровна не хотела, но, повинувшись моему нескрываемому желанию ее напоить, чтобы она развязала мне руки для шаблонных мужских поступков, она велела заморозить две бутылки шампанского.

После недавнего ужина я с тихой обидой смотрел на красиво разложенных рябчиков,

которым Анна Петровна с детской шаловливостью отламывала лапки, и мысленно складывал и устрицы, и шампанское, и кофе в один плохо утешавший меня итог. Анна Петровна пила маленькими глотками шампанское, розовела и искренне смеялась над тем, как легко она видит насквозь все мои стремления.

Хватаясь за последнюю попытку оставить себе, для срочной статьи, хоть самый маленький остаток утра, я ничего не пил и тоскливо поглядывал на часы.

– Не пьете, – вскинула глазами Анна Петровна, – спаиваете меня... О, нет, это не пройдет... Нет, это не пройдет... А замыслы ваши... Сядьте сюда рядом... Я не могу смотреть на ваши глаза... В них что-то цинично-мужское...

– Да уж... глаза, – вежливо согласился я, – действительно, это вы...

– Не глумите... Я прекрасно понимаю... Ну, вот одно условие, – я разрешаю вам меня поцеловать, но только чтобы не было этих взглядов... Поцелуй ни к чему не обязывает, а эти взгляды... Ух, какая гадость... Ну, целуйте...

– Да нет... Что вы, – покраснел я, – я, право же, не хочу...

– Ну, милый мой... Я не из тех женщин, которых можно провести скромностью... Ну, целуйте один раз, шут с вами, только больше не приставайте... Ну, вот сюда...

Я вздохнул и поцеловал ее в губы, на мгновенье почувствовав горьковатый запах рябчика и шампанского.

– Ну, будет, будет... Зверь... ну, поехали...

Прощаясь со мной около своего дома, Анна Петровна вдруг сделалась серьезной и сказала строгим тоном:

– Я сейчас всю дорогу видела, какими вы на меня влюбленными глазами смотрели. Только, пожалуйста, без глупостей... Я знаю – завтра же с утра начнутся звонки по телефону, когда меня можно видеть, когда нет дома мужа, где я гуляю... Помните, что я не одна... Я очень прошу... Если уж вы не можете утерпеть, я лучше сама позвоню... Какой номер? Один – пятьдесят один – двадцать шесть?... Карандаша нет... Ну, хорошо, я запомню и так... Целуйте руку и – до свидания...

Когда я приехал домой, уже светало. Со злобой взглянув на часы, я оставил записку, чтобы меня не будили часов до двух, разделся и лег спать.

Утром, около десяти часов, около уха забарабанил телефон, я сорвал трубку и стал слушать расколотившего, как стекло камнем, мой тяжелый, после бессонной ночи, утренний сон.

– Да... Алло... Станция... То есть слушаю...

– Вы? – услышал я чей-то тоненький голос. – Силякин?

– Саламин. Я. Что угодно?..

– Это Анна Петровна... А вы уж, чай, на ногах? Одел, наверное, с утра смокинг, вертится перед зеркалом и дожидается минуты, когда можно было бы поехать сюда... Эх, вы... Ну да ведь верно?..

– Я еще сплю, – хрипло ответил я.

– Ну, ладно... Других проводите... Я вас всех знаю – во как... Ну-с, милостивый государь, ко

мне раньше шести нельзя. Слышите?.. Только не вздумайте раньше... Я так боюсь, что вы прилетите раньше шести, что готова сама приехать, чтобы отговорить вас...

Сон быстро вылетел из головы. Я схватил обеими руками трубку и, делая на измятом лице вежливую улыбку, стал уверять Анну Петровну, что это неудобно, и напомнил ей, что у нее есть муж.

– В шесть буду... Честное слово буду, – упавшим голосом обещал я.

– Ну, то-то же, – сказала она, – а то норовит к двум часам забраться... Так к шести жду...

В половине шестого она предупредила меня, чтобы я не вздумал приехать к одиннадцати, а в шесть я сидел у нее за столом и пил чай. Было довольно много народа, клеился веселый разговор. Анна Петровна мало уделяла мне внимания и только изредка подмигивала какой-то даме с трясущейся губой и показывала глазами на меня. Дама отвертывалась в сторону и смеялась.

А когда почему-то зашел разговор о том, что все люди неискренни, Анна Петровна мило улыбнулась и кивнула головой на меня.

– Особенно мужчины... Они неискренни до ужаса... Вот возьмите господина Саламина... Он влюблен в одну из находящихся здесь женщин, а ведь у него никогда не хватит смелости сказать открыто... И влюблен, как кошка... И все они на один лад.

Все засмеялись обидным смехом и посмотрели на меня. Муж злобно сверкнул глазами, сделался со мной исключительно любезным и даже зачем-то спросил, играю ли я в шахматы...

Уходил я с предупреждениями, чтобы не надоедал звонками...

\* \* \*

Вот поэтому-то теперь, когда мне показывают какого-нибудь мрачного, худого человека и говорят:

– Видите вот этого господина?.. Он влюблен в одну даму, а та на него и внимания не обращает... Он прямо с ума сходит, – я подхожу к этому человеку и, улыбаясь внутренней, одному мне понятной улыбкой, по-братски пожимаю ему руку...

1915

Анисьин муж

I

– Я ведь не как другие жены, – ласково сказала она и поцеловала меня в голову, – иногда прямо измучаешься, все думаешь, думаешь, чтобы не перетратить твою лишнюю копейку... Ты трудишься, работаешь, и я буду работать...

– Спасибо, милая, – с тихой благодарностью сказал я, – ты у меня такая родная, такая родная... Зажги лампу...

– Вот видишь, – укоризненно покачала она головой, – а ты сам о себе не заботишься... С керосином работаешь... Электричество провести не можешь... Я тебе ручаюсь...

– Ну, проведем, – предложил я, – сходи завтра на станцию... Скажи...

– Он говорит – на станцию, – возмущенно отвечала она, – ну, уж это, извини... Сходи на станцию, там тебе дадут пьяных монтеров, драть будут... Ах ты несмышлениш... Анисью, которая у нас служила, помнишь?

– Нет...

– Ну конечно, разве мужья заботятся о доме... У этой Анисьи есть муж. Он умеет освещение проводить, хороший такой мужик... И возьмет каких-нибудь три рубля... А ты – монтеров готов звать... Я ценю твою работу и совсем не хочу, чтобы у тебя лишние деньги уходили... Ну, пиши, пиши... Позвать, значит?

– Позови, – кивнул я головой, – только чтобы скорее это,

– Да ты будь спокоен... Пиши, милый...

И она еще раз поцеловала меня в голову.

## II

Анисьин муж, как всякий трудолюбивый человек, не любил отказываться от работы и на другое же утро был у нас. Его пропустили в кабинет, и уже около девяти утра он вежливо потряс меня за плечо и, дождавшись, пока я открою глаза, осведомился о том, что, собственно, от него хотят.

– Ламп-то вам сколько? – спросил он, оглядывая комнаты.

– Много ламп, – нехотя ответил я, негодуя за прерванный сон, – везде.

– Так, так... Электричество, значит, – неопределенно покрутил он головой. – Ну, что же... Велика ли вещь лампа...

Через несколько минут он втащил в комнату какую-то грязную двойную лестницу и, удобно взмолившись на ней, стал бить потолок большим молотком.

– Это вы зачем? – робко спросил я, чувствуя, что всякие попытки уснуть надо совершенно бросить.

– Как зачем? – изумленно посмотрел на меня Анисьин муж, – чай электричество... Может, я сюда крюк хочу вбить...

Он еще несколько раз уверенным движением ударил по потолку, отбил порядочный кусок штукатурки и сказал, чтобы ему позвали горничную.

– У вас тут раньше-то проводили? – спросил он сверху. – Может, раньше кто работал?..

– Я недавнишня, – сконфузилась горничная, – барыня знает...



– Ну, зови ее, твою барыню... Жена, значит, ваша, – посмотрел он на меня, – детей-то нет еще?

– Нет... – неопределенно ответил я.

– Ну, будут. У вас это скоро. Раньше-то тут, барыня, – спросил он вошедшую жену, – проводильников этих не было?.. Может, тут старые проводы есть, вытянуть бы их... Они так всегда, замажут известкой, а потом ищи...

– Нет, не проводили, – виновато улыбнулась жена, – вы уж проведите, голубчик... мы заплатим...

– Да уж без платы какое дело, – снисходительно бросил Анисьин муж, – тут тебе без этого и керосиновую лампу не проведешь...

Когда жена ушла, он подмигнул мне сверху, и опустил молоток.

– Это барыня, так барыня... Вот здесь, по лестнице, у двенадцатого номера... Я уже на что рабочий человек, а и то бы не взял... Ну, я пойду, – закончил он, – обедать пойду. Время.

Во время его отсутствия мне пришлось отказать одному нужному человеку в приеме: впускать в комнату, пол которой был густо завален штукатуркой, а посередине стояла неопределенного вида лестница, – не хотелось...

Обедал Анисьин муж долго; сознаюсь, что в первые часы его отсутствия я даже подумал, что он обиделся на то, что до него никто не проводил электричества, и ушел совсем.

К вечеру он пришел снова, благодушно и немного иронически настроенный к своей работе.

– Опоздал маленько, – пояснил он свое отсутствие, – мебель перетаскивали... Выезжают одни, комодище вытаскивал... Полтинник, скареды, дали...

Он влез на свое сооружение и методически стал отбивать штукатурку с потолка.

– Папиросочки нету? – вежливо спросил он, – курить хотца...

Я оторвался от работы и протянул папироску.

– Покорно благодарим... – Он затянулся и презрительно вытащил из потолка какой-то гвоздь... – Да, говорю, скареды... У этих ведь, разных квартирантов, один пример... Звать зовут, лошадю работать – работай, а отдать – это нет...

Я почувствовал, что краснею.

– Мы отдадим, вы не беспокойтесь, – виновато сказал я, – я вперед могу даже...

– Да уж вы-то что... за вас и беспокойства нет... Я и девушку вашу знаю. Она и ручалась. Эти, говорит, отдадут... На пищу, говорит, скуповаты, а уж рабочему человеку... Покорно-с... – дотянул он папироску, – хороший табачок...

С точки зрения приведения комнаты в негодность с потолком было сделано все возможное; он был облуплен до балок: по-видимому, Анисьин муж предполагал проводить электричество по системе глуболежащих кабелей. Он с любовью посмотрел на облупленное место, слез и подошел к стене.

– Здесь и пройдут, господин, – обратился он ко мне, – провода-то... – И, видя, что я тупо воспринимаю его объяснения, добавил: – Провода, говорю... Без них электричества кет. Лампу в стену не ввинтишь...

Он подошел к стене, неуверенным движением засунул палец под обои и потянул к себе. Под оторванным куском оказалось какое-то серое, мутное пятно, мало гармонировавшее с цветом мебели.

– Ишь ты – самодовольно ухмыльнулся Анисьин муж. – Обои... Их ткнешь, а они рвутся... И чего это господа не купят... Ерунду, господин, покупали... Бумагу-то...

Через несколько минут Анисьин муж влез с сапогами на постель и стал прибивать к косяку большой, дугообразной формы, гвоздь.

– Это я для себя, – обернулся он, – прибивать буду проволоку-то, так придержаться... Три рубля одно, а голова другое... Упадешь, разобьешься...

– Хорошо, – уныло сказал я, искоса поглядывая на трещину в косяке, – прибивайте там...

Прибив гвоздь, он вымерил расстояние рукой до потолка и сказал, что пойдет ужинать.

– Завтра уж приду... Только лестницу не убирайте, а то спать ставить... Лестница-то никого за руки не хватает...

– Ничего... Ничего, – нерешительно бросил я, – подмести только попрошу...

– Не стоит, – миролюбиво предложил он, – завтра приду, опять насорю... Тоже ведь, электричество...

### III

Назавтра Анисьин муж не пришел. Приходила сама Анисья и просила рубль задатка.

– Он сам-то смирный, – таинственно пояснила она кухарке, – выпится и придет... Ничего, говорит, не сгорят без меня...

Зато на другой день он пришел еще раньше, хмурый и, по-видимому, с твердым намерением окончить работу.

– Спать-то не помешаю? – хмуро спросил он меня, кидая молоток на пол, – прощения просим...

– Почему вы вчера не пришли? – недовольно ответил я.

– Вчера, чего вчера... Вчера не сегодня... – неопределенно ответил он, – сегодня и доделаю... Мудреная штука...

– Так вы уж кончайте скорей, – кисло проворчал я, – надоело.

– Самому надоело, – кивнул он, – тоже навязали... Можно сказать, с ножом к горлу...

– Монтер вы, поэтому и позвали...

– И звали бы монтеров, – огрызнулся Анисьин муж, – звали бы, коли они уж так нравятся... Им и делать-то больше нечего...

– Как зачем? – приподнялся я с постели, – да вы проводить-то умеете?

– Велика штука... Проволоку навертел, гвоздей натыкал... Что звонок, что лампа...

– Да вы сами-то, – дрожащим голосом спросил я, – монтер?

– Я-то?..

– Ну да, вы...

– Мы слесарь... Мебелишку тоже, если где перенести... рабочему человеку пить, есть хочется... Зовут – идешь...

– А проводить-то... электричество-то, – вскочил я с постели, – вы умеете?.. Вы когда-нибудь проводили? А, проводили?..

– Ну, нет... – спокойно ответил он, – чего же тут... Подумаешь, труд большой... Гвоздь вбил, кнопку прибил... Оно, чай, не керосин, само горит...

– Идите вон, – сдержанно сказал я, – подите к черту... Вы слышите?..

Анисьин муж молча собрал инструменты, дружелюбно посмотрел и улыбнулся.

– Бабы все... Анисья да девушка ваша... Иди, говорит, да иди... Не маленький, сумеешь!.. Тут Анисья с монтером одним путалась, так я присмотрелся... Может, комодишко гам какой пообкрасить? Ну, пойду... Прощения просим...

#### IV

Через два часа у меня в комнате веселились четыре монтера. Ходили по столу, сваливали с этажерки книги, рассказывали друг другу профессиональные новости.

– Иди, милый, – ласково позвала меня жена в соседнюю комнату, – вот видишь, родной... Какой ты у меня глупый... Сам работаешь, а копейки своей не бережешь... Позвал монтеров дорогих... А Анисьиного мужа выгнал... Дал бы ему трешницу...

– Милая моя, – тихо сказал я. – Анисьин муж – слесарь... Понимаешь – слесарь...

– Не может быть, – возмущенно отозвалась она, – как же это... Какой негодяй...

Она негодующе прошлась по комнате и, побарабанив пальцами по подоконнику, обернулась ко мне.

– Нет, ты знаешь, какой подлец, – обиженно сказала она, – зову я его на прошлой неделе кровать починить... Он отвертел ножку, матрац расковырял, а потом извинения попросил... Простите, говорит, барыня... Какой я слесарь... Вот если, говорит, электричество провести, так через Анисью скажите – приду... Ну, а ты знаешь, – я не такая, как все жены... Я твоей лишней копейки не истрочу...

1915

Яд доброты

В первый вечер нашего знакомства Шванин спросил меня, почему я сегодня в черном галстуке.

– А так просто. Забыл купить.

– А вы любите темно-зеленые с золотистым оттенком?

– Темно-зеленые? – празднично спросил я, не желая придавать его вопросу острое значение. – Очень. В них есть что-то.

– Ну, так у вас завтра будет такой галстук. Ни больше, ни меньше как темно-зеленый... И именно я, если разрешите, преподнесу вам его.

Он торжествующе посмотрел на меня и, не дожидаясь благодарности, отошел в сторону. На другой день посыльный принес мне шванинский подарок; а когда следующий раз я надел его и пошел в гости к знакомым, где был и Шванин, я понял, что сделал непростительную ошибку. Увидев меня, Шванин отвел в сторону хозяина дома, позвал меня и, похлопав пальцами по галстуку, спросил;

– Каково?

– Что? – удивленно спросил хозяин, поглядывая на нас обоих.

– Галстучек-то? Каков?

– Да, галстук, – неопределенно бросил хозяин, – зеленый, кажется...

– Не в том дело, что зеленый, а как приобретен-то... Я ведь подарил. Три часа в магазине рылся...

Я немного смутился.

– Я и забыл вас поблагодарить...

– Что тут благодарность... Приказчики, можно сказать, с ног сбились... Еле нашли такой...

Через несколько минут ко мне подошел какой-то малознакомый человек и деловито попросил:

– Можно вас к свету? Вот сюда немного... Ага, хорошо... Мне сегодня Шванин с утра звонками надоел: приходите, говорит, посмотреть, какой я ему галстушонок закатил... Ничего себе...

– Мерси, очень...

За картами Шванин пришел из другой комнаты и перебил кому-то хороший ход.

– Играет? – по-отечески, шутливо спросил он, обращаясь к кому-то, обо мне, – а на галстук и внимания никакого... А я-то, старый дурак... Четыре магазина обегал... Приказчики...

– Нет, что вы, что вы... Я очень благодарен...

– Я так, к слову...

Когда все расходились и толпились в передней, разыскивая калоши, Шванин вернулся с лестницы и, пожимая мне руку, предупредил:

– Вы его пальтецом прикройте, а то сверху еще чего, пожалуй... он нежный...

- О ком это вы так заботитесь? – с улыбкой спросила какая-то дама в капоре.
- Да вот галстучек ему подарил, а он человек молодой, неосторожный...
- А покажите-ка ваш знаменитый галстук... Ничего, милый... У вас есть вкус, Шванин...
- Ну, еще бы... Четыре магазина... Три часа... Все приказчики...

Галстук я подарил швейцару. О Шванине почти забыл.

\* \* \*

Встретил его только вчера. Шел по улице и думал, что в такую ночь ужасно тяжело быть одному. Бродить по улицам надоело, а дома была скука, темные обои и два книжных шкафа с намозолившими глаза корешками переплетов.

– Алексей Сергеич! Вы? Куда это?

Я оглянулся и увидел Шванина.

– Здравствуйте. Так брожу. Хмуро что-то на душе...

– Ай, бездомник, бездомник. В такую ночь домой бежать надо, к близким... Ночь-то какая...

– Да у меня никого нет. Дома тоскливо, одиноко... Приду – сейчас же спать лягу...

– Спать? Вы? Сегодня? Да я сейчас не знаю, что сделаю, если вы не пойдете ко мне...

– Ну, что вы, право...

– Он еще думает, как бы обидеть человека... Да допущу ли я, чтобы человек один ходил здесь, когда... Извозчик, Спасская... Тридцать копеек...

Дома шванинская доброта, как вода у мельницы, пробила все плотины человеческой холодности и хлынула наружу неудержимым потоком.

– Ну, съешьте вот этот кусочек, – с дрожью в голосе говорил он, выковыривая какой-то ломтик ветчины, – ну, ради вашей молодости... Ну, я прошу...

Я ел во имя моей молодости, ради счастья шванинских детей, за грядущее счастье родины, пил кислый портвейн и затхлую мадеру за здоровье восемнадцати отсутствующих и незнакомых мне сослуживцев Шванина.

Только когда последний кусочек кулича беспомощно задержался в моей руке, не имея возможности протолкнуться через чем-то набитый рот, Шванин закидал меня сочувственными, соболезнующими вопросами.

– Скверная, говорите, комната? Холодная?

– Вода замерзает. Думаю сменить.

– И скучно одному?

– Бывает. Редко, а все-таки бывает...

– Как жалко... Такой молодой, и уже... И скверно возвращаться одному?

– Да, неважно... Ну-с я пошел... Очень вам благода...

– Что? Уходить? И вы думаете, что в такую ночь я...

Через полчаса бесплодной борьбы с неиссякаемой добротой отзывчивого человека мне пришлось остаться ночевать у Шванина. Ночью он четыре раза осторожно заглядывал в отведенную мне комнату и шепотом справлялся:

– Спите?

– Нет, а что? В чем дело?

– Может, попить хотите, – так вот тут, на столике... Может, вам свет мешает?..

– Не беспокойтесь, очень хорошо...

– Я все-таки прицеплю еще газетку к занавеске... Глаза молодые – они ночью темноту любят...

Когда я вернулся домой и стал переодеваться, в кармане пиджака что-то зашуршало. Я вскрыл конверт и изумленно вынул оттуда деньги.

«Не сердитесь, милый Алексей Сергеевич, – написал Шванин в маленькой сложенной записочке, – я сам был молод и знаю, что такое без денег праздник проводить. У меня эта четвертная, можно сказать, лишняя, а когда у вас будет, отдадите».

Я сконфуженно улыбнулся и переложил четвертную к пачке других бумажек, празднично лежавших у меня в бумажнике.

\* \* \*

Доброта Шванина начала сказываться через четыре дня,

– Алло! Слушаю вас... Слушаю...

– Это вы, Алексей Сергеевич?

– Ах, Дмитрий Михайлович! Какими судьбами?

– Вы только не сердитесь, голубчик, но мне прямо даже обидно...

– В чем дело?

– Я даже не поверил сначала... Разве у вас такие скверные обстоятельства?

– У меня? Нет, кажется, ничего...

– Ну, что там скрывать... Только почему вы не обращаетесь ко мне? Через несколько месяцев мы с вами, можно сказать, будем родственниками, я так рад, что я отдаю дочь за такого милого молодого человека, а вы идете сначала к чужим людям...

– Я, право же, ничего не понимаю...

– Мне Шванин звонил, говорил, что дал вам двадцать пять рублей и даже не назначил срока...

– Дмитрий Михайлович, поверьте...

– Да, я сам понимаю, дело молодое... В картишки продулись?

– Поверьте мне...

– Да вы не волнуйтесь... Мне только неприятно, что у меня в доме вы всегда говорите о хороших заработках, о свободных деньгах, а тут на самом деле...

– Я же не просил... Вы понимаете...

– Вы отдайте ему... Одолжите у меня и отдайте...

– Я очень вам благодарен, но мне не нужно ваших денег, кроме того...

– Я вам не навязываю, но мне просто неприятно... Вы извините меня, может быть, это мещанство, но что делать... Неприятно, что жених моей дочери ходит и занимает четвертные у каких-то...

– Я бы просил вас, если это возможно... Алло! Алло... Дмитрий Михайлович... Барышня! Что вы нас разъединяете? Что? Повесил трубку... Ага... Хорошо...

\* \* \*

– Что же, вы подыскиваете комнату себе? Мне, конечно, все равно, если моей квартирой гнушаются, я так, как хозяйка спрашиваю... Билетик надо вывесить...

– С чего вы взяли, Мария Михайловна? Садитесь, пожалуйста...

– Ничего, я постою. Не я взяла, другие берут. Могли бы сами сказать, не через знакомых. Я не кусаюсь.

– Я же ничего не понимаю...

– Да и понимать тут нечего. Ваш же знакомый, господин Шванин... Прочитайте.

Она передала мне письмо, в котором Шванин образно и настойчиво укорял мою хозяйку в том, что она губит молодой организм своего квартиранта, не отапливая в достаточной мере комнат...

Дочитав, я скорбно посмотрел на хозяйку.

– Тут в соседнем доме комнатка хорошая есть, – уклончиво ответила она на мой взгляд.

– Тут недоразумение какое-то, – робко произнес я, – я ничего не говорил...

– Если у каждого жильца свое недоразумение будет, лучше уж так как-нибудь, – хмуро возразила она, – вы подумайте и скажите насчет билетика, когда вывесить можно. Не из-за удовольствия комнату сдаешь, чтобы потом сплетничали...

– Я просил бы вас...

– Нет уж позвольте мне попросить вас... Мне это не нравится.

\* \* \*

Верочку я встретил во время поисков комнаты. – Ну, как Расланова? – холодно спросила она

меня, небрежно подав руку. – Томитесь по ней?

– При чем тут Расланова? – удивленно спросил я.

– Да так... Убитое настроение, муки одиночества, ночевка вне дома...

– Откуда вы знаете?.. Кто вам наболтал?..

– Совершенно незаинтересованный человек... Я слухов не собирала, а просто вчера встретила Шванина, он мне и рассказал... И о ваших жалобах на одиночество, и о вашей тоске и неудовлетворенности... Мне казалось бы, что человек, который собирается начинать жизнь с другим человеком, которого он называл любимым, не должен томиться из-за того, что какая-то артистка...

– И об артистке Шванин рассказал?

– Нет. Об артистке он не рассказал, но это томление, эта тоска, эти ночные кутежи вне дома... Недаром этот ваш знакомый рассказывал, что он целую ночь вас утешал... Сначала утешитель, потом утешительница явится...

– Верочка...

– Вера Дмитриевна.

– Оставьте это. Все вздор.

– Ну, знаете, Алексей Сергеевич, если для вас это – вздор, чего же я могу ожидать дальше?..

– Верочка...

Еще через несколько дней мне удалось восстановить прерванную чужой добротой линию своей жизни. Деньги я вернул Шванину с короткой и характерной припиской, после которой мы избегали встреч друг с другом.

Мне рассказывали, что в одном обществе, говоря обо мне, Шванин невольно прослезился при воспоминании о незаслуженной обиде и тихо сказал:

– Как тяжело, как больно быть отзывчивым... Они топчут это чувство сапогами... Так жестоко, так холодно топчут...

С тех пор я решительно избегаю встреч с добрыми людьми.

1915

Из сборника «Чертово колесо»

1916

Ребенок

Вы, наверно, сами знаете это чувство, когда всем заранее сказано, что вы находитесь за



городом, прислуга предварительно отпущена на целый день со двора, с телефона снята трубка, а сами вы в волнении бегаєте по комнате, приводите все на столе в художественный беспорядок, десятый раз переставляете цветы с подоконника на этажерку, с этажерки на выступ печки, оттуда снова на подоконник, пока стенные часы в столовой не пробьют восемь ударов.

Сейчас должна прийти Женя. Может быть, даже ее зовут или Наташей, или Лизой, это все равно. Должно прийти существо, пахнущее знакомыми духами, морозом и с волосами, на которых повиснут капельки тающего снега. Существо будет болтать глупости, то сердиться, то говорить такие милые слова, от которых душа улыбается и целых два дня сладко кружится голова.

Хотя к этому моменту готовишься с девяти утра, но когда в прихожей внезапно дребезжит робкий звонок – кто из нас поступает логично и последовательно.

В такое время и позвонил Суханов. Когда я открыл дверь и на меня взглянули две пары жизнерадостных веселых глаз Суханова и его жены, державшей какой-то ватный сверток на руках, я понял, что на меня надвинулось что-то большое и плохо отвратимое.

Зная мое неумение искренне радоваться неожиданному приходу старых приятелей, Суханов оборвал меня корректным обещанием:

– А мы к тебе на минутку...

– Пожалуйста, пожалуйста, – убито улыбнулся я, – очень рад... Раздевайтесь, Марья Павловна...

Она взглянула на мужа, на ватный комок, из которого на меня с недоверием выглянула еще пара маленьких подслеповатых глаз, и охотно стала снимать шляпку.

– Нет, нет, Мурочка, – остановил ее Суханов, – не будем мешать Сашке. Сама знаешь, дело холостое... Оставим и уйдем...

– Что оставим? – с тревогой спросил я. – Может, ко мне пройдем... Что мы в прихожей стоим...

– Да нет, что там... Только уж будь другом, выручи...

– Господи, Суханов, – с тайной надеждой в голосе вырвалось у меня, – да что же вы по телефону-то... С удовольствием, брат... Я как раз сейчас при деньгах...

И с радостной торопливостью я полез в бумажник.

– Брось... Не в том дело. Деньги есть... Нам, брат, с ней. на свадьбу сходить надо...

– Сходи, Суханов, – не теряя надежды, предложил я, – я люблю этот обряд. Веселый такой...

– Знакомые одни... И тут неподалеку от тебя... Даже ты бы мог пойти...

– Не хочется что-то, Суханов...

– Да это я так, к слову... Вот мы, значит, пошли с нашей Зинкой...

– Какой Зинкой?

Суханов умиленно кивнул на ватный сверток, булькающий и трясущийся на руках его жены.

– С ней вот... Подъезжаем уж почти к тебе, как она вот и говорит...

– Зинка? – осторожно спросил я, пытаюсь издалека узнать о возрасте сухановского потомка.

– Ну, Зинка... Скажет... Она еще у нас маленькая... Смотри, какие глазенки... У-у-у... Смотри, к тебе ручонками тянется... – Одним словом, мы и решили, – немного подумав, сказал он, – дай, думаю, заедем сейчас к Сашке, парень он славный...

– Ах, он так вас любит, так любит, – кокетливо подтвердила Суханова, – я даже ревновать начну...

– Ну, чего там, – конфузливо отмахнулся Суханов, – старые друзья... Не раз и сам выручал его – так мы и решили. Заедем, мол, попросим Сашку, чтобы подержал Зинку часа полтора у себя, а мы скоро... Поздравим и заедем обратно... Может, чаишком напоит потом...

Должно быть, выражение моего лица требовало сочувствия, потому что Суханов покровительственно похлопал меня по плечу и со смехом добавил:

– Да ты не бойся... Зинка, брат, девчонка славнецкая, не орет... Приучайся, у самого дети будут...

– Вы просто положите ее на кровать, – успокаивающе добавила Суханова, – и оставьте... Заплачет – молочка ей дайте... У тебя с собой бутылочка?..

– Со мной, со мной... Я, милая моя, не ты, не забуду... На, дружище...

Он вытащил откуда-то из кармана бутылку с желтой соской и сунул ее мне в руку.

– Видишь ли, – с легкой дрожью в голосе сказал я, чувствуя, что отказ от Зинки может стоить мне сухановской дружбы, – я же никогда с детьми...

– Нет, вы не говорите, – вступилась Суханова, – в вас есть что-то... Вы, должно быть, очень добрый по натуре... Я, кажется, никому другому не поручила бы хоть на минутку своего ребенка...

– Кланяйся и благодари, – засмеялся Суханов, – матери, они, брат, действительно, ребенка не каждому и подержать-то дадут...

– Зиночка, иди к дяде... Дядя добрый...

Зиночка еще раз посмотрела на меня и еще раз заплакала...

– Не плачь, детка... У вас керосинка есть?

– У меня... Есть, кажется. На кухне...

– Так уж, если Зинка заревет, вы холодного молока ей не давайте... Поставьте бутылочку на керосинку...

– Поставлю, – глухо сказал я, – только я разжигать ее не умею. И ребенка могу уронить. Я уже трех детей уронил на своем веку.

– Пустяки, не трусь, брат, не уронишь... Девчонка спокойная... Только молоко минуты две держи...

– У меня там торт есть, может, ей кусок можно...

– Вот они, холостяки, – с восхищением бросил Суханов, – как дети... Восемь месяцев ребенку, а он торт...

– А я одному так дал... Двух месяцев не было, а дал целый кусок. С аппетитом съел. Умер потом.

– Ну, пустяки... А если, знаешь, не будет спать, так ты возьми что-нибудь блестящее... У тебя есть – часы, запонка там, абажур... Помахай перед Зинкой, она и...

– У меня револьвер есть... Может, выстрелить несколько раз в воздух... Или я могу головой побиться о стену...

\* \* \*

Очевидно, мнение обо мне, не раз высказываемое моими врагами, что моя внешность не вызывает полного доверия, разделяла и Зинка. Когда счастливые родители ее ушли и я уже минут пять укладывал ее на постель, она орала с таким отчаянием и бесконечным ужасом, как будто я отрывал у нее одну из ног, судорожно бьющих по одеялу. На кухне уже горела керосинка: может, это даже не было состояние горения, но, во всяком случае, по едкому запаху копоти, медленно, но верно распространявшемуся по всем комнатам, можно было догадаться, что что-то в керосинке мною зажжено.

Вспомнив совет Суханова, я принес бронзовую пепельницу и стал махать ей перед изумленной Зинкой, которая сначала притихла от острого недоумения, но потом, очевидно заподозрив во мне желание ударить ее этой блестящей вещицей, стала кричать еще надрывнее.

Я вспомнил, что в этих случаях опытные няньки успокаивают детей пением. Больше надеясь не на свою музыкальность, а на счастливый случай, я в бешенстве ходил по комнате и заунывно пел:

– А-а-а-а-а, а-а-а-а...

Моя несложная песня, сливаясь с шагами и Зинкиным ревом, мало успокаивала то чувство ожидания, которое заставляло меня прислушиваться к каждому шороху.

«Не придет», – с болью мелькало в сознании.

И мне уже представлялось, как Женя сидит сейчас с кем-нибудь в театре, наверное, с Папковым, смотрит на публику и

с внутренней насмешкой думает о том, как я, обманутый идиот, сижу у часов и жду ее прихода. Извините, сударыня. Не на такого напали. Ну да, я люблю, очень люблю, конечно, мне было бы приятно, если бы вы пришли... Конечно, провести с вами весь вечер, проводить вас домой... А может быть, опоздала просто, дома задержали... Звонок... Испуганная Зинка истерически взмахнула руками и вцепилась в подушку.

– А-а-а... – беспомощно вырвалось у меня. – А-а-а... Я сейчас, я сейчас... Отворю только... Отворю только... А-а-а... Молчи, скотина... Господи, я ей голову оторву...

\* \* \*

– Раньше вы, конечно, прийти не могли? – сдержанно спросил я у Жени, снимая с нее боа и чувствуя, что вся душа наполняется чувством поющей радости оттого, что ока пришла, что она здесь и что я чувствую ее бесконечно милую близость. – А я жду...

– Ну, не сердитесь...

Боже мой... Ведь и Катя так улыбалась, и Ксения Николаевна, и Соня... Но почему-то эти улыбающиеся глаза успокаивают сразу, и становится так хорошо...

– Нет, еще раз поцелую... Вот эту милую лапку...

– У вас так хорошо здесь, Шура... Я люблю эту комнату.

– Правда? Садись, Женя... Если бы вы знали, как...

Женя подошла к этажерке, пошатала цветы, потом посмотрела на меня.

– Почему это у вас так горько пахнет, Шура?

– Это керосинка, – густо краснея, ответил я.

– Керосинка?..

– Да... Это так, пустяки... Прислуга зажгла... Сидит и ждет...

– Скажите, чтобы потушила... Дышать нечем...

– Ее дома нет, – плохо соображая, что говорить, кинул я, – с утра ушла...

– Как с утра? – заинтересовалась Женя. – Так с утра и горит?

– С утра и горит, – со вздохом сказал я, – старая прислуга, неопытная...

– У вас же молодая горничная была...

– Сменил. В деревню уехала... Пила...

– Неужели пила, а вы так довольны были ею...

– Я схожу, потушу...

По дороге я заглянул к Зинке. Она успокоилась и спала, дергая во сне губами. Я облегченно вздохнул и с ненавистью посмотрел на нее.

– Спи, спи, скотина...

Керосинку, как оказалось, потушить нелегко. Если повернуть один фитиль, горит другой, повернуть его – идет дым. Пришлось залить водой. Правда, при этом погибло Зинкино молоко, но керосинка гореть перестала.

\* \* \*

– Опять вместе... Мне казалось, что в прошлый раз мы расстались навсегда...

– Милый...

– У вас такие славные волосы, Женя... Такие мягкие, мягкие...

– Да волосы... А вот опять эта противная Ардатова висит на стене...

– Женечка, да это же карточка на память... Я ее сниму...

– Вы любили ее?

– Ардатову? Ни коим... Разве я мог...

– Вы же сами говорили, что у вас от нее был сын...

– Женечка, да ведь я врал вам, чтобы возбудить ревность ко всему прошлому, ко всему, что когда-то...

Женечка печально и нежно посмотрела на меня, и на уголках ресниц задрожали слезинки.

– Вы, наверное, любите этого ребенка...

– Женечка, клянусь вам честью, что это неправда... Я же вам сказал, что это ложь...

– Вы все мужчины...

– Женечка...

Я наклонился к ней и поцеловал ее в голову. И когда в наступившей тишине Женя доверчиво положила мне на плечо голову, окутывая меня запахом своих духов, в соседней комнате я ясно услышал слабый, еле уловимый писк и быстро вскочил с дивана.

– Что с вами? – испуганно спросила Женя.

– Я сейчас, я сейчас, – задыхаясь от ужаса, пробормотал я, – там того...

– Что такое...

– Абажур... Абажур упал, – на ходу бросил я, – разбился...

– Почему же я не слышала...

– Такой он, мягкий... Неслышный...

– Какой мягкий...

– Из матери... Я сейчас...

К моменту моего прихода Зинка раскрыла рот, определенно предполагая начать новую серию длительного крика.

– Молчи! – глухо крикнул я. – Молчи... Убью, негодяйка...

Не обращая внимания на мое предупреждение, Зинка заплакала...

– Господи... Что же это... Молчи, молчи... Ради бога, молчи...

Я схватил ее на руки и начал бегать с ней по комнате.

– С кем это вы там разговариваете? – тревожно спросила Женя, подходя к двери.

– Сюда нельзя! – истерически крикнул я. – Я так...

– Нельзя? Мне нельзя? С кем же вы разговариваете...

– Да я так, честное слово, так... С собакой... Маленькая такая... Забралась под постель... Я и гоню...

- Что же я одна здесь буду сидеть?..
- Сейчас, сейчас... Спи, спи...
- Ничего не понимаю... Это вы меня спать укладываете?..
- Нет же... Я, честное слово, так... А-а-а... А-а-а...
- Что же это вы собаке поете? Я здесь одна, а вы там достали какую-то собачонку...
- Женечка! – голосом, полным скорби, крикнул я. – Женечка, я сейчас...
- С вами что-нибудь случилось... Шура... Шура...

\* \* \*

Когда она отворила дверь, я сидел с Зинкой на руках и в тупой безысходности бил кулаком по подушке.

- Ребенок? – задыхаясь от волнения, спросила Женя.
- Ребенок... – горько кивнул я головой.
- Значит...
- Женечка... Сухановы оставили... На свадьбе они...

Она ничего не ответила, только закрыла лицо руками и, быстро повернувшись, вышла из комнаты.

Единственно, что женщины делают быстро, – это ссорятся. Самая кропотливая из них в своих туалетных занятиях, привыкшая надевать шляпу до холодного пота на зеркале, во время ссоры одевается с быстротой провинциального фокусника... Мудрено ли, что, когда я, с бешено заливающейся Зинкой на руках, бросился в прихожую, Женя стояла уже одетая и, не подавая мне руки, презрительно бросила:

- Прощайте...
- Женечка, – с настоящими слезами крикнул я. – Я объясню вам... Этот ребенок...
- Ах, не надо, не надо, – по-видимому заглушая что-то в душе, крикнула и она, – прощайте, прощайте...

И, резким движением открыв дверь, вышла.

Может быть, это было вредно для отданного на мое попечение ребенка, но я выбежал с Зинкой на лестницу, глазами, полными слез, провожая удалявшуюся Женю.

- Женя... Вернитесь...

По-видимому, было что-то в моем голосе, что заставило ее на мгновение остановиться, но она сейчас же махнула рукой и пошла дальше.

Убитый и подавленный всем этим, я беспомощно сел на ступеньку, небрежно положив около себя Зинку...

\* \* \*

Не знаю, сколько времени я просидел бы так, если бы сбоку не отворилась дверь из чужой квартиры, из которой, после недолгого созерцательного молчания, чей-то голос не обратился бы ко мне:

– Что с вами?.. Да ведь вы ребенка застудите на лестнице... Такой холод, а ребенок голый...

Я тупо посмотрел на незнакомую даму, говорившую это, поднял Зинку и протянул ее к ней.

– Возьмите ее...

– Я... вашего ребенка?..

– Возьмите, или я не отвечаю за себя... Возьмите...

– Кто вы такой?..

– Вот здесь... Живу... Пять лет живу, – я показал на дверь своей квартиры, – подержите эту тварь у себя... Я через час зайду.

– Какое бесчеловечье! – возмущенно прошипела дама. – Дайте... Иди, иди, крошка...

– Через час я зайду, честное слово...

– Бедная крошечка, озябла, маленькая...

Я думаю, не нужно объяснять, что, схватив пальто, я бросился сейчас же за Женей.

\* \* \*

Примирение произошло в кинематографе. Когда я возбужденно-радостный отворил дверь своей квартиры, женский истерический плач сразу бросился мне в уши...

– Не плачь, не плачь, Мурочка, – услышал я взволнованный голос Суханова, – это он пришел... Он все расскажет...

Когда я услышал их голоса, все радушное настроение куда-то сразу отхлынуло; сразу вскипело злобное чувство против этих людей, испортивших такой редкий вечер.

– Где наш ребенок? – враждебно спросил Суханов, подбегая ко мне.

– Скотина ваш ребенок, – грубо бросил я, – сейчас найду его...

– Куда вы дели ребенка? – раздирающе крикнула Суханова. – Отдайте нам его...

– Подавитесь вашим ребенком... Идем... – Я схватил Суханова за руку, потащил на лестницу и вдруг с ужасом замер: на площадке лестницы было четыре квартиры. В какую из них я отдал Зинку?..

Я позвонил в первую квартиру слева.

– Здравствуйте, – коротко сказал я, – я вам не отдавал ребенка?

Открывший дверь студент с удивлением посмотрел на меня и, обернувшись, крикнул:

– Маша... Тут ребенка требуют...

– Нет у нас никаких ребенков, – донеслось откуда-то. – Может, это швейцар за ключом от подлавки...

– Боже мой, – простонал Суханов, – что ты сделал с нашим ребенком?..

– Пойдем в другую, – грубо прервал я его, – найдем твоё сокровище...

Студент, открывший дверь, схватил фуражку и тоже выбежал на лестницу.

– Он что... сбежал у вас...

– Не ваше дело, – хмуро ответил я. – Суханов, звони вот в эту!

\* \* \*

Мое прощанье с Сухановыми, получившими от отзывчивой дамы своего ребенка, не носило характера сохранившегося дружества. Я даже не вышел провожать их, предпочитая объясниться после...

С Женей мы редко вспоминали этот случай. Но когда теперь я вижу маленький, красноватый и шумный кусочек мяса, который очарованные им люди называют уменьшительными именами и стараются приписать ему небывалые качества ума и красоты, – мне становится жутко.

1915

Лень

Из всех людских пороков один только, по-моему, характеризует его обладателей с хорошей стороны. Я говорю о лени.

Совершенно напрасно говорят, что лень – мать всех пороков. От такой матери не могут родиться такие дети, как, например, воровство или жестокость. Для того чтобы воровать в буквальном смысле этого слова, то есть лазать через форточки в чужие квартиры, спрыгивать на ходу с трамвая с чужим кошельком в руках или ходить в течение часа по черным лестницам и всматриваться в замки и дверные пробоины, нужна исключительно повышенная трудоспособность. Для простой жестокости нужно проявлять немало энергии; желание напасть кому-нибудь требует длительного хождения пешком для обдумывания плана пакости, бесконечных звонков по телефону, писания доносов на больших листах бумаги с подложенным под нее транспарантом и еще, в конце концов, личных визитов на шестые и седьмые этажи без хорошо оборудованных лифтов. Все это скорее по плечу коммивояжеру спичечной фабрики, чем ленивому человеку.

Лень я люблю другую, которая заметна в человеке, как музыкальность, постоянную, как родинка на шее, икотой которой человек даже в глубине души гордится. Расцветет она с рождения нежным цветком и благоухает целую жизнь.

Люблю смотреть на лентяев. Сядет такой человек в кресло, и не только по каждому движению глаз, а даже складками пиджака, кажется, видно, что вся мысль у него работает в одном направлении:



– Ну, что вы все ко мне липнете? Мешаю я кому? Оставьте меня, пожалуйста, в покое...

И кажется ему в это время, что, если бы у дверей его комнаты доложили бы какой-то особенный, чудовищно большой клейкий лист для мух, в котором бы вязли все близкие и чужие люди со своими разговорами, суетой и привычкой залезать в душу – наступило бы полное блаженство...

\* \* \*

Лентяи очень постоянны в любви. В конце концов, любовь самая кропотливая из всех видов человеческой работы. И как ни бегут века, подчиняя все капиталистическому строю, никто еще не додумался в этой области до справедливого разделения труда, хотя бы как на какой-нибудь мелкой консервной фабрике.

Один отрезает сардинке голову, другой кидает ее в масло, третий готовит жестянку, и так до какого-нибудь пятьсот тринадцатого, который наклеивает этикетку, и коробка готова.

В работе любви все приходится выполнять одному. Если бы здесь провести специализацию труда, можно было бы видеть одних только нервно терзающих карманные часы на месте свидания, других пишущих оскорбительные письма, третьих методически и привычно становящихся на колени под родительское благословение и каких-нибудь четыреста седьмых ежедневно, по обязанности, рвущих на себе волосы по поводу уходов навовсе собственных подруг жизни...

Единственное разнообразие во всей этой школе обязанностей вносит иногда последний человек, наклеивающий этикетку на готовую коробку, – человек, с которым убегает чужая жена на четвертый месяц после свадьбы.

Ленивый человек любит всего три раза в жизни, почему его и зовут однолюбом. Первый раз – лет двенадцати, по неопытности, второй раз – лет восемнадцати, из чувства неловкости перед товарищами, которые все влюблены, и третий раз – в тридцать лет, иногда дотягивая до сорока. На этот раз любовь кончается катастрофически, и он вводит в дом молодое существо, сам с кротким ужасом в глазах и с тихой покорностью всматриваясь в будущее.

Больше он не любит. Первый опыт учит его чувству неразделенной любви, сопровождаемой громким весельем и неослабеваемым интересом окружающих. Второй раз он насыщается любовью разделенной, с ее мучительными придатками: уходом из дома, обязательством дежурить у театральных касс, выворачиванием души перед близкими любимой и защитой ее достоинств перед своими близкими. Все это очень хорошо для тучнеющих людей, желающих сбавить несколько фунтов собственного веса путем неожиданных волнений и пробега больших расстояний; для него – это лишнее.

И, наконец, третий раз ему становится ясно, что всякая любовь похожа на те подписные бланки, где требуется проставить на пустом месте только имя, фамилию и несколько пустых формальностей – адрес и еще что-то...

С таким сознанием ленивый человек изменять не может. В его представлении измена это какой-то большой счет, который нужно оплачивать собственным организмом:

Предварительное знакомство ..... две встречи у знакомых (трамвай, седьмой этаж, четыре часа разговоров), ложа в театре (заботы о ней,

Закрепление его ..... придумывание особого заседания для жены, укрывательство от встреч).

Близкое знакомство ..... Ужин в ресторане и проводы домой (перегорелые рябчики, несвежая икра, возвращение в четыре часа утра и долгое снятие ботинок у дверей).

Нежная близость ..... Подыскивание недорогих брошек, суетливое прекращение сплетен, домашний крик, беспокойство за странное поведение жены.

Холод перед разлукой ..... Встреча с Пичуевым и семидневное удивление по поводу его тона в квартире любимой женщины.

«Забудем друг друга» ..... Радостное и быстрое выполнение мелких поручений жены (чистка перчаток, осмотр абажуров, поиски дешевой портнихи) для семейного мира.

Предъявите такой счет лентяю, перед тем как он захочет познакомиться ближе с интереснейшей женщиной, – он оттолкнет его с болезненным криком доброй души. Если же не оттолкнет, – значит, он не лентяй, а портновский подмастерье, у которого от работы не только кривеют ноги, но еще остается на всю жизнь постоянный зуд в душе: принимать все новые и новые непосильные заказы...

\* \* \*

Большинство лентяев умные люди, потому что у них есть много времени для обдумывания всего, что приходит в голову.

Экспансивный человек обыкновенно обдумывает поступок значительно позже его совершения.

– Вы знаете, – обыкновенно говорит такой человек, – я напрасно Гнашина свиньей назвал... Особенно при других и в лицо... Оказывается, что он не писал этого письма...

Или просто бегают по комнате, хватается за посторонние предметы и, наконец, найдя прочное пристанище для рук – собственную голову, начинает тянуть.

– Вот идиот-то я... Вот тупица-то... Ну, что я сделал?.. Схватил деньги, проиграл, соврал, что был на службе, и, в результате, ночевал у швейцара...

Ленивый человек, наоборот, обдумывает все, даже то, что никогда не собирается делать. Не попав в театр, он, лежа на диване, представляет себе, сколько мелких неприятностей он получил бы от четырехчасового обозрения чужой глупости в лицах, и встает с дивана с большим удовлетворением, чем то, с которым он приехал бы из театра. В результате – разумная экономия и возможность раньше улечься спать.

Лентяй приготовлен ко всем случайностям жизни, потому что в часы спокойного отдыха передумано все. И неожиданное получение трудно высчитываемого, даже лучшими бухгалтерами столицы, наследства, и внезапное превращение ленивого человека в испанского авиатора, и быстрый провал дома под землю, – все, вплоть до необходимости отрастить себе большие зеленые крылья и перелетать с крыши на крышу.

Лентяй всегда – прекрасный читатель. Схватив книгу, он вытянет от нее все, что хотели дать автор и издательство за полтора рубля, в то время как подвижной, работающий человек пользуется даже трехрублевую книгу максимально на пятнадцать копеек: узнает имя героя, знакомится с состоянием его папы и, узнав из последней страницы, где герой похоронен, бежит по личным делам на другой конец города.

Зачем такие люди вообще читают беллетристические книги – я не понимаю. Для них должны писать не беллетристы, а участковые пристава: сначала метрики о рождении, потом

свидетельства об окончании гимназии, оспопрививании и несудимости, а в конце подпись врача, удостоверившего нормальную смерть...

Лентяй смакует книгу. Он знает, что, когда он кончит ее, ему придется заняться какой-нибудь работой, а так как это неприятно ему по существу, он перечитывает книгу до того момента, пока не убедится, что автору не удалось скрыть от него ни одной строчки.

\* \* \*

Бывают, конечно, часы, или даже дни, когда лентяи становятся деятельными и подвижными. Это бывает при найме квартир, так как всякая комната и то, что ее составляет, – необходимый фундамент для лени.

Живой, трудолюбивый человек ищет квартиру недолго и снимает ее с маху.

– Что? Диван не поместится? А мы его рядом в комнату. Дует? А когда дует? Всегда! Странно... Впрочем, я же всегда занят... Будто у меня есть время следить за тем, откуда дует... Окно мало? А мы его рядом в комна... Нельзя? Не надо. Кому здесь можно дать задаток?

Лентяй присматривается ко всему.

– Следовательно, если я хочу открыть окно, мне надо встать, обойти стол, отодвинуть кресло... Вы мне, кажется, каторгу с двухгодичным контрактом предлагаете, а не квартиру... Сорок рублей с дровами за шесть комнат? Не в дровах счастье. А диван куда я поставлю? Сюда?.. Вы, очевидно, предполагаете, что у меня одна из рук измеряется саженями... А вставать из-за каждой папироски и подходить к столу... Извините за беспокойство.

Но, сняв квартиру, он требует, чтобы его перевезли туда сейчас же, раньше мебели. Сядет на подоконник и терпеливо дожидается того момента, пока квартира примет жилой вид: то есть кухарка опоздает на два часа с обедом, а к жене придут две говорливые родственницы...

\* \* \*

Лентяи нежны. Огрубляют душу встречи, разговоры, мелкие хамства чужих людей. Созерцая жизнь в тишине своего кабинета, лентяй обеспечен от этих факторов морального огрубения.

Лентяй с удовольствием выслушает влюбленного, потому что последний ждет только словесного сочувствия, которое можно ему подарить, не сходя со стула, в то время как другой человек, просто ударившийся ногой об извозчичью пролетку, требует, чтобы его собеседник опускался около него на колени и почтительно долго рассматривал голую ногу с большим расплывчатым синяком.

Лентяй любит поговорить о цветах и весенних зорях, потому что по этому поводу никто не поднимет бешеного спора, вовремя которого необходимо вставать, рыться в энциклопедическом словаре сразу на несколько букв, унижая себя и энциклопедический словарь, который как будто только и составлен для того, чтобы поддерживать чужое невежество и глупость. Вообще спорить никогда не стоит. Особенно по сложным вопросам, о которых необходимо задумываться. Если собеседник умный и уважаемый человек, даже неудобно думать, что он переменит все свое мирозерцание после вашей пятой фразы. Если же это юнец, который спорит просто потому, что этого требует его организм, – смешно и унижительно изображать из себя колонию для малолетних преступников и заниматься исправлением юных характеров.

Лентяи никогда не спорят.

\* \* \*

Я люблю их. Не обрюзгших, с большими отвисшими животами и заплывшими глазами, способных волноваться только перед подачей из кухни еще неведомого, но уже предвкушаемого третьего блюда... Других. Тех, которые даже работают, несут все тяготы жизненной кропотливости, но у которых в душе всегда вибрирует одно и то же желание:

– Эх, кабы бросить все... Усесться бы, выгнать всех вон да отдохнуть годика полтора-два... И так – чтобы ничего не делать...

И когда я вижу людей с этой недостижимой надеждой – мне становится жалко и грустно. Может быть, потому, что я сам с искренним удовольствием никогда и ничего бы не делал...

1916

Карьера берлея

На пляже одного из больших французских курортов на желтой узенькой скамье часа в четыре ночи спал какой-то бедно одетый человек.

– Вы, кажется, спите?

Спящий слегка приоткрыл один глаз, мутно посмотрел на подсевшего к нему господина в коричневом пальто и сером цилиндре и хмуро заворчал:

– Вы всегда разговариваете с незнакомыми людьми в четыре часа ночи?

Тот достал из бокового кармана портсигар, вынул сигаретку и перед тем, как положить его обратно в карман, спросил:

– Курите?

– Курю. Спасибо. Спички тоже нет.

– Пожалуйста.

Некоторое время оба курили молча. Человек в сером цилиндре смахнул большим ногтем пепел с сигаретки и посмотрел на разбуженного.

– Хозяйка?

– Хозяйка. Три с половиной недели ждала.

– Вещи удержала?

– Все. До последней визитной карточки.

– Ищете работы?

– Решительно нет. Если вы с этим, я лягу. Я очень люблю спать, когда мне не мешают.

– Успеете. Полиция обходит пляж к девяти утра. Человек в сером цилиндре покопал землю тросточкой и, выпустив дым сквозь зубы, спросил:

– Скажите... Вы не осквернили бы память отца?

– Вашего?

– Собственного.

– С тех пор как он меня подталкивал в бок, при моем окончательном уходе из дома...

– А деда?

– Увы, этот старый человек не оставил после себя даже памяти. Говорят, что его даже не было вообще, а был какой-то толстый лавочник, который отпускал бабушке даром товар.

– Тем лучше. Хотите получить задаток?

Хмурый человек жадно посмотрел на руку собеседника, опустившуюся в карман, пожал плечами и, отвернувшись в сторону, плюнул.

– Я никогда не осквернял своих предков дешевле восьми франков за неделю.

– Мы заключим контракт. Восемь франков вы будете Платить в день своему лакею. Я не плачу своим служащим меньше трехсот за неделю. Согласны?

– Может быть, у меня такой идиотский вид, что вы ждете от меня отрицательного ответа?

– Прекрасно. Меня зовут Риньоль. Генри Риньоль.

– Берлей. Англичанин.

– Улица Роже, дом семнадцать. Есть вывеска. От двенадцати до четырех.

– Мерси. Здесь четырнадцать франков... Ах, нет – пятьдесят. Сто двадцать... Послушайте, господин Риньоль... Я непременно буду у вас...

\* \* \*

Риньоль сидел у себя в кабинете, рассеянно смотрел по сторонам и говорил Берлею, аккуратно пришедшему к двенадцати часам в наскоро купленной синей визитке:

– Ваш дедушка был лысым.

– У вас спорные биографические данные. Волосами дедушки можно было набивать диванные подушки.

– Для моей фирмы нужно, чтобы он был лысым.

– Безнадежное дело. Старик умер лет сорок тому назад и вряд ли теперь способен заниматься своей прической.

– Нам нужны показания об этом.

– Если вы думаете затеять с ним судебное дело – я бесполезен. Показания родственников в качестве свидетелей...

- Наша фирма требует от вас, чтобы ваш дедушка был лысым.
- Я знаю о нем более порочащие его факты. Я мог бы их очень толково описать в...
- Если это вас волнует, запишите их в отдельную тетрадку, пронумеруйте страницы и выбросьте тетрадку за окно. Был ли лысым ваш отец?
- Ни разу в жизни. Даже в пору самого острого безденежья.
- Наша фирма...
- Хорошо. Я могу подтвердить, что даже в начальной школе учителя таскали его за лысину на уроках. Триста франков на улице не валяются.
- Кроме того, и вы сами были лысым.
- Ваше личное желание или интересы фирмы?
- Фирма.
- Требует?
- Требует.
- Прекрасно. Я был лысым. Об этом догадывались все, несмотря на мою шевелюру.
- Прекрасно. Вы меня поняли. Под каждым вашим портретом будет ваш автограф о том, что...
- Мой дед, мой отец и я сам... Я понимаю. Это произошло от усиленного питания особой мукой вашей фирмы, большая коробка – шесть франков, десять сантимов – малая.
- Ничего подобного. Вот.

Риньоль вынул из стола баночку с каким-то зеленым веществом и показал ее Берлею.

- Усиленное питание?
- Смазывание головы на ночь.
- В четыре дня волосы со свистом и шумом начали расти и достигли максимального, пугающего близких размера?
- В одиннадцать.
- Две больших баночки и одна малая. Вторая малая повлекла усиленное обрастание волосами всего организма, и я испугался.
- Лишняя подробность. Больше ничего. Желаете подписать контракт на два года?

Берлей подписал бумагу, сложил копию в карман и, щелкнув часами, спросил:

- Ваша фирма больше ничем не занимается? Лишние триста франков в неделю мне были бы не бесполезны. Кроме того, о котором мы уже говорили, у моих предков еще были такие изъяны...

\* \* \*

Через два месяца во всем городе не было ни одного человека, который бы не знал Берлея в лицо. Когда он приходил снимать квартиру, ему вежливо кланялась вся прислуга, а хозяйка неизменно спрашивала:

– Кажется,

monsieur был лысым?

– Да, был, – сухо бросал Берлей.

– Впрочем, это у вас от дедушки, – успокаивающе бросала хозяйка, – это очень счастливый случай...

– Ага...

– Кстати, у меня муж очень страдает от этого... Может быть,

monsieur расскажет ему, как он излечился?.. Это было бы очень любезно с его стороны...

Берлей хмуро ворчал и шел к хозяину квартиры.

– Мой дед был лысым, мой отец был... – безучастно говорил он заученные фразы, – но вот в один прекрасный день я выписал малую баночку...

Когда он уходил уже с тем, чтобы наверняка не снять квартиру в этом доме, его все равно провожали с молчаливой вежливостью, и швейцар, отворяя дверь, почтительно говорил:

– О, это очень странный случай... Господину повезло о его волосами...

Если Берлей заходил в театр, публика начинала волноваться и переставала смотреть на сцену. Он видел сотни биноклей и лорнетов, направленных на его голову, и пьеса теряла для него всякий интерес. Он знал, что, как только опустится занавес, к нему будут подходить изящно одетые люди и выдумывать различные поводы для того, чтобы заговорить с ним.

Ему приносили перчатки, которых он не терял в фойе, поднимали платки, которые он не ронял, и каждый раз, когда он открывал рот, чтобы поблагодарить, из уст подошедшего вырывалось заготовленное заранее:

– Господин Берлей?

– Да, я.

– Очень, очень приятно... Я уже давно мечтал познакомиться с вами и спросить вас лично... Неужели это правда?..

Берлей с ненавистью смотрел на собеседника, закусывая губы, но у него был контракт, а теперь уже – пятьсот франков в неделю не были лишними. Он сдерживал нервный клубок у горла и бесстрастно говорил:

– Да, это правда. Мой дед... Мой отец... И всего небольшая баночка... В одно утро я увидел в зеркале...

И, кивнув головой на поклон собеседника, быстро уходил из театра бесцельно бродить по улицам. Ходил долго, тяжело думая о том, что даже с плотным бумажником и хорошей квартирой, где сейчас темно и пусто, – жить скучно.

Годы нужды и тяжести до этого времени наложили на лицо Берлея какой-то особенный отпечаток мутной скучности, но теперь он был хорошо одет, у него были деньги, дома – вино

и хорошая обстановка, и Берлей часто выслеживал какую-нибудь женщину, неожиданно привлечшую его внимание во время ночных прогулок. Если это было одно из доступных существ, Берлей подходил сразу и завязывал подобающий в этих случаях разговор.

– Только на минутку в кафе, миленький!.. Там у меня подруга...

– Я подожду тебя здесь...

– Ты не хочешь даже угостить меня чашкой шоколада? Какой ты скупой...

Берлей пожимал плечами и шел в кафе. Женщина шепталась с подругами, уделяя ему сухое внимание и переглядываясь с другими мужчинами. Но через несколько минут где-то сзади неизменно слышался удивленный возглас:

– Да, это Берлей, миленькая... Знаешь, у которого...

И у Берлея падало сердце. Его спутница поднимала напудренное лицо, всматривалась в Берлея холодными глазами и радостно щебетала:

– Ах, ты вот кто... Я тебя не узнала... Нет, нет, иди сюда... Я тебя познакомлю с подругами. О тебе все знают.

Его окружали, ощупывали, заглядывали в глаза, а когда он брался за бумажник, чтобы расплатиться, кто-то подходил к нему сбоку и шептал на ухо:

– Меня зовут Генриеттой... Брось эту дрянь и выходи через другую дверь... Я тебя встречу на улице... А после ты мне расскажешь, как это у тебя вышло... Неужели ты тоже был лысым?.. Я очень люблю эти истории...

Берлей судорожно сжимал пальцы в кулаки и выбегал на улицу.

\* \* \*

Однажды он встретил женщину, которая почему-то ласково посмотрела на него, и от прищуренного взгляда ее серых глаз у Берлея стало тепло на душе.

С ней было трудно познакомиться, но через месяц они уже встречались в саду, и в тот день, когда ее муж сидел дома и бился головой об стол после проигрыша в триста франков, она согласилась поехать к Берлею: осмотреть его уютную холостую квартиру, о которой она так много слышала от него.

Одноглазый, с хитрым лицом, слуга в белом фартуке быстро поставил на стол шампанское, красиво разложил на двух хрустальных вазах фрукты и, передав Берлею ключ от входной двери, ушел из дома.

Берлей ходил по комнате радостно-взволнованный и думал о том, как он завтра запишет в свой дневник: «Она была изумительно нежна, эта крошка Жермен с серыми глазами, и заставила меня вспомнить о другой, потерянной в юности».

Жермен откусывала виноградинки и беспечно смеялась.

Через полчаса, покрасневшая от шампанского, она сидела на коленях у Берлея и закрывала ему тонкими, изящными, надушенными пальцами глаза.

– У тебя, правда, недурные брови, детка... Ты мне понравился сразу...



С того дня...

Берлей с восторгом ловил ее пальцы и целовал. А когда Жермен обхватила его шею белыми нежными руками и перекинула белокурую головку за его плечо, она вдруг вскочила на ноги и с удивлением вскрикнула:

– Это ты?

Берлей оглянулся и побледнел. Жермен смотрела на его портрет, увеличенный фотографом фирмы. Под портретом, напечатанное крупными буквами, стояло объявление о средстве для рращения волос. По контракту с Риньодем этот портрет должен был висеть в его кабинете.

– Ты же мне не говорил... Значит, ты не Смелъ... Ты – Берлей... Вот оно что...

Что-то новое, холодно любопытствующее, мелькнуло в ее глазах, и, подойдя к Берлею, она лукаво шепнула:

– Ведь ты мне расскажешь?.. Ты мазал этим голову, или...

Берлей побледнел, лицо его покрылось пятнами, и из горла вырвался какой-то хриплый крик. А через минуту он стоял у дверей с цилиндром в руках и, отвернувшись от Жермен, резко говорил:

– В столе, налево, в выдвижном ящике – деньги. Все к вашим услугам. Ключ на пресс-папье. После отдайте его швейцару.

И, резко хлопнув дверьми, вышел. На лестнице он вынул носовой платок, поднес его ко рту и рванул белое полотно зубами.

\* \* \*

На другой день Берлей зашел к Риньолю, когда контора уже закрылась. Риньолю сидел в сером жакете и просматривал вечернюю газету.

– Я больше не могу. Вот ваш контракт. Возьмите его...

Риньолю улыбнулся, отодвинул контракт и вынул чековую книжку.

– Я ждал этого разговора. Каждый служащий может желать прибавки, раз дела фирмы идут прекрасно.

– Я вам говорю, что...

– Тысяча франков в неделю вместо прежних пятисот. Вы – прекрасный работник и заслуживаете такой...

Он протянул Берлею чек, потом, как будто раздумав, положил его в карман и вынул из бумажника хрустящую тысячефранковую бумажку.

– Эта наряднее.

Берлей инстинктивно схватил и скомкал бумажку. Потом вздохнул и опустил голову.

– Мне тяжело это, Риньолю...

– Может быть, вам снова хочется, господин Берлей, – иронически улыбаясь, проговорил

сквозь зубы Риньоль, – выбрать себе спальню на одной из скамеек на пляже, или...

И, как будто отгоняя внезапно вставшую перед ним тень недавней нищеты и жадных голодовок, Берлей поднял руку и, не попрощавшись, вышел.

\* \* \*

У Берлея развилась неврастения; он сильно похудел, стал много пить, а по ночам мучила его тревожная бессонница. На улицах и в общественных местах, по требованию Риньоля, он должен был появляться все чаще и чаще, но с каждым днем это становилось мучительнее. Прошло уже около семнадцати месяцев с тех пор, как он поступил к Риньолю, и не было свободного аршина на заборах или куска на театральных занавесах, где бы не было его портрета с описанием целебного средства. Его уже знали все уличные мальчишки, бегавшие за ним по пятам во время его утренних прогулок и подпевавшие на какой-то особенно обидный мотив:

– Я был лысым... Я был лысым...

Его именем называли толстых откормленных котов и маленьких фокстерьеров. Чаще и чаще к нему подходили на улице незнакомые люди и сердито останавливали за руку или пальто.

– Пойдите вы к черту с вашим средством... Я перетратил уйму денег на четырнадцать больших банок – и никакого результата... Жулики...

– У меня вылезли остатки волос... Вы не имеете права так нагло обманывать. Мерзавцы, и ничего больше.

Один даже грозился палкой.

Все чаще и чаще у Берлея стали нервные припадки. Иногда он судорожно хватался за револьвер, но животный страх останавливал его. Он вынимал из шкатулки банковые билеты, бросал их на пол и бешено топтал ногами.

– Не могу, не могу, – глухо говорил он, хватаясь за голову, отяжелевшую от вина, и бегал по кабинету.

\* \* \*

Пред наступлением одного из припадков Берлей вышел из дома и случайно забрел на курортный танцевальный вечер. Настроение было приподнятое, нервы натянулись и дрожали, передавая четкую дрожь всему телу. В такие минуты Берлею казалось, что он способен даже на убийство, – до того кричала и билась душа.

Случилось так, что, когда он проходил по залу, кто-то из танцующих сильно толкнул его в спину. Берлей резко обернулся и схватил того за руку.

– Извинитесь, – крикнул он, – нахальное животное!

Тот быстро вырвал руку и, как будто даже не обдумав своего поступка, толкнул Берлея в грудь. Рука скользнула по упругой крахмальной груди, дошла до подбородка и быстро отдернулась. Это была не пощечина, но те, кто увидел руку, отдернутую от лица, поняли, что кого-то ударили. Все хлынули к ним, и около Берлея и его врага сомкнулось глухое шумящее кольцо любопытных глаз и разгоряченных лиц.

В наступившую секунду тишины бледный Берлей крикнул:

– Этот негодяй хотел меня ударить...

И прежде, чем тот ответил, прежде, чем кто-нибудь успел подать стул шатающемуся от волнения человеку, чей-то удивленный, радостный голос крикнул:

– Да это Берлей... Который был лысым...

Тогда случилось то, чего никто не ожидал. Берлей взмахнул руками, стал ловить ртом воздух и, как бы желая освободить себя от чьих-то рук, сжимающих горло, стал срывать галстук и разрывать рубашку.

– Врете! – дико кричал он, топая ногами и смотря в одну точку с широко раскрытыми глазами, – меня наняли... Вы замучили меня... Я никогда не был лысым... У меня не было деда... У меня жив отец... У него волосы... У меня не было лысины... Мне платят деньги...

В хаосе поднявшихся криков и женского визга нотами выделялся его рыдающий голос... Он выхватил из кармана скомканные деньги и кинул их в лицо обступившим его людям, а когда плечи его затряслись от вырвавшихся наружу слез, чья-то рука тяжело сжала его локоть сзади, и металлический голос Риньоля прозвенел над ухом:

– Хорошо, что я здесь, негодяй... Завтра я выкину тебя на улицу...

Берлей зашатался и упал на руки соседей.

А когда через несколько секунд он открыл глаза и поискал ими Риньоля, он вдруг поднялся и упавшим робким голосом произнес, не смотря на окружающих.

– Мы просто поссорились... Я был лысым... Мой дед и отец были лысыми... И что же... Стоило мне купить небольшую баночку за... шесть франков... за шесть франков... Большая за одиннадцать... Как на другое утро... Я почувствовал...

Через неделю Берлей получил от Риньоля двести франков и записку от отказе ему в контракте. Почти месяц Берлей проживал в угарном пьянстве все, что было скоплено раньше. Он переехал на другой конец города в маленькую подвальную комнату, купил потертую пальто, кепку и отпустил бороду.

В одну из весенних ночей он встретился с Риньодем на безлюдной, уже уснувшей улице. Тот сделал вид, что не узнал, и быстро прошел мимо.

Берлей догнал его и загородил дорогу.

– Вы не узнаете меня, Риньоль?

– Что вам надо? – сквозь зубы спросил Риньоль. – Мне некогда, Берлей... Что надо?

– Теперь ничего. Впрочем, дайте три франка.

Схватив монету, он опустил ее в широкий отвисший карман пальто и вдруг, точно вспомнив что-то, снял кепи и, погладив рукой по волосам, развязно усмехнулся в лицо Риньолю.

– Удивительные волосы, Риньоль... И так с самого детства. Впрочем, у деда и отца были значительно лучше... Прощайте...

И, весело посвистывая, он пошел к ярко освещенной двери кафе.

## История первого дневника

Я никогда не вел дневника. Единственная попытка в этом направлении потерпела обидную неудачу. Собственно, это был даже не дневник, а просто список всего того, что я, гимназист пятого класса, успел сделать в течение двух недель по отношению к тем добрым воспитателям, которые следили за моим успехом и поведением. Здесь было подробное описание удачной кражи тетрадей с письменными упражнениями у рассеянного математика, незаметно прошедшая пятерка, умело вставленная во время перемены в журнале отца законоучителя, и масса других удовольствий, более интересных для переживаемого тогда момента, чем для опубликования их теперь. Описание каждого случая было сопровождено краткими и искренними характеристиками потерпевших. Должно быть, юношеский порыв и искра литературного таланта помогли мне сделать это интересно и живо, потому что, когда дневник, случайно забытый в парте, попал в руки директора, он читался вслух целым педагогическим советом, собравшимся специально для этих, в сущности, незначительных проб пера.

Дневник произвел, очевидно, сильное впечатление, потому что все единогласно решили сразу предоставить для развития начинающегося таланта более широкую плоскость, чем скромные стены провинциальной классической гимназии.

Добрые мои родители смотрели на это совершенно иначе.

– Вам придется взять вашего сына из гимназии, – вежливо, но определенно предложил директор, – он занимается нехорошими вещами.

– У этого мальчишки удивительно розный характер, – подтвердили этот факт родители, – дома он тоже занимается ими.

Найдя сочувствующие души, директор ознакомил их с моими заметками и наблюдениями. Положительно, несмотря на свое авторское чувство и явную молодость, я не придавал им столько значения, как эти зрелые и спокойные люди...

– Возьмите уж. Вместе с бумагами. Сынка-то вашего.

Родители посоветовались и решительно отказались от этого заманчивого предложения.

– Не надо нам этого сынка...

Не знаю, сколько времени продолжался бы этот некрасивый торг моей неопытной жизнью, но когда я увидел, что мне придется подыскивать себе не только новую гимназию, но и новый дом, что вызвало бы массу осложнений перед наступающим закатом, – я решил положить этому конец.

– Я больше не буду, – неискренне сказал я, выдвигаясь из-за естественного прикрытия, стеклянной двери директорского кабинета, – извиняюсь.

Мое появление не вызвало взрывов восторга, ни трогательного молчания.

Отец почему-то сразу вспомнил недостатки моего воспитания и, внутренне терзаясь ими, сокрушенно сказал:

– Эх, ты... Драли тебя мало.

Мать, эта добрая женщина, опора своего мужа во всех затруднительных случаях, поддержала его туманной надеждой:

– Ничего еще. Время не ушло.

Директор, уловив мое обещание, придрался к случаю.

– Перед кем ты извиняешься, негодяй? Перед кем?

Обращение мне несколько не понравилось, но я решил не обращать на него внимания; раз я смогу остаться в гимназии – свои люди, сочтемся...

– Перед кем извиняешься?..

В душе я прекрасно понимал, что извиняться за мою наблюдательность и тяготение к литературному творчеству мне не перед кем, но так как мной было довольно умело затронут много лиц, я решил перевести дело на подкладку широкой общественности.

– Перед всеми.

– А знаешь, за что извиняешься?

Спадать с тона было неудобно, и, не меняя позиции, я довольно непринужденно дал и этот ответ.

– За все.

– Больше не будешь? – с нескрываемым недоверием спросил директор, очевидно не желавший, вопреки моим намерениям, прекратить разговор.

– Не буду.

– А что ты не будешь?

Не в моих интересах, конечно, было рассказывать все то, что я мог бы сделать для специальных заседаний педагогического совета и чего впредь обещался не делать. Поэтому и этот ответ я постарался замаскировать в неопределенную форму.

– Все.

– Пакости не будешь писать?

Так как все написанное мною в дневнике я считал исключительной правдой, продуманной и прочувствованной, имеющей целью ознакомить с собой, кроме близких товарищей, еще и подрастающее поколение четвертого класса, – это обещание я дал радостно.

– Не буду.

– Честное слово?

– Честное слово.

Желая себя и гимназию обезопасить на будущее, директор решил в хронологическом порядке набрать с меня несколько десятков совершенно лишних честных слов.

– А тетрадки красть не будешь?

– Как, он и тетрадки крал? – без особенно радостного чувства осведомились родители.

– Крал, – безропотно подтвердил я.

– Не с тобой, мерзавец, разговаривают...

На этот раз я, действительно, поторопился с частичной откровенностью. Все равно этот прискорбный факт был бы и не мной доведен до сведения этих людей.

– Неужели у товарищей крал?..

– У учителя, – не оправдываясь пояснил директор и, не совсем, очевидно, доверяя взглядам моих родителей на этот счет, резюмирующе добавил: – Это хуже.

– Крал... Боже мой, неужели крал?..

Хотя в этом случае и не требовалось моего утверждения, но я решил и здесь поставить точку над и:

– Честное слово.

– Может, он еще что-нибудь делал?

Будь директор осведомлен и о тех событиях, которые произошли по моей вине, но, к счастью, еще не успели попасть в дневник, у него хватило бы еще на полчаса разговора... На этот раз он решил перенять мою систему и загадочно кинул:

– Много еще делал...

Пользуясь подходящим моментом, мать решила заплакать.

– Плачь, плачь, – подбодрил ее отец, – вырастили сына...

– Да уж, сынок... – неопределенно вставил директор, – сыночек...

Настроение было явно не в мою пользу. Ни с какой выгодой для себя я его использовать бы не смог. Поэтому, только из деликатности, я решил поддержать свое предложение.

– Примите обратно уж этого щенка, – поддержал меня отец, конечно, не в той форме, в какой мне было приятно, – без обеда его оставляйте, в карцер сажайте, в угол, что ли, ставьте...

По-видимому, несмотря на нашу совместную жизнь, отец плохо понимал меня, если мог думать, что именно только ради предложенной им программы я хочу остаться в гимназии. Я решил молчать.

Слово, по характеру момента, принадлежало директору. Это было очень нехорошее слово:

– Возьмите его. Я ничего не могу сделать...

– Значит, совсем?

– Совет еще подумает, но пока держать такого человека в гимназии...

– Пойдем, Евгений, – коротко предложил отец, – поучился, будет...

– Можно книги взять?.. Из класса... В парте они...

Тон, каким была произнесена эта просьба, плохо напоминал последнее слово приговоренного, потому что директор со злобой, посмотрев на меня, кинул:

– Иди. Да только не торчи долго в классе... Знаю я тебя...

У нас было обоюдное знание друг друга.

В классе, где сейчас была перемена, мой вкат по паркетному полу был встречен общим шумным сочувствием.

– Ну, как? Были? Где он сам? А что отец с матерью? Да ты говори...

Я выдержал достойную паузу и поделился сведениями о собственной судьбе.

– Вышибли, братцы...

– Это Тыква на совете тебе подпакостил... Ей-богу...

– Ну да, Тыква... Он добрый... Это Алешка нагнул.

– А разбить ему в коридоре морду, будет тогда...

– Ты не куксись... Примут еще...

– Молодчага... Вышибли, а он ничего...

Положительно здесь я встречал несравненно больше сочувствия, чем там, где я был несколько минут тому назад. Учитывая это, я решил оставить о себе хорошую память.

– У меня, братцы, там мел натерт для немца, в кафедру насыпать... Вы уж как-нибудь сами...

– Ты уж не беспокойся. Даром не пропадет, насыплем... У тебя еще там два гвоздя...

– Это так, в пол вбить. На всякий случай. Может, кто зацепится...

Некоторые из приятелей и единомышленников по описанным в дневнике случаям решили предложить чисто коллективную помощь.

– А мы, брат, забастуем, когда уйдешь...

– А какие требования-то предъявите?

– Экономические. Чтобы тебя вернули.

– Спасибо, братцы... Ну, прощайте... Сенька, сегодня вечером приходи ко мне...

– А ты куда сейчас?..

– На реку... Сниму штаны и с сеткой пойду по малявкам...

– А у нас еще три урока... Вот черт... Дней пять шляться будешь...

Кажется, что, уйдя из класса, я оставил там немало людей, искренне завидовавших моему неожиданному положению.

Домой я возвращался с отцом и матерью. Это была очень невеселая группа. Я шел спереди, с ранцем за плечами, искренне довольный тем обстоятельством, что сейчас я смогу спокойно позавтракать дома хорошей яичницей, выпить кофе и, так как дома мое присутствие будет всем напоминать о семейном горе, уйти шляться по городу. На реку, конечно, я бы все равно не пошел – летом еще набегаюсь. Отец шел сзади и говорил много лишнего.

– Ух, как и драть я его буду, – делился он впечатлениями с матерью, – сниму что надо да ремнем...

Мать, наверное, по своим чисто практическим соображениям находила, что эта мера может доставить только бесполезное удовольствие отцу и никакого педагогического значения не имеет:

– Пробререшь этакого... Его оглоблей надо...

– И оглоблей буду, – не стеснялся в средствах отец, – всем буду...

Сказать, чтобы все эти обещания действовали на душу, как успокаивающая музыка, я не мог, но отвечать на улице было бесполезно. И, только придя домой, я решил, что пора заговорить и мне.

– Бить будете? – хмуро спросил я, твердо уверенный, что меня никто не тронет пальцем.

– Будем, – упрямо ответил отец, – непременно... Из гимназии вышвырнули...

– А я туда обратно вшвырнусь...

– Да кто тебя примет-то?..

– Кто вышиб, тот и примет...

Отцу, по-видимому, это показалось вполне возможным. Он искоса посмотрел на меня и стал снимать сюртук. Оставляя меня без приличного возмездия ему все-таки не хотелось, и тоном, уже менее суровым, он довел до моего сведения, что хочет отдать меня в мальчишки к портному.

Так как это было придумано совсем неумно, я даже не стал спорить.

– Отдавай.

– Ты с кем разговариваешь, негодяй?

– С тобой.

– То-то, «с тобой»... Ты чего здесь торчишь?

– Есть хочется...

– Позовут, когда надо...

– Мама уже накрывает...

– Иди, иди... Скажи, что сейчас приду тоже...

Через две недели меня снова приняли в гимназию.

– Ну, как, – с плохо заметной строгостью спросил меня отец, когда я в первый раз после перерыва пришел из гимназии, – жмут?

– Пустяки... Забыли все...

– А этот вот, которого ты кокосовым орехом назвал у себя там?

– Ничего... Позубрю завтра.

– Ну, зубри, зубри... – И, потеряв педагогическую нить, отец вдруг оторвался от газеты: – Когда, брат, я в школе учился, был у нас чех один... Так мы ему перца толченого в журнал сыпали...



– Табаку нюхательного лучше...

– Чихает?

– Чихает... Я одному вчера так и сделал...

– А не попадешься?

– Чего там...

– Ну то-то... Ты только матери не говори, а то она, понимаешь... плакать начнет, – извиняющимся тоном добавил он, – женщина она, брат...

И снова прикрылся газетой. Когда я внезапно обернулся к нему, отец не смотрел на газету, а, полузакрыв глаза, чему-то улыбался.

– Ты чего, отец? – покровительственно спросил я.

– Эх, брат, было и в мое время... Прикрой-ка двери, чтобы мать не слышала... Я, брат, тебе порасскажу...

1915

## Мученики

Ни с одним из физических недостатков люди так неохотно мирятся, как с толщиной.

Человек, лишившийся ноги, быстро привыкает к своей деревяшке, и если бы в один странный день у него неожиданно выросла свежая нога, он, наверное, был бы не только удивлен, но даже немного обижен.

– Ишь ты... лезет... Нашла когда... – с укором обратился бы он к ноге, – подумаешь, цаца какая...

Человек с оторванным ухом просто забывает о нем и очень сухо принимает все сожаления окружающих.

– На мой век и одного хватит. У рыбы совсем нет, а подите приступитесь к ней. Осетрина – три рубля фунт, а в фунте и смотреть нечего. Кожа да жир...

Толстяки, наоборот, вечные мученики.

\* \* \*

## Узнав

в одно из хмурых утр, что необходимая часть туалета решительно отказывается обхватить бременное тело и уныло напоминает о полноте тех лет, когда обладатель тела бегал за голубями и играл в бабки, – толстеющий человек с омраченным лицом начинает допытываться у близких:

– Я, кажется, немножко того... Толстею...

Близкий близкому волк. Обрадовавшись случаю сказать что-нибудь неприятное, он всматривается в фигуру и лицо спрашивающего и с нескрываемым восторгом делится свежими впечатлениями.

– Здорово, брат... Вовсю расплзаешься...

– Неужели вовсю? – унылым эхом переспрашивает несчастный.

– Еще бы. Самому пора знать. Третий подбородок растет.

– А хоть четвертый, – обижается толстеющий человек, – не твой, кажется... Я своими подбородками никому жить не мешаю, а ты своим кашлем...

– Кто кашляет, а кто живот растит, – обижается близкий и змеино добавляет: – Смотри, перед пасхой в деревню не уезжай – заколют.

Жизнь толстеющего человека уже отравлена.

\* \* \*

В тот же вечер, когда все уйдут или разбредутся спать, он останавливается перед зеркалом и мрачно смотрит на холодное стекло, уныло и покорно рассказывающее всю безвыходную правду: и о двух лишних подбородках, и об апоплексической багровой складке на шее, и о фигуре, отгоняющей мысль об изящно сшитой визитке.

– Надо лечиться, – проносится тяжелая каменная и остроугольная мысль и тут же претворяется в мучительный вопрос – чем?

Можно меньше есть. Во время обеда ложиться спать, просыпаться после завтрака. Тогда будет толщина от сна. Можно, наоборот, меньше спать. Больше ходить, даже побегать иногда. В этих случаях очень хочется есть. Тогда будет толщина от усиленного питания.

Обычно избирается третий путь:

гимнастика. А так как установка в столовой барьеров или шестов в спальне вызвала бы массу нареканий со стороны домашних, выбирается самый безобидный по своему размаху вид гимнастики: гири.

Толстый человек покупает четыре больших гири и начинает с утра поднимать каждую из них, изредка опуская их на пол.

Снизу прибегает кухарка и заявляет, что у ее господ хворает ребенок, который не может спать, если сверху бьют по потолку тяжелой гирей.

– Шесть месяцев всего, вот и не привыкли, – поясняет она, оправдывая свое появление.

Толстый человек конфузится и просит извинения.

– Емнастикой занимается, – доносятся до него из кухни переговоры двух кухарок, верхней собственной и нижней чужой, – брюхо разъел, видишь, так теперь жир вытряхает...

– Ишь черти, – реагирует чужая кухарка, – обожрутся, а потом безобразят...

Занятия с гирями приходится или отложить, или подымать их над постелью, которая за какие-нибудь три-четыре часа начинает быстро и шумно ломаться.

\* \* \*

Через несколько дней, взвесившись на поломанном автомате, толстый человек весело вбегает в столовую и радостно делится с домашними:

– А я на три фунта сбавил... Здорово...

Домашние относятся всегда и ко всему сухо.

– Должно быть, потеря веса пришлось на долю головы, – сухо догадывается один из слушателей.

– Да я не шучу... Право, три фунта.

– Ты что, в жокеи, что ли, собираешься?

– Вот вы все смеетесь... А я к весне фунтов одиннадцать спущу...

– Ну, тогда тебе есть прямой расчет идти в балет...

Толстый человек обиженно уходит в свою комнату и, притворив двери, начинает высчитывать на бумажке количество сбавленных в будущем фунтов.

– К апрелю – четыре. К июлю всего, значит, тринадцать... К сентябрю еще два.

В конце вычисления получается, что к августу будущего года он станет совсем невесомым, вопреки основным законам природы. Это действует неприятно на воображение.

\* \* \*

Толстый человек не имеет права страдать.

У худого человека это выходит просто. В большой людной комнате он становится где-нибудь в стороне, прислоняется к стене и надолго замолкает. И по тому, как висит на нем невыглаженный смокинг, и по глубоким синим ямам на щеках, и по костлявым пальцам все понимают, что он или безнадежно влюблен, или безвозвратно проигрался на бегах и четыре дня не был дома.

Его не беспокоят вопросами и первому подносят раскрытую коробку с дешевыми шоколадными конфетками, которыми принято угощать гостей в богатых домах.

Толстый человек не может этого сделать.

Если он задумчиво облокотится на кресло, оно медленно поедет на своих колесиках по полу. Если он встанет у стены, фигура его крупным и сочным пятном на светлом фоне обоев подчеркнет свою расплывчатость.

Он неминуемо должен опуститься на стул; сразу, как опытный пловец, выныривает из-под воротничка лишней подбородок, шея утолщается, и весь он приобретает вид случайного мешка с картофелем.

Сочувствия он не вызывает ни в ком; сочувствие успешно заменяет только покровительственное отношение окружающих, когда все перейдут в столовую.

– Я и забыла, что вам мучное вредно... – приветливо бросает хозяйка, отодвигая от него вкусный сливочный торт, в котором мука только по краям, да и та попавшая сюда случайно со сдобного печенья, стоявшего рядом.

Да какой-нибудь гость развязно выхватывает у него бутылку рома, подмигивая и улыбаясь:

– Рому захотел... Да для вас это яд синильный... От спиртного пухнут...

А если толстый человек окончательно захандрит и, тяжело вздохнув, замолчит и уставится глазами в угол, никто не подойдет к нему с таким же чувством, как к худому.

Только тот же развязный гость похлопает по плечу и снова оповестит окружающих:

– Переел наш Арсений Никитич...

\* \* \*

Никто не поверит, что толстые неповоротливые люди с большими животами и розовыми отвислыми щеками пишут любовные письма, сочиняют стихи о северных девушках и газелях или мрачно ходят по два часа около какого-нибудь магазина, уныло дожидаясь знакомого стука высоких каблучков.

Женщины о них говорят неопределенно.

– Всего человек одиннадцать было. Четыре дамы, семь мужчин и Лыкатов.

– Это какой Лыкатов? Адвокат?

– Нет, так. Толстый такой...

Единственно, кто относится к толстым людям с громадным почтением и нескрываемой завистью, это дети.

Увидев у себя дома незнакомого толстого человека, какая-нибудь пятилетняя кукла со светлыми косицами и необъятными глазами как вкопанная останавливается у дверей и не решается идти дальше.

– Иди, иди, Нюта... Дай дяде ручку...

Шота бесповоротно и отрицательно качает головой, сосредоточенно о чем-то думает и внезапно обращается к толстому гостю.

– А я знаю, почему ты такой...

– Какой? – нерешительно спрашивает толстый человек, не ожидающий ничего доброго и лестного.

– Такой, – несмотря на хмурые взгляды обеспокоенных родителей, показывает Нюта пухлыми лапами, раскидывая их, насколько возможно, в стороны.

И, не дожидаясь повторного вопроса, Нюта высказывает тут же свои соображения.

– Потому что ты бабушку съел. Мне нянька говорила. Она старая, а старые не врут.

Толстому человеку вообще очень тяжело.

## Грибной спорт

Когда я в первый раз получил предложение пойти собирать грибы, меня поразило тот инстинкт, который должен вынести каждый, принявший это скромное с виду предложение.

– Сегодня уж вы часов в девять ложитесь...

Привыкший вообще скептически относиться ко всем проектам видоизменить мой довольно неприглядный для чужого глаза режим, я очень удивился такому совету.

– Почему в девять? Это примета такая, что ли, грибная?

– Нет, так... Чем раньше, тем лучше.

– Может, тогда мне уж и обеда дожидаться не стоит?.. Сейчас половина третьего, до четырех дотяну, а потом книжечку на сон грядущий...

– Вы не смейтесь... Часов в шесть вставать надо...

– Может, не есть перед этим днем?

– Если у вас все шутки, тогда как хотите...

Я постарался уверить моих собеседников, что, судя по этим требованиям, я придаю завтрашней прогулке не только шутливое, а наоборот, планомерно-трагическое значение, но необходимость лечь спать в тот час, когда у меня только начинается вечер, и встать, когда я только что разосплюсь, вызвала во мне непоборимый протест.

– А почему в шесть именно?

– Лучше... Все с утра ходят...

– Я понимаю, – пытался я логически обосновать свои возражения, – если бы это была рыбная ловля... Утром хороший клев, но ведь это грибы... Может быть, есть такие сорта, которые нужно часа два прикармливать и только после этого с восходом солнца они показываются из земли...

– Таких нет, – сухо ответили мне.

– Может быть, у грибов есть дежурные часы, когда их можно собирать?

– Что вы глупости-то говорите...

– А если это глупости, то гриб, который торчал в шесть часов утра, будет на том же месте и в двенадцать... Подрстет даже еще немного...

– Одним словом, вы не хотите идти?..

Это был слишком поспешный и недобросовестный вывод из моих слов; я опроверг его и предложил людям, надеющимся на свои силы, попытаться меня разбудить.

К девяти велел приготовить постель. Не знаю, как это распоряжение подействовало на мою

горничную, не привыкшую к таким выходкам с моей стороны, но, во всяком случае, когда я вернулся домой во втором часу ночи, постель была сделана.

\* \* \*

Несмотря на всю кажущуюся безнадежность этого предприятия, утром меня стали будить. Спротивлялся я недолго, тем более что приемы, пущенные в ход для этого, отличались убедительной примитивностью. Одеяло, стащенное на пол, конечно, не могло сразу прекратить удовольствие сна, но грузно севший на ноги самый тучный из грибников немедленно уничтожил все надежды на дальнейший уют теплой постели; вылитая сверху холодная вода на шею тоже сильно способствовала тому, что через десять минут, хмурый и обиженный, я уже был одет и приготовлен ко всем ужасам грибного спорта.

Грибные места обычно находятся на расстоянии двух часов ходьбы от дачи. Если бы кто-нибудь вздумал выстроить ее около самого грибного места, его непременно уверили бы все знакомые, что грибы немедленно перекочевали куда-то в другой лес, к которому надо идти непременно два часа. Если грибы находятся рядом, то все же к ним идти надо с таким расчетом, чтобы заплутаться среди дач, попасть на железнодорожную станцию, четыре раза завязнуть в болоте и только после этого начать искать их. Почему это так – я не знаю, но существование такого обычая, я думаю, никто из потерпевших оспаривать не станет.

Резкое отличие грибного спорта от собирания ягод сразу сказывается на месте, когда грязные и усталые собиральщики почему-то сразу останавливаются около какого-нибудь корявого дерева и с криком бешеной радости начинают ползать по земле. Ягоду можно просто сорвать и положить в рот. Сделав это достаточное количество раз, сметливый человек отстает от своей компании, находит дорогу к даче и спокойно идет пить кофе и читать утреннюю газету. Если собиратель ягод достаточно состоятельный человек и ему не нужно сейчас же с собранными ягодами бежать на железнодорожную станцию, чтобы продать их какому-нибудь рассеянному пассажиру, он может ограничиться полуфунтом хорошей спелой клубники. Каждый грибник, наоборот, старается набрать такое количество грибов, чтобы вместе с тяжелой корзиной напоминать ту лошадь, которая в конце сезона повезет его дачную утварь в город. Ягоды просто едят; грибы едят немногие неосторожные люди, поэтому их нужно намариновать, нажарить, засушить, истолочь и еще что-то малодоступное некулинарному уму. Весьма возможно, что опытные хозяйки варят из них варенье или готовят сливочный крем. Поэтому каждый грибник старается нанести столько этой дряни, чтобы хозяйка, всплеснув руками, села на пол и заплакала от сознания, что у нее не хватит способов использовать все собранные грибы.

\* \* \*

Совершенно неожиданно, когда я сорвал первый попавшийся мне под ноги гриб и с торжеством показал его своим спутникам, они единогласно и цинично засмеялись.

– Этот нельзя...

– Почему нельзя? Я же его первый нашел...

– Это вредный...

– Что значит вредный? Все грибы вредные. Я не привык рассматривать их как целебное средство от ревматизма или подагры, а если я его все-таки нашел...

- Нашли, так и бросьте... Это поганый...
- В природе нет ничего поганого.
- Ну, а это поганый!..
- Конечно, в пристрастном освещении... Может, вы и меня через десять минут назовете поганым... Впрочем, если я мешаю, я могу, конечно...
- Ну что вы обижаетесь... Вот видите, я сейчас нашел, это – белый гриб, дорогой и вкусный...
- Да, но он подозрительно похож на мой... Шляпка, ножка... Ага, я и другой нашел...
- Покажите-ка...
- Смотрите, пожалуйста... Красота какая – красный и белые точки... Такие, наверное, маринуют.
- Мухомор.
- Что мухомор?
- Гриб ваш.
- Гриб? Это что – очень дорогой сорт?
- Их не едят.
- Что же, их в цемент заливают или ленточкой перевязывают, что ли?
- Выбрасывают просто...
- Знаете что, – сухо и уклончиво заметил я, – если каждый гриб, найденный мной, будет вызывать такие нелестные замечания, то...
- Да вы не каждый собирайте...

Этот выход мне окончательно понравился. Я с удовольствием стал ходить вместе со всеми и, встретив гриб, просто наступал на него ногой: правда, при таком обороте дела в мою корзину попали только какая-то оригинальная еловая шишка и сильно мешавший при ходьбе шнурок от ботинка, но я не рисковал вызвать порицание.

Оказалось все-таки, что этот риск был, потому что через полчаса порицание окружающих вылилось в открытую и шумную форму.

- Это черт знает что такое!.. Вы сейчас два белых гриба раздавили...
- Разве эти жертвы так кричали, – хмуро любопытствовал я, – что привлекли ваше внимание?
- Да вы бросьте шутить... Мы ходим, ищем, ползаем, а вы их ногами давите...
- Если вам не нравится этот способ, – миролюбиво предложил я, – я могу просто садиться на них: результаты будут одинаковы...
- Мы вас больше не будем брать с собой...
- Если бы вы вынесли это решение еще вчера, я был бы значительно больше доволен...

– Тоже... Ходит и мешает...

Так как это было самое точное определение моей работы в то время, я спорить не стал.

\* \* \*

В тот же день на кухне, куда грибники со вздохом облегчения сваливают все набранное в лесу, происходит обычно короткий, но характерный разговор.

– Нанесли, черти... С жиру бесятся...

– Жарить, что ли, надо...

– Жарить... Подашь им на стол, морду воротить будут: сметана гадкая да масло горькое...

– Барыня к ужину велела...

– К ужину и зажарим. В лавке была? Масло купила? А грибы-то купила? Ну и жарь.

– Их и жарить? А эти?

– Ты еще у меня поговоришь – эти... Что купила, те и жарь. Эти, эти... Разговорилась... А как господа дохнуть будут с поганок да с мухоморов, тоже разговаривать будешь?

За ужином счастливые и заспанные грибники с жутко скрываемым чувством отвращения набрасываются на купленные в соседней лавке грибы и с умилением произносят:

– Сами собирали... Четыре часа ходили...

– Ах, какая роскошь... Неужели сами? – стоически-холодно удивляется случайный гость. – Скажите – такие грибы, и сами...

Добрых полчаса еще разговаривают о грибах и кончают только тогда, когда один из самых безнадежно засыпающих грибников тыкает с широкого размаха вилкой в подгорелые котлеты и двигает блюдо к гостю:

– Кушайте... Куште пжалста... Сами собирали...

В эти дни я совсем не выхожу к ужину.

1916

Из сборника «Кесарево-кесареви»

1917

Начало

Началось это совершенно неожиданно. На одном из великосветских раутов Распутин сидел,



окруженный дамами, и конфузливо сопел, поковыривая большим грязным пальцем в куске ананаса.

– В вас есть что-то магическое, – ласково кивнула ему головой одна из окружающих, – вы – мистик.

Предполагая, что дама говорит о прежнем тобольском конокрадстве, Распутин ответил уклончиво:

– Враки все. Митька крал, а я нет. Врет наш урядник.

– Нет, нет, не спорьте, Григорий Ефимович, – запротестовали дамы, – вы сфинкс. Загадочный сфинкс.

– Может, и так, девушки, – осторожно согласился Распутин, – только ежели вы насчет Васькиного мерина, так это напрасно. Кто крал, а кто и не крал. Дело прошлое, вспоминать не стоит.

– Мерин – это звучит красиво, – шепнула одна дама, – что-то непонятно-влекущее. Если у меня родится мальчик, я назову его Мерином. Мерин Сергеевич. Честь нашей фамилии спасена.

Тут же Распутина назвали многогранным, безкрайним и нездешним. Он растерянно оглянулся на дверь и подумал:

«Бабы важные. Может, у всех мужья-то пристава. Сейчас словами донимают, а потом до дела докопаются. Как позовут мужьев-то, прощай тогда Гришка...»

И вслух добавил:

– Идтить надо.

– Нет, нет, не пустим, – заволновались дамы, – ни за что не отпустим...

«Ну вот и готово, – испугался Распутин, – и пымали, как воробья. Эх, кабы выкинуть что-нибудь, чтобы сразу выкинули...»

Он потянулся к хрустальной вазе и стал тянуть за скатерть, но расторопный лакей быстро переставил ее на другой стол.

«Вазу нельзя, – подумал Распутин, – за вазу бить будут. Ходи, Гришка, без ребер».

Но сметливый ум сибиряка подсказал блестящий выход, и, подойдя к дверям, Распутин подозвал к себе хозяйку салона:

– Одевайся, старуха. В баню едем.

Именно с этого момента и началась блестящая карьера Распутина. Уже чудились ему возмущенные крики гостей, уже заранее краснела щека от удара, и с трепетом ждал он минуты, когда, найдя точку опоры в холодных камнях тротуара, он стрелой помчится в свою комнатку...

Но произошло неожиданное.

– В баню? – переспросила хозяйка. – Сию минуту, Григорий Ефимович...

И уже в прихожей услышал он только завистливый шепот из зала.

– Счастливица... Счастливица...

А когда сядились в карету, старый лакей почтительно спросил хозяйку салона:

– Так и прикажете доложить графу?

– Так и скажи: в баню. Очистит грехи, мол, и приедет.

\* \* \*

С этого вечера прошло три месяца, а великосветские дамы оказались столь погрязшими в грехах, что очистка их не прекращалась даже в двенадцатые праздники.

Приходили очищаться целыми семьями и поколениями. Престарелые бабушки вели за руки юных внучек, и популярность Распутина росла.

– Там барыня вас спрашивает, – докладывала Распутину кухарка. – Впустить?

– А чего ей надо?

– У меня, говорит, время от пяти до семи свободно, так я, говорит, очиститься захотела, да поскорее, а то внизу мотор дожидается.

– А какая она из себя?

– Старая, да прыща на ней много.

– Гони, – отбивался усталый Распутин, – сказки, что, мол, безгрешная она. Пусть нагрешит, а потом уж и лезет.

Тогда стали записываться. Не помогло и это. Распутин пожелал исключительной клиентуры и сурово заявил очищаемой им от грехов баронессе:

– Слышь, Пашка, хочу, чтобы в самые верха попасть. Вези куда, то есть, самые высокие.

Так как Распутин грозил забастовать, его повезли.

\* \* \*

Около первого же светского генерала Распутин немного оробел.

– А ты не пальцимейстер будешь? – дипломатически спросил он.

– Выше, – огрызнулся генерал.

– Так, так...

Сначала Распутин хотел отойти, но узнавшие уже путь к доверию никогда не откажутся от этого пути, и Распутин прибег к способу, раз уже сделавшему ему карьеру; он подозвал генерала и решительно сказал ему:

– Пойдем в баню.

Генерал не пошел, но это предложение было настолько неожиданно для светских кругов, что за Распутиным сразу установилась репутация необычайно оригинального человека.

\* \* \*

Через два дня после пребывания в высших сферах Распутину понадобились два рубля на новые портянки. Попробовал попросить у швейцара, но тот, не учтя возможной карьеры просителя, отказал, ссылаясь на семейные издержки.

– Подавишься потом своими двумя рублями, – высказал вслух Распутин внезапно пришедшее желание.

– Да ну? – иронически отозвался швейцар, – голос, что ли, тебе был, что подавлюсь?

– Голос? – переспросил Распутин и вдруг радостно схватил швейцара за руку, – выручил, миляга, выручил...

Не прошло и трех минут, как Распутин стоял перед пухлой дамой и сурово твердил:

– Голос мне был, Аннушка... Поди, мол, вот к тебе и скажи, чтобы дала три рубля.

– Голос? – робко спросила пухлая дама.

– Голос, – подтвердил Распутин.

– Может, больше, Григорий Ефимович? – удивилась скромности внутреннего голоса пухлая дама.

– Это ты верно, – пророчески бросил Распутин, – два голоса было: один говорит – попроси три рубля, а другой говорит – проси все семь с полтиной.

С этого дня мистический голос окончательно завладел Распутиным. Целый день он не давал ему покоя.

– Вы что, Григорий Ефимович?

– Да вот голос сейчас был. Кого, говорит, первого встретишь, тот тебе две бутылки коньяку и сапоги новые пришлет на дом.

– Вам на Гороховую можно послать?

– А хоть и туда, сынок. Дар все равно даром останется, куда его ни пошли.

Странный голос быстро устроил все личные дела Распутина. Не проходило и ночи, чтобы он не потребовал от знакомых Григория Ефимовича чего-нибудь нового, начиная от трехрядной гармошки и кончая тридцатью тысячами на текущий счет...

\* \* \*

Так началась карьера Распутина – о чем писать не позволяли. Как она кончилась – это уже можно прочесть. Я только дал необходимое вступление.

1917

Из сборника «Разговор с соседом»

Как я писал сенсационный роман

I

Это был первый и последний раз. Больше я никогда не буду заниматься этим делом.

– Вы бы могли написать сенсационный роман?

Я посмотрел на этого человека, державшегося на обломках падающей газеты, как пьяный матрос сгоревшего корабля на бочке из-под солонины, и ответил честно, насколько позволяли мне молодость и обстоятельства:

– Решительно не мог бы.

– А вам самому не приходила в голову эта мысль?

– Даже при том исключительно нехорошем образе жизни, какой я веду, я всегда интересовался другим.

– А если бы вы попробовали, – просительно настаивал он.

– Я понимаю, что это не повлияет на мое здоровье, но у меня ничего не выйдет.

Даже таким заявлением нельзя было убить последних таящихся в его душе надежд. Сначала он успешно торговал рыбой и относился ко всему скептически; потом кто-то раскрыл ему способ легко и весело потерять скопленные деньги путем издания в маленьком городке ежедневной газеты, и он стал верить даже в чудо.

Отношения между нами были очень тесные и несложные. Первого и пятнадцатого числа он уверял меня, что я его граблю и роняю его репутацию среди деловых людей. Я убеждал его, что ему принадлежит ответственная в моей жизни роль губителя молодого таланта, длительного выжимания из меня влитых природой соков и человека, успешно толкающего меня к гибельному концу.

После полчасовой беседы мы расходились, довольные друг другом, удовлетворенные от сознания, что все высказано.

– Значит, будете писать?

– Буду. Ответственность падает на вас.

– Газета не лавочка, – мрачно вылился из него афоризм, – покупатели не переведутся.

II

Со вторника я начал сенсационный роман для нашей газеты. Так как я уже сказал, что это было в первый и последний раз, я могу говорить об этом открыто.

С первой же строчки я начал глухую борьбу с издателем, чтобы доказать, что я не умею писать сенсационных романов. Я уже заранее ненавидел своего героя и его разных приятелей, которых должен был выкапывать для развития действия.

– Романчик надо? – злобно потирал я руки. – Напишу, напишу, голубчик... Я тебе напишу...

Национальность героя обрисовалась сразу. Безусловно, это должен быть малаец. Только к этой нации у меня исключительное, полное, хорошо проверенное незнание ее жизни, обычаев и привычек.

Предстояло наворотить на него массу побочных обстоятельств, явно мешавших интересу, какой мог случайно возникнуть к моему ненавистному детищу. Как мне казалось, я сделал это со вкусом.

В первой же главе обстоятельства складывались так: беглый малаец, которого почему-то звали Арчибальдом, хилый, вечно грязный человек, с вытекшим глазом и неожиданным университетским образованием в Дублине, поселился в маленьком русском городке, служит переписчиком на пишущей машинке у нотариуса и крадет по вечерам сахар у сослуживицы.

Для того чтобы кто-нибудь не подумал, что в романе будет женщина, красивые описания природы или приключения, я продуманно вставил, что означенный Арчибальд на женщин производил впечатление маринованного кота, вид осеннего неба на него действовал, как хинин в пирожном, а что касается приключений, то это был трус, боявшийся самого безобидного мальчишки из лавочки.

Никогда еще с такой радостью я не отдавал в типографию ни одной из своих рукописей, как эту.

### III

Результат получился невероятный. Утром раздался телефонный звонок, и в трубку полился знакомый голос издателя, окруженный ореолом неподдельного восторга.

– Как вам не стыдно... – захлебываясь, говорил он.

– Я же говорил, – торжествуя вставил я, – не умею и не умею...

– За это и стыдно... Да вам с семилетнего возраста надо было писать романы... Это же роскошь...

– Где роскошь? – обиженно заворчал я.

– Да роман ваш... Такая выдумка... Другой бы делал героя красавцем, кинул бы ему на тридцатой строчке обаятельную миллионершу, заставил бы его спасти целую семью из реки, а у вас так просто, так есте...

– Послушайте, вы... – оборвал я, чувствуя, что сделал что-то плохо поправимое, – вы это серьезно?..

– А как вы думаете? Бросьте авторскую скромность... Уверяю вас, что если...

Я бросил трубку и сел портить впечатление.

– Тебе урод нравится... Просто начал... Я тебе сейчас покажу...

Вторая глава была написана исключительно блестяще с точки зрения быстрого прекращения любого сенсационного романа и искреннего признания моей неспособности в этой области творчества.

Я переделал своего малайца в аннамита, дал ему столько курчавых волос, сколько хватило бы на целое племя, выставил его счастливым мужем двух красавиц, дочерей банкиров... Я оправдал его вытекший глаз, уверив, что он видел им, как заяц. С самого момента выхода его из конторы он начал совершать невообразимые подвиги; прыгал с крыши на крышу из-за потерянного котенка, обеспечил на всю жизнь двух нищих, походя усыновил кухаркиного сына и даже уступил на ночь свою кровать какому-то прокаженному, которого он выискал где-то на окраине города.

Если бы я прочел где-нибудь такое продолжение первой главы, несмотря на свой спокойный характер, я все же непременно искал бы встречи с автором, нашел бы его и долго таскал бы его по полу на глазах у всех очевидцев этой возмутительной сцены.

#### IV

На этот раз человек, принесший мне печальную новость, был очень далек от нашей газеты.

– Очень хороший роман, – сказал он, пожимая мне руку, – а главное, очень жизненно... С виду маленький и глаз вытек, а на самом деле и красавец, и самоотверженный, и...

– Ничего подобного... – сурово оттолкнул я эти нарождающиеся симпатии, – и этот человек мерзавец.

– Я сразу заметил, что это отрицательный тип. И вы очень хорошо придумали – сделать героя именно таким...

Потом подошел другой. Ему очень понравилось, что в романе иностранец, мало женщин и нет описания природы. Третьему понравилось, что мой Арчибальд, которому я вообще постарался с первого же момента придать все ненавистное мне, чавкает во время еды, читает чужие письма и подслушивает разговоры.

– В этом есть что-то жизненное. Ваш герой близок к быту. Мне очень понравилось. Я даже подписался сегодня на три месяца.

В этот день с дрожащей от негодования душой я снова сел за роман, напрягая все усилия, чтобы положить предел всякого к нему читательского внимания. Я сразу же выкинул героя, отправив его по какому-то воровскому делу в Харьков. Его место в конторе нотариуса занял приказчик, выгнанный за пьянство из москательной лавочки. С редким упорством на протяжении четырехсот строк я описывал внешний вид дома, где помещалась контора; остановился на подробном описании пишущей машинки; сосчитал, сколько листов чистой бумаги лежало на каждом столике. Все это было так скучно и длинно, что я считал себя уже обеспеченным от продолжения романа.

Тогда несчастье надвинулось в окончательной форме.

– Вы знаете, что сейчас делается с газетой? – искоса поглядывая на меня, спросил издатель.

– Неужели тираж падает? – с тайной надеждой осведомился я.

– Падает... – самодовольно усмехнулось это животное. – Растет как никогда. Интерес к роману изумительный. Пишите

, пишите, голубчик!.. Что ни глава, то неожиданность.

Я понял, что работа, взваленная мне на плечи, начинает пригибать меня к земле,

V

И вот потекли дни длительных, едких мучений. Просыпаясь по утрам, я должен был выискивать новые приключения для моего малайца, тыкать этого человека в самые невероятные условия, следить за его друзьями и выискивать ему новые встречи и знакомства.

На четвертую неделю я ненавидел его до глубины души острой, жгучей ненавистью. Создавалось положение, что меня назначили опекуном какого-то шумного, крикливого идиота, которым я должен был руководить в течение четырех месяцев; этот негодяй навел ко мне других людей, завел себе женщин, дождался преследования полиции, стал скрываться по каким-то притонам, и все это я должен был помнить до мельчайшей детали.

Жизнь потеряла для меня интерес. Я уже не мог спокойно посидеть с добрым знакомым за бутылкой вина, если во вчерашнем номере газеты мой малаец оказался висящим между двумя крышами, причем сверху стояла полиция, а внизу дожидалась, когда он неблагоприятно упадет вниз, обманутая женщина с большим пистолетом в руках...

И если я шел в театр, то только для того, чтобы закрыть во время какого-нибудь действия глаза и тягостно придумывать, из какого окна должен выставиться матрац для чудесного спасения моего жулика, повисшего в воздухе.

Маленькие женщины в гимназических платьях, кроткие и наивные, с которыми было так приятно проводить вечера в клубном саду, единственном месте с электрическим освещением в этом городе, испуганной волной отхлынули от меня.

Одна из них открыто формулировала это событие.

– Вы, романисты, так знаете женщин, так знаете... С вами как-то даже жутко разговаривать...

– Я же не романист, Наденька, – уныло оправдывался я.

– Ну да, не романист... Папа вчера говорил, что ваш роман может играть даже роль в истории русской литературы...

– Какую роль, Наденька? – еще унылее откликнулся я.

– Как отражение века...

В этом городе было двадцать семь тысяч жителей, два кинематографа, приезжая труппа и одиннадцать извозчиков. Она была ни в чем не виновата.

А в одну из суббот пришла даже какая-то делегация из четырех человек от местного

благотворительного общества.

– Мы к вам, как к автору романа «Разбойник Арчибальд, или Губитель силы»... Не можете ли...

Я выгнал делегацию. Достал вина и целый вечер плакал пьяными слезами о моих гибнущих литературных способностях...

## VI

Наконец я решился вырваться из-под власти этого бездушного человека, навязавшего мне сенсационный роман.

– Послушайте, вы, – сказал я ему первого числа, – я хочу это прекратить.

Понимая, о чем идет речь, он спрятал деньги, которые только что собирался мне дать, и злобно посмотрел на меня.

– Попробуйте...

– И попробую. Сегодня же ночью я зарежу своего малайца.

– Я выкину вас из газеты. Можете поступать кондуктором.

– Это лучше. Дайте мне мои деньги.

– Зайдите завтра.

В этот вечер у меня не было папирос и ужина, но была молодая энергия и дикая воля к свободе. Я собрал все это воедино и начал безумствовать. На протяжении одной главы я успел кинуть на рельсы под курьерский поезд мою героиню, утопил во время увеселительной прогулки ее родных, радостно отдал всю тайну моих фальшивомонетчиков в руки правосудия и закончил кратким извещением, что первые лучи весеннего солнышка пробежали по трупу Арчибальда с перерезанным горлом. У меня было такое чувство, как будто я зарезал самого издателя.

Утром, когда номер вышел, издатель позвонил ко мне.

– Зарезали?

– Уже.

– Ну, что же, прощайте!

– До свидания!

– Я лично говорю: прощайте.

– Почему же прощайте... Я могу вам снова писать фельетоны, передовые статьи, стихи.

– А по экономическим вопросам тоже можете?

– Могу.

– И этого не надо. Можете убираться из моей газеты, куда вам...



Это было тоже неожиданно.

– Где же я буду жить... – поделился я с ним невеселыми соображениями, – мне завтра платить за квартиру, у меня сегодня...

– Вот, вот, – злобно подхихикнул он, – десять людей перерезать – это ничего, а без квартирки прожить – это вы не умеете. Любите кататься, любите и...

– Что же теперь делать? – мрачно спросил я.

– Верните к жизни вашего идиота!

– Я ему перерезал горло.

– Это не так страшно.

– Не знаю. Не испытывал.

– Дайте ему три дня отлежаться, а потом напишите, что здоровый организм этого человека перенес все...

– Я же вырезал, вытопил и выдавил всех...

– Людей много, – утешающе добавил он, – найдете новых. Ну, как, значит – работаем?

– Работаем, – с отчаянием вырвалось у меня, – работаем...

## VII

В романе человеку походить три дня с перерезанным горлом ничего не стоит. Малаец ожил.

Я решил идти окольными путями. Я набрал ему новую шайку, одаряя каждого из ее членов внешностью, привычками и полным портретным сходством с кем-либо из популярных граждан города, где выходила наша газета. Городской голова у меня назывался Хиком, крал угли в порту и поджигал амбары. Единственного адвоката, красу и гордость города, я сделал нищим, калечащим детей. И даже одна благотворительница, милая и добродушная женщина, начала фигурировать у меня в качестве судомойки.

Пришлось прекратить несколько знакомств и перестать появляться в клубе. Издатель, почувствовав, что это предстоит и ему, ходил около двух дней хмурый, но, придя в контору, начинал умиленно вздыхать и подсчитывать увеличивающийся тираж.

– Вам скоро никто не будет подавать руки, – радостно предупредил я его.

– Не чужими руками сыт человек бывает, – наскоро придумал он небольшое философское обоснование, – проживем и без них.

– Они вам напакостят.

– Не боюсь. Не министров задеваете. Полицмейстер сам читает и каждый день звонит: а что, мол, дальше будет?.. Вы уж только его не попробуйте.

Это была прекрасная мысль. Под видом красочного описания прежней жизни одного из пропойц, всаженного в роман, я написал решительно все, что я только знал плохого о

полицмейстере.

Полицмейстер был очень ленивый, малоподвижный человек. На этот раз я сумел всколыхнуть в нем прежнюю энергию и подвижность: номер был конфискован. На другое утро каждый из газетчиков взял вдвое больше экземпляров.

– Так нас и закрыть могут, – весело похлопал я по плечу издателя.

– Вы думаете? – с деланным смехом спросил он. – Я другого мнения. Ни за что не закроют. Мне полицмейстер прямо так и сказал: вышлю автора, а уж там как хотите...

– И вышлет, по-вашему?

– Непременно... – успокоил он. – Ужасно упрямый человек: раз уж что задумал – обязательно до конца доведет...

Все почтенные люди в следующей же главе были отданы мной в арестантские роты: пропойца с привычками полицмейстера перестал пить, открыл школу и стал держать экзамен за университет.

## VIII

Так продолжалось четыре с лишком месяца, когда наконец роман стал всем надоедать и по утрам газетчики, прежде чем брать газету, осторожно осведомлялись, есть ли в ней роман. Если он оказывался, в этот день большинство из них предпочитало лучше работать на постройках новой дороги, чем торговать печатными произведениями.

– Пора прекратить, – наконец вырвалось у издателя, – будет.

– Ничего подобного. Как же я оставлю на произвол судьбы человека, который уже подпилит решетку и собирается убежать из тюрьмы?

– Повесьте его.

– А потом вы меня заставите, чтобы он восемь дней ходил с веревкой на шее...

– Возьмите лишних сто рублей и прекратите.

Это было мое первое убийство ни в чем не повинного человека за деньги. Я повесил.

Вскоре я уехал из этого города. Прошло уже много лет после этого. Роман еще сохранился у меня как память о тяжелом испытании, перенесенном мной в молодости... И когда теперь меня приглашают работать в какой-нибудь газете, я смотрю приглашающему в глаза долгим пытливым Взглядом и робким голосом осведомляюсь, не будет ли в газете сенсационного романа.

И только получив честное слово, что об этом никто и на думает, вздыхаю радостно и облегченно...

1918

Спокойствие

## I

Этого она мне простить не могла.

– Все, что угодно... Можете ругаться, делать гадости, но быть таким тихим кирпичом, таким тупым тюленем... Нет, с вами нужны железные нервы.

– Из какого же материала, недорогого и прочного, должны быть сделаны ваши нервы, если я, действительно, стал бы ругаться с вами по поводу каждой вашей глупости, походя делая самые неожиданные гадости и вести себя как крыса в ведре?

– Все, что угодно, но только не это спокойствие... Вы им быка можете убить...

– Странное оружие для убоя домашнего скота. Что же, собственно, вы от меня хотите?

– Я хочу, чтобы вы были человеком. Вы даже никогда не возвышаете голоса.

– Правда, я делаю это, только когда нужно позвать извозчика.

– У вас никогда не бывает даже минутного порыва... Вы никогда не сможете заечь словами... Вы тряпка, мякина...

Таким разговором редко начинается скрепление большого, хорошо продуманного чувства. Так было и в этом случае. Вскоре мы разошлись после года мелких неприятностей, неожиданных разговоров с незнакомыми людьми и предугаданных звонков по телефону с изложением причин неявки к назначенному месту, одним словом, после того, что для краткости и для привлечения сочувствия называется любовью.

И теперь, когда я временами тепло вспоминаю о Надежде Алексеевне, мне кажется странным ее искренняя ненависть к основной черте моего характера: спокойствию...

## II

Началось это с первого же момента, когда я, встретившись с Надеждой Алексеевной третий раз, сказал, что я хочу встретиться и четвертый, только, если можно, где-нибудь вдвоем.

– Как вдвоем? – изумленно подняла она красивые синие глаза.

– Это значит, чтобы не было никого другого...

– Это значит... свидание? – растерянно сказала она.

– Можете назвать это журфиксом, благотворительным концертом или еще чем-нибудь. Мне все равно.

– Я вас не понимаю.

– Могу повторить, я сейчас не занят. Я хотел бы встретиться с вами вдвоем. Если можно – в

четверг. Часа в два.

Очевидно, это было очень непонятно, потому что она, не спуская с меня изумленного взгляда, неопределенно спросила:

– А где?

– Можно на набережной. Придете?

По-видимому, простота постановки всего вопроса немного обидела Надежду Алексеевну.

– Дело не в этом. Прийти я могу, но... Почему вы именно сейчас говорите мне об этом?

– Может быть, я оторвал вас от дела?

– Я так же, как и вы, в гостях, и никакого дела ни у кого нет. Я говорю, почему вы мне не сказали этого, ну, вчера, третьего дня...

– Я вас видел неделю тому назад.

– Почему же вы тогда мне ничего не сказали?

Я подумал и спросил:

– А вас не удивляет, почему я не говорил об этом четыре месяца тому назад, когда мы с вами ничего не слышали друг о друге?

– Я о вас и тогда слышала... Только я думала, что вы высокий и худой.

– Ну, вот видите. Если бы я, на основании этих кратких сведений обо мне, подошел бы к вам и попросил о встрече...

– Странно... Вы так спокойно об этом говорите, как будто бы ни в коем случае не можете получить отказа...

– Да почему же отказывать. Ведь я у вас не особняк прошу, или...

– Все равно. Я могла отказать, и вам было бы очень неловко.

– Это не послужило бы поводом для моего неожиданного самоубийства.

– Я бы могла рассказать это всем, и все стали бы над вами смеяться.

– Это могло бы стать темой для дружного и общего смеха или во время вечернего чая в колонии малолетних преступников, или на семейном празднике у вас на кухне...

– Прямо удивляюсь, как вы все спокойно говорите... Очень удивляюсь.

Это было в понедельник. Два дня Надежда Алексеевна удивлялась у себя дома или в других местах, о которых я не знал, а в четверг, в два часа, она пришла удивляться вместе со мной, на набережную.

III

Мне очень нравилось ее полудетское лицо и слегка дрожащий альтовый голосок, когда она

была чем-нибудь озабочена. За три недели почти ежедневных встреч я успел привязаться к Надежде Алексеевне и решил поделиться с ней этим заключением. Я не знал, что это выйдет так остро и больно.

Один раз, кажется, это было часов в пять, зимой, на большой и шумной улице, когда Надежда Алексеевна стала рассказывать мне о какой-то необходимой покупке, какую она забыла сделать, я рассеянно прослушал все ее фразы и сказал:

– Вы мне очень нравитесь... Честное слово.

Она остановилась, схватила меня за рукав и посмотрела недоумевающе в глаза.

– Как вы сказали?

– А что? – удивился и я. – Может быть, я что-нибудь того... Непутное ляпнул...

– Вы сказали, – покраснев, пробормотала она, – вы сказали, что... Нет, даже странно как-то...

– Ну да... сказал. Так и сказал, что люблю. Может быть, выразиться по-другому...

Она сразу замолчала, а через минуту у нее вырвалось с искренним негодованием:

– Да разве об этом так говорят...

– Как так?

– Да вот так... На улице, во время разговора о канве...

– Что же, мне понятых было звать, дворников и милиционера, или в контору нотариуса вас затащить...

– О таких вещах так спокойно не говорят, – обиженно кинула она.

– Неужели же я должен был лечь на тротуар, бить ногами по камням и кричать безнадежным хриплым голосом...

– Не понимаю...

– Видите ли, – ласково сказал я, беря ее за руку, – если бы судьба нас столкнула где-нибудь в южноамериканской колонии и я был бы каким-нибудь неграмотным экспансивным дикарем, конечно, дело обстояло бы иначе. Я схватил бы большую рыбью кость, стал бы махать ей в воздухе, испугал бы свою старую матушку и незнакомых колонистов, но здесь...

– Нет, – решительно перебила она, – вы не мужчина... Вы рыба какая-то...

Если это называется рыбой, она была права. Но что же тогда должен представлять из себя мужчина в таком понимании? В детстве я видел, как мальчишки посадили ежа в клетку канарейки; еж тыкался во все стороны, царапал проволоку, а через два дня издох. Должно быть, по всем поступкам он должен напоминать мужчину, тип которого нравится женщинам. Я против этого.

Месяца через два Надежда Алексеевна показала мне письмо от какого-то совершенно незнакомого молодого человека, фамилия которого была не то Непегин, не то Иванов, а может быть, Кранц.

Неизвестный молодой человек хорошим каллиграфическим почерком жаловался на протяжении восьми убористо исписанных страниц почтовой бумаги большого формата, что он безнадежно тоскует о Надежде Алексеевне, любит ее и даже умирает от сознания ее холодного к нему отношения. По-видимому, это была медленная и неверная смерть, потому что письмо шло целую неделю, а молодой человек в конце приписал, что мучительно ждет ответа. Поэтому больших волнений с моей стороны это письмо не вызвало.

– Он меня очень любит, – искоса на меня поглядывая, сказала Надежда Алексеевна.

– Кранц?

– Кранц. Это мой бывший жених. Он студент-электротехник.

– Кончит – инженером будет. Очень хорошие деньги зарабатывают.

– Вас, кажется, это мало трогает? – сухо спросила она.

– Что, собственно?

– Да вот хоть это... Пишет письмо... Пишет, что любит...

– А что же делать молодому человеку, как не любить и писать по этому поводу большие письма. Я сам студентом был. Знаю.

– А если бы я ему ответила письмом...

– А разве вы не хотели отвечать? Это невежливо...

– Ах, вот как...

Она встала с кресла и забегала по комнате.

Я сидел и думал: «Милая девушка, которая мне очень нравится, получила письмо от какого-то тихого бездельника и сейчас же прибежала мне об этом сообщить. Если бы она хотела скрыть, я бы мог ревновать. Что же мне было делать сейчас?» Я встал, подошел к ней и поцеловал ее около уха. Это было самое, может быть, нелогичное завершение события, но утопающий хватается за соломинку. К сожалению, соломинка оказалась настолько тяжелой, что быстро потащила меня ко дну.

– Оставьте, – резко остановила меня Надежда Алексеевна, – раз вам все равно... Значит, и я могу написать такое же письмо... Тридцать писем... Сто писем...

Я уже говорил, что, когда она волновалась или была озабочена, она становилась удивительно милой.

– Надежда Алексеевна, – робко сказал я, – я могу обеспечить вашу горничную лишними десятью рублями в месяц, перехватывать ваши письма, перечитывать их, заучивать наизусть, переписывать в прошнурованную книгу... Неужели же этим я смогу...

У ней на глазах были слезы.

– Вы камень какой-то... Камень... Вас не продолбишь...

И, желая резче подчеркнуть обоснованность своего убеждения, схватила боа и ушла.

Этот вечер она просидела дома, ссорилась с сестрой и плакала. Я провел его дома, бесцельно скучая и хмуро относясь к себе. Впрочем, заснул я в сознании полной своей невинности.

V

Если у совершенно посторонней женщины заплаканы глаза, значит, она или перенесла какое-то горе и будет сейчас очень мягка, или на кого-нибудь сердится и с вами будет очень любезна. Заплаканные глаза женщины близкой – урчанье большого английского дога, внезапно встретившего вас в кабинете своего хозяина, где вы сидите одни и дожидаетесь.

– Почему это вы такая, Надежда Алексеевна?

Она укусила губу и нервно затеребила оборку юбки.

– Вы, кажется, в театре вчера были? – И она испытующе посмотрела мне в глаза.

– Как же, как же... Удивительно милая опера. На что я не понимаю в музыке, а и то...

– Вы, кажется, не один вчера были?

– Я-то? Нет. Третьего дня моя землячка приехала и просила пойти вместе...

– А вы, конечно, не могли отказаться?

– Отказаться я мог... Неустойки никакой я платить бы, конечно, из-за этого не стал, но я не понимаю...

– Ах, вы не понимаете... Ну конечно, конечно... А я должна была провести вечер одна...

– Вы же сами сказали, что едете в гости... Были?

– Ну, была. Что же из этого?

– Совершенно ничего. Вы были в гостях, а я был со своей старой знакомой в театре...

– Как же вы можете об этом так спокойно разговаривать? – зло спросила она.

– Ведь я же не на взлом несгораемого шкафа ходил... Почему же я должен об этом говорить с горечью раскаяния... Я вас люблю... Знакомая моя – женщина приличная, муж ее мой бывш...

– Ах, она к тому же еще дама...

– Шесть лет дама...

– Ну, что ж. Нам остается только в последний раз поговорить друг с другом...

– И это будет после каждого моего посещения театра? Хорошо еще, что у меня абонемента нет.

Она круто отвернулась и подошла к окну.

– Вы еще, кажется, шутите?

Я робко замолчал. Кажется, при таком обороте разговора я должен был бы резко встать с места, забежать из угла в угол, хватать себя за голову и громко осуждать свое поведение шумными и пронзительными вскрикиваниями:

– Что я сделал! Что я сделал!

Я не мог прибегнуть к этому. Поэтому в течение двух часов мы сидели почти молча. Изредка Надежда Алексеевна роняла несколько замечаний по адресу моей вчерашней спутницы, из которых я вывел заключение, что эта спутница приехала сюда исключительно с целью завлечь меня в глухие сети, изменить со мной тупому мужу и остаться здесь для продолжительного и непрерываемого занятия нехорошими делами. В число последних входили ее разгаданные намерения приходить ко мне и даже снять общую квартиру. Все мои уверения, что это очень достойная женщина, мать прекрасного трехлетнего мальчугана с большими черными глазами, разбивались о суровый и неумолимый тон.

– И вас это ни капельки не волнует? – очевидно готовясь к уходу, внезапно спросила Надежда Алексеевна. – Вы, кажется, очень что-то спокойны...

– Нет, – из вежливости отвечал я, – я волнуюсь. Очень волнуюсь...

Она с молчаливым презрением посмотрела на меня и пожала плечами...

Даже очень близкие люди не всегда прощаются. Резкий стук дверьми и недвусмысленное выражение лица человека, остающегося сразу одиноким в комнате, где сейчас было двое, иногда заменяет теплое рукопожатие или прощальный поцелуй.

## VI

Надоедают даже карты. Я видел спортсменов, которые в конце концов перестают появляться на свежем воздухе и начинают показываться только на званых четвергах, да и то приезжая туда на извозчиках. Любимые женщины перестают быть любимыми значительно быстрее. Немного позже они перестают в наших глазах казаться даже женщинами, изредка напоминая только о чем-то, как порыжевшая карточка с проткнутыми глазами.

Через два дня, как меня познакомили с Ангарской, я сразу исправил годовую ошибку и понял, что у Надежды Алексеевны некрасивый нос и толстые губы. Тут же я вспомнил, что она не читала Достоевского и пишет в неподходящих местах не те буквы.

Кто-то помог найти соответствующие недостатки во мне и Надежде Алексеевне. Оказалось, что это был тот же Кранц, когда-то пытавшийся умереть и теперь приехавший искать места, к моему удивлению, не на кладбище, а на одном из больших, хорошо оборудованных заводов. По-видимому, я оставлял любимое когда-то существо в хороших и надежных руках. В последний раз, после долгого отсутствия встреч, мы встретились на улице. Я проводил ее до дома.

– Почему вы не ответили на мое письмо? – тихо спросила Надежда Алексеевна.

– Это... где вы писали, что между нами все...

– Да. На это.

– Что же я мог ответить? Послать расписку в получении и закончить: в ожидании ваших дальнейших заказов с почтением такой-то...



– У вас даже и сейчас не находится слезы в голосе или вздоха...

– Надежда Алексеевна... Ведь мы уже не любим друг друга... Ну, хотите, из почтения к прошлому я могу сесть Вот тут на крыльцо и начать громко плакать, пока меня не уберет один из младших дворников.

– И это все?

– Все.

Кажется, я был неправ. Спокойствие – не признак мужчины. Он должен быть экспансивным, порывистым и полным красивых жестов. В следующий раз, если я встречу женщину, которая мне понравится, я скажу ей об этом в таких сильных и страстных выражениях, что случайно подвернувшийся лишний человек тихо побледнеет и робко прижмется к стене. Я буду топтать ее письма каблуками или рвать их зубами, как резвая комнатная собачка, разбрасывая клочки по паркету... А расходясь, я буду долго ходить по безлюдным улицам, пугая одиноких прохожих мучительной гримасой боли и отчаяния на изможденном страданиями лице...

1918

## Канва для биографа

Около тридцати лет я дожидаюсь, что кто-нибудь напишет мою биографию. Срок, по-моему, достаточный, чтобы описать жизнь одного человека. Тем более что умелые люди ухитрялись в какие-нибудь два-три года описать жизнь и историю целых народов.

И тем не менее в печати нет даже краткой моей биографии, не говоря уже о более полной, снабженной всем тем, что для нее полагается: поясными портретами ближайших родственников, снимками с дома, где я родился, где умер, и одинокой забытой могилой с небольшой группой оживленных почитателей.

Разве моя вина, что я не изобрел электрической лампочки, не выдумал особого парового штопора или первый не попытался приновить обыкновенные кузнечные мехи к письменному прибору? Во всех этих случаях обо мне бы уже давно заговорили в журнальной смеси, и мои портреты сделались бы достоянием широких масс читателей. Умереть без биографии страшно. Правда, с готовой биографией это тоже невесело, но есть какое-то утешение, как у человека, который, забыв чемодан в гостинице, в поезде уже вспоминает, что он также забыл заплатить и за шесть недель полного пансиона.

Я сам берусь за эту задачу. Это не автобиография, потому что автор не хочет выставить себя в таком выгодном освещении, что злейшие враги его впадают в ничтожество и горько плачут о своем несправедливом отношении к нему. Это простая объективная биография, где если автор и ведет рассказ от первого лица, то только потому, что говорить о себе в третьем лице слишком скучно и обидно. Для третьего лица есть чужие люди, которых не жалко.

Я родился в небогатом семействе. Это была коренная ошибка, которую я не мог простить себе целую жизнь. Мои современники и сверстники, родившиеся в зажиточных семьях, с хорошим недвижимым имуществом, впоследствии чувствовали себя значительно лучше. Но как можно требовать хорошей коммерческой сметки от существа, которое на третий день своего появления орало и плакало от всякой причины, а на седьмой день безудержно радовалось оттого, что кто-то тыкал ему большим корявым пальцем в маленький

сморщенный нос.

До четырех лет я решительно ничего о себе не помню. С чувством глухой обиды я узнал после, что это было самое заурядное прозябание, ничем не выдвинувшее меня из толпы льстецов, таскавших меня на руках, сажавших на шею и удивлявшихся тому, что в один прекрасный день я стал ходить.

Чуждый общественности, инертный ко всему тому, что тогда волновало лучших представителей литературы, науки и искусства, я целыми днями шлялся по комнатам, счастливый, если мне удавалось разбить какую-нибудь чашку, Вымазать пальцы в варенье или обратить на себя внимание домашней собаки.

Это время, когда возраст обрек меня суровой бездеятельностью, я считаю темным пятном на своей жизни. Ни одного хорошего знакомства, ни одной ценной встречи.

Близкие люди отмечают только один случай известного проявления индивидуальности, когда я погнался с палкой в руках за курицей, упал и повредил себе ногу, – но это никакого отношения к избранной мной впоследствии карьере не имело.

Курицу съели, меня перестали отпускать без няньки, и самый факт запечатлелся только в памяти очень близких людей.

Кстати о нянях. Я очень много читал и слышал об этих трудолюбивых женщинах, которые удачным подбором незамысловатых рассказов и сказок будили в детях тяготение к литературе, страсть к самостоятельному творчеству и вообще умело подготавливали из простого незатейливого ребенка автора полного собрания сочинений в будущем. У меня не было таких нянек.

Лучше всех я запомнил из них одну, довольно нестарую женщину, которая, укачивая меня, пела настолько нескромные песни, что ее быстро перевели в кухарки, а после вскоре выгнали за кражу белья.

Другая нянька, действительно, много рассказывала, Но это были рассказы или о наших ближайших соседях, причем каждый из них вырисовывался в настолько мрачных красках, что я до семилетнего возраста находился со всякими соседями принципиально в состоянии затяжной войны: бросал через забор камнями, показывал язык почтенным дамам и кричал неодобрительные отзывы об их детях,

Единственная сказка, какую она знала, была страшно утомительна. Она рассказывала ее всегда именно в тот момент, когда и я и она засыпали, так что отданный самому себе язык называл волка Гришкой, поселял лису на нашей кухне и в разговор между двумя зайцами вкладывал собственное нянькино неудовольствие незначительным размером ее жалованья.

Пред няньками моя литературная душа чиста: своего вклада туда они не внесли.

До шести лет я переменял совместно со своей семьей довольно много городов. Об этом у меня было крайне туманное представление. Моим компасом в то время служила большая черная собака, по которой я определял свое местоположение. Об одном городе я знал только одно отличительное качество, что когда мы жили в нем – на дворе была будка с этой собакой. В другом ее не было, и она только прибежала к вечеру поесть. В третьем я ее не видел совсем.

Два года спустя я узнал, что эта собака наша, и мы ее перевозили вместе с багажом из города в город. Тогда я запутался окончательно.

Моя наружность в то время... Я не знаю, что можно рассказать особенного о маленьком

толстом мальчике с красными щеками и густыми рыжими волосами, которые впоследствии меняли свой цвет с преступной легкомысленностью, дойдя до того наконец, что мудрая природа совсем отняла волосы, отдав их в чьи-то более надежные руки.

К шести годам индивидуальные черты стали проявляться в неожиданно резких формах: я стал учиться читать и много есть.

Первое сильно поощрялось, второе вызывало некоторое опасение.

Помню, что оно вылилось даже в открытое признание со стороны матери, которая однажды, погладив меня по голове, задумчиво сказала:

– Этот мальчик ест, как лошадь.

На меня это подействовало ободряюще, потому что в то время каждая лошадь вызывала во мне искреннее уважение и нескрываемое восхищение, и, если во время какой-нибудь игры мне удавалось удачно заржать, я бежал к старшей сестре, отрывал ее от книг и с заметной гордостью делился своими впечатлениями:

– А я ржать как умею... Как настоящий.

Большей частью я оставался непонятым. У других это не вызывало прилива большого восторга.

К этому же времени надо отнести мое первое знакомство с товарообменом и приблизительной стоимостью денег.

Однажды, удачно выменяв подаренный каким-то гостем полтинник на большое яблоко, я быстро пристрастился к этому занятию и удачно завел торговые постоянные сношения со всеми дворовыми мальчиками. Впрочем, одну из самых крупных своих торговых операций, когда я выменял гимназическую фуражку брата на два больших гвоздя, я считаю неудачной.

Думаю, что это название не преувеличено; брат загнал меня возможно дальше от родительских глаз в уголок какого-то сарая и долго бил, не жалея ни энергии, ни времени, точно дело шло не о простой засаленной фуражке, а о целом гардеробе оперной певицы.

Я был беспомощен. Брату это понравилось, и с этого дня он стал бить меня довольно часто, не всегда затрудняясь подыскивать подходящие причины.

Это отчасти – а не какие-нибудь няньки – и дало толчок моей творческой фантазии. Так как он бил меня в глухих местах, где мои крики ничем существенно помочь не могли, плакать я прибегал на более близкое расстояние к дому. Еще не понимая, что всякое событие должно иметь свою причину, я стал пользоваться плачем, так сказать, в виде аванса, еще в предчувствии избиения. Выбирал место под окном материнской спальни, во время ее сна, и начинал реветь.

Обласканный, я с каиновским хладнокровием сплетал на брата массу жестоких небылиц, в результате которых он ходил жестоко наказанный, а я бегал около него и дразнил. Желая найти выход негодующему чувству, он находил сестру и бил ее. Она была значительно старше меня, но факт одинаковой зависимости от брата сближал нас, и я даже чувствовал известное превосходство, как уже привыкший к этому делу человек.

Читал я к восьми годам уже много. Подбор книг особый. Сказки я презирал: в это время меня уже трудно было убедить в том, что зайцы разговаривают о погоде. Я еженедельно видел одного из них на кухне в ободранном виде и знал, что едят только переднюю часть, а из задней варят суп собакам. Меня влекла другая литература. Я охотно читал книги, которые удавалось скрасть из книжного шкафа. И чем непонятнее была книга (назову любимых

авторов: Мопассан, Шопенгауэр, Белинский), тем она более выростала на моих глазах.

Это осталось и до сих пор. Даже теперь я с глубоким чувством уважения смотрю на историю живописи, мемуары, Истории болезней, исследования различных областей чистой Математики, охотно переплетаю их и дарю на именины чем-либо неприятным для меня людям.

К восьми же годам я почувствовал острую нужду в деньгах. Без них для меня ближайший магазин, где продавались такие вкусные вещи, оставался неприступной ценностью. Шмыгание около его дверей, легкое хныкание и жалкие слова ни к чему существенному не приводили, а самый факт, что где-то рядом лежат лимонные леденцы или сухие абрикосы, абсолютно недосыгаемые, мог кого угодно привести в бешенство. Денег, попадавшихся в руки, хватало в обрез: две копейки в неделю. Тогда появились первые заработки. Теперь бы я счел это большим унижением, но тогда я смотрел на дело значительно легче.

Я протискивался в комнату сестры, когда она решала какую-нибудь трудную арифметическую задачу, садился на пол и начинал вести себя настолько шумно, что эта кроткая девочка выходила из себя:

– Убирайся, ты мне мешаешь...

– А я не уйду!

– А я скажу маме, что ты мешаешь...

– А я скажу, что ты меня избил и выгнала из комнаты. В ее больших черных глазах вспыхивала тень болезненного негодования, и она горестно замолкала.

Именно в этот момент я и мог выступить с определенным предложением:

– Дай две копейки, тогда уйду.

Она рылась в карманах, перевертывала книги и находила монету. В этот день я считал себя самостоятельным взрослым человеком, умеющим своими силами зашибить копейку.

Я брал приблизительно такую же сумму в виде отступного с брата с обязательством не увязываться за ним, когда он пойдет гулять, с матери – за гарантию не вертеться около таза с кипящим вареньем и даже с милого старика соседа – за полный отказ от привлекательной возможности бросать камнями в его пчелиные ульи.

В то время у меня не было постоянной работы, я был молод и ко всем своим поступкам относился с благодушным одобрением. Две копейки... Разве может кто-нибудь из вас, отравленных сегодняшним днем, понять, какая это большая ободряющая сумма?.. Можно выиграть имение, можно растратить тысячи на пустяки, можно проесть сто рублей, но ничто не вызовет такого радостного волнения и сладко-мучительных колебаний в душе, когда в руках восьмилетнего, полного веры в жизнь и ее радости, молодого человека окажутся две копейки.

Сколько планов и предположений, когда в летний полдень ходишь по двору с двумя копейками, плотно зажатыми в кулаке, и обдумываешь, сразу ли кинуть всю сумму на приобретения различных благ или оставить копейку на черный день, каковым может оказаться и завтрашний. Тем более что во время моего детства на одну копейку давали три больших карамели или целый карман подсолнухов, не говоря уже о том, что на две копейки можно было купить полфунта яблок. Если к этому прибавить, что приказчики в провинции были радостны и разговорчивы и совсем не обращали внимания на мешки с черносливом, который удобно и незаметно прятался за пазухой, – волнение человека с двумя копейками

было вполне понятно...

Между семью и восемью годами я не сильно обременял квартиру своим присутствием, являясь большей частью только к обеду, да и то так облепленный грязью от ногтей до вискоз, что до мытья становился неузнаваемым даже для близких.

В большом городе мальчику из хорошей семьи нужно потратить очень много времени для того, чтобы придумать такое место, где бы он мог вымазаться. Даже теперь, когда я встречаю этих чистеньких мальчиков, у меня в душе просыпается жалость. Хочется поймать его и окунуть в лужу. Родители, конечно, нашли бы мое поведение странным и высказались бы против, но мальчик сразу почувствовал бы, что корабли сожжены, и сразу оживился бы. Играл бы он тогда значительно веселее. Провинция это понимает.

Прежде всего утром каждому из малолетних жильцов нашей улицы вменялось старым обычаем в обязанность сбегать в соседний овраг и посмотреть, что там делается. Во-первых, без нашего ведома туда кто-нибудь мог сброситьдохлую кошку, и ее надо было осмотреть, во-вторых, среди нас была крепкая уверенность, что там водятся черти, и днем было совершенно безопасно осматривать те норы, где они прячутся... Не только активный участник, но даже пассивный наблюдатель вылезал из оврага с таким запасом земли на всем теле, что старшие неоднократно грозились посеять на нас картошку или репу.

К их чести надо добавить, что ни разу этой угрозы они в исполнение не приводили.

Когда до меня стали доходить отдаленные слухи, что меня хотят через год отдать в гимназию, я стал часто плакать. Это был мой первый искренне высказанный взгляд на систематическое образование.

Обиженная таким непониманием жизни и ее требований, мать как-то сухо заметила, что если я буду плакать, она отдаст меня в ученье сапожнику.

Увы, зерно нравоучения упало не на ту почву. Я искренне обрадовался и почти полгода лелеял мечту, что меня отдадут сапожнику, и я буду разносить по домам ботинки, снимать мерки, приходить по праздникам за чаевыми, а когда меня будут хвалить за хорошие подметки, улыбаться и, как Матвеич, наш дворовый сапожник, хрипло отвечать:

– Работам, как умем.

Матвеича я очень уважал и ставил на недостижимую высоту за умение сплевывать сквозь зубы. Это выходило страшно внушительно и выделяло его из ряда других, не умеющих так прекрасно держаться, людей.

Помню, что я целую неделю учился этому самостоятельно, а когда понял, что это требует опытного педагога, брал уроки у самого Матвеича, оплатив их большим рыбьим хвостом и французской булкой, выпрошенными у себя на кухне. Кухня... Довольно долгое время она заменяла мне театр, аудиторию и место, где можно с пользой повеселиться...

На кухне можно было увидеть, как добивают сонную рыбу, как вытаскивают заглотища из сома, как щиплют курицу и из нее же извлекают недонесенные яйца... На кухне можно было заранее узнать, когда родится теленок и на что может пригодиться при простуде шерстяная ниточка. С кухни я всегда возвращался с ворохом неразрешенных вопросов, каковые доводил за обедом до всеобщего сведения.

Вопросы эти носили всегда настолько резкий и злободневный характер, что сладкое я доедал в соседней комнате. Слабые обещания, что я узнаю все, когда вырасту большой, в то время меня утешали мало.

Меня стали брать в гости. С этого момента начинается уже другая полоса в жизни, совершенно самостоятельная, о которой я как-нибудь расскажу в другой раз.

Я сейчас опять вспомнил, что я не изобретатель электрической лампочки, и моя биография не так уже интересна...

1918

Первый дебют

I

Я очень завидую авторам, которые читают свои произведения с эстрады. Должно быть, это очень приятно: видеть читателя перед собой, следить за его вниманием и непосредственно видеть, какое впечатление производят собственные строки на чужого человека.

– Это же так просто, – покровительственно объяснил мне один из таких авторов, – наденьте фрак, заучите наизусть какой-нибудь небольшой рассказик и читайте. Не нужно только, чтобы очень длинно было.

С его точки зрения, все обстояло действительно очень просто: выбрать короткий рассказ и надеть фрак. У меня было и то и другое, но я колебался до тех пор, пока наконец не попался, как молодой ерш на удочку, на чье-то ласковое приглашение выступить на благотворительном концерте,

– Мы вставим вас между скрипачом и балетной артисткой, – предупредили меня.

– А это удобно? – немного опасливо осведомился я.

– А почему же? Один танцует, другой читает, третий играет...

– С точки зрения разделения труда это, конечно, правильно: один человек не может одновременно играть на скрипке, танцевать характерный танец и читать вслух собственный рассказ. Только как это вдруг вылезти после скрипача, да еще перед танцами...

– Можете сначала.

– Ну да, тоже... Я кончу читать, а после меня скрипки да танцы... Убрали, дескать, лишнего человека, теперь и повеселиться можно.

– Ну, после можете читать.

– Также как-то неловко выйдет... Публика развеселится, будет еще хор балалаечников вызывать или цыганской певице хлопать, а тут я с рассказом вылезаю...

– Не знаем уж, право, как... Мы подумаем,

– Прекрасно. И я подумаю.

Должно быть, ни та, ни другая сторона не думала. Иначе они не поставили бы меня

четвертым номером, после цыганки и до итальянского баритона, а я вообще отказался бы, сославшись на любовь к одиночеству и возможную в этот День оттепель.

## II

В артистической было весело и людно. Всякая комната, Где до вечера могли уместиться только два старых шкафа И один сломанный диван, становится людной и веселой, Когда в нее входят двенадцать исполнителей разных номеров и больше трех четвертей струнного оркестра, не считая инструментов.

– Вы что сегодня поете? – ласково спросила меня какая-то полная дама, пудрясь перед карманным зеркальцем.

– Сегодня ничего, – сдержанно ответил я.

– Тогда бы ушли, голубчик, – тем же тоном бросила она, – для вас, музыкантов, кажется, какую-то отдельную комнату нашли...

– Я не музыкант, сударыня, – хмуро возразил я.

– Ну, что это со мной, – весело рассмеялась она, – всех сегодня путаю... Разговариваю с распорядителем, а думаю, что музыкант. Милый, принесите мне лимонад...

– Видите ли...

– Только холодного. Терпеть не могу, когда теплую бурду приносят...

Лимонад в буфете отпустили неохотно.

– С антракта торговать начнем... Вам какого?

– Холодного. Мне с собой.

Буфетчик сунул мне в руку мокрую бутылку и занялся каким-то очередным делом.

– У меня нет штопора...

– Что же вы тогда говорите, что с собой надо? Пейте здесь.

– Мне для артистки...

– Ну, это не моя обязанность. У меня все платное...

Уломав его, я понес через публику стакан лимонада.

С непривычки это было очень тяжело, тем более что по пути меня кто-то задержал и долго заказывал два бутерброда с копченой колбасой, только чтобы без жира, а масла побольше.

В артистической дамы, которая пудрилась, уже не было.

– Это что у вас, лимонад? – спросила девица, рассматривавшая сбоку ноты и пробовавшая голос. – Холодный?

– Холодный.

– Спасибо.

Из вежливости она не ткнула мне пустой стакан в руки с просьбой принести еще, а поставила его куда-то на футляр мандолины.

– Этот лимонад не для вас, – с запоздалой грустью сообщил я девице с нотами.

– Разве? – удивилась она. – Ну все равно. Лимонаду вообще много.

Грудной голос дамы, пославшей меня за ним, выделялся откуда-то извне.

– Ну что за безобразие... Послала какого-то олуха за лимонадом, и до сих пор нет...

Я прислонился к косяку и стал ждать.

– А мы вас ищем-ищем, – весело подбежал распорядитель, – вы только что приехали? Поздненько.

– Я давно. Я за лимонадом ходил.

– Что же вы мне не сказали, что хотите лимонада... Семен, принесите господину...

– Мне не надо. Это дама просила...

– Ах. вы с дамой... Почему же вы не сказали? Я велю ее усадить в четвер...

– Не надо – она в артистической...

– В артистическую посторонним нельзя...

Кто-то потянул его за рукав, и я остался один. Концерт уже начался, и меня два раза предупредил какой-то хмурый человек, что если я аккомпаниатор, то мне надо знать, что левая педаль у пианино работает плохо. Спасибо, что и такое достали, а если я недоволен, то должен об этом сказать Николаю Евгеньевичу.

– Между прочим, что вы будете читать? – спросил распорядитель, неизвестно откуда вынырнув передо мной.

– У меня с собой тут есть кое-что... Вот один рассказик...

В кратких словах я передал ему содержание рассказа об одном молодом человеке, который приехал на лето к родственникам, стал увлекаться природой, и что из этого вышло.

– Прекрасная вещица, – восторженно похвалил он, поглядывая на часы, – вы так наизусть ее и заучили?

– Ну где там, – добродушно улыбнулся я, – это я вам фабулу только рассказал...

– Фабулу? – с ужасом переспросил он. – Это значит, в течение одиннадцати минут – одну фабулу?

– Да, а что? Рассказ, если из него кое-что выбросить, займет каких-нибудь сорок – пятьдесят минут.

– Ну что вы... Да разве же можно! – хрипло вырвалось у распорядителя.

– А как же повести публично читают? – немного обиделся я. – Не могу же я выйти, сказать афоризм и уйти... Впрочем, у меня есть маленькая вещица. Действие происходит в аптеке...



– Прекрасная фабула, – вежливо согласился он, выслушав рассказ о веселом инциденте в аптеке.

– Это не фабула, а весь рассказ.

– Весь? – В голосе его послышалось смутное чувство опасности, да это же на полторы минуты...

– Ну, хотите, я могу минуты две так на сцене постоять. Без разговора... Руками что-нибудь там делать или стул передвигать.

– Так, так... – неопределенно произнес он.

Помирились мы на третьем рассказе.

### III

Вышел я под громкие и восторженные аплодисменты. До сих пор я решительно не знал, кому аплодировали – только что ушедшей цыганской певице, появившемуся в дверях зрительного зала итальянскому баритону или мне.

Один из знакомых после этого вечера уверял, что – мне, так как я очень похож на одного популярного артиста, которого публика любит и всегда радостно встречает. Кажется, это было самое правильное толкование одобрения и радости, выказанных публикой.

Я поклонился и стал читать. По-моему, это был очень веселый и милый рассказ, способный вызвать улыбку даже у волка из провинциального зверинца, но публика слушала его сосредоточенно и молча, как исповедь спасенного самоубийцы.

Из задних рядов стали выделяться какие-то голоса. Я прислушался; безусловно, они относились именно ко мне, а не к тому, что я читал:

– Громче...

– Ничего не слышно...

– Погромче....

По-видимому, эти люди думали, что у каждого автора голос, как у крючника, если они надеялись услышать что-нибудь из самых отдаленных дебрей хоров.

Я стал читать громче, но им окончательно пришлось по вкусу это публичное препирательство со мной, и голоса еще решительнее заявили:

– Ничего не слышно.

Передо мной встала решительная дилемма: или начать выкрикивать каждое слово с таким расчетом, чтобы его слышали даже извозчики, зябко дождавшиеся у подъезда, или уехать домой и развивать голос для следующего выступления в концертной программе.

Я выбрал среднее: бросил всякую интонацию и логические ударения и стал читать еще громче. В жизни таким тоном я разговариваю только летом на даче, когда, перегнувшись из окна, начинаю убеждать пастуха, чтобы он прогнал коров дальше от моей террасы.

Публике понравилось это больше. В паузах многие даже смеялись, мешая соседям внимательно искать в программе, какой номер будет дальше.

Помню, что я сумел прочесть рассказ только до половины, внезапно раскланялся и быстро проскочил в артистическую. Публика аплодировала.

– Это мне? – радостно-возбужденно спросил я даму, посылавшую меня за лимонадом.

– Разве вы уже кончили? – встревожилась она, хватая ноты.

– Да...

– Что же я скрипку не слышала... Должно быть, под сурдинку играли?

– Я не скрипач, – сурово заметил я, – я юморист. У меня и книги свои есть.

– А, юморист, – разочарованно произнесла она. – Ну, так это вам хлопают.

Я потихоньку спустился вниз, оделся и уехал.

\* \* \*

Больше я не буду выступать на концертах. Разве только в русском хоре, где можно постоять сзади и дипломатически раскрыть рот, когда услышишь, что рядом громко запели...

1918

## Ухаживатель

Из всех пошлых, юрких и раздражающих слов есть одно самое захватанное. Ухаживать. Это слово напоминает визитку, выставленную в витрине магазина готового платья, – с бумажным цветком в петлице и красным платком, торчащим из кармашка. Когда при мне говорят, что кто-то за кем-то ухаживает, мне всегда представляется молодая девушка с маленьким лбом и вздернутым носом, а около нее молодой человек с потухшим взглядом и очень большой коробкой липких конфет в дрожащих от волнения руках.

Во рту становится кисло от этой ассоциации.

Я несколько раз разлагал на составные элементы тот процесс, который вкладывается в слово: ухаживать. Результаты получались самые обидные.

\* \* \*

Высший вид ухаживания за женщиной, конечно, являло средневековое рыцарство.

Если посмотреть на средневекового рыцаря не с точки зрения красивых перьев на шлеме и блестящих лат – это была, по справедливости, очень жалкая фигура.

Неграмотный человек, меняющий белье два раза в году, с исшрамленным от турниров лицом, садился на лошадь и ехал искать подвигов.

С точки зрения современной морали подвиги эти были весьма сомнительного свойства. Если рыцарь защищал бедняка, то трое богатых от этой защиты наверняка уже лежали с вспоротыми животами. Если он сбивал спесь с хвастуна, дело кончалось не только поверженным в прах самолюбием, а еще и длительным дожиганьем недвижимого имущества поверженного.

Распространяя так на своем пути справедливость, граничащую с бешеной паникой местного населения, рыцарь наткнулся на красивую женщину, которая, без предварительного согласия, и делалась дамой его сердца.

Рыцарь слезал с лошади, садился под окном замка и начинал терпеливо дожидаться благосклонности. Очень часто бывало, что рыцарь садился еще не под то окно и ужасно удивлялся, почему это из заветного окна выглядывает только рыжая борода старшего псаря и доносится только одна крепкая ругань, произносимая хриплым, пропитым голосом.

Поняв свою ошибку, рыцарь переходил на другую сторону и снова выжидал.

В замке учащались семейные скандалы. Дама сердца категорически отказывалась выходить даже в сад, мотивируя свое поведение кратко и резко:

– Там этот идиот под окном дожидается. Выйдешь – приставать начнет.

– Это славный рыцарь, Гризельда, – укоризненно качал головой владелец замка. – Это сам Гидо де Бриссаньяк ди Формоза дю Кито. Он покорила волшебника Пупса.

– И прекрасно. Пусть у него под окном и сидит.

– Он ждет твоей любви, Гризельда.

– А если их десять человек под окнами рассядутся? Я никого не приглашала.

– Все же приличие требует, чтобы ты подарила ему знак внимания. Он знатного рода.

– Я ему подарю! – угрожающе шипела Гризельда.

Три ночи подряд из окна Гризельды лилось и сыпалось на рыцаря все, что только нехорошего могли внести в комнату две прислужницы. Рыцарь фыркал, протирал глаза, проклинал неудачную любовь, но терпел.

Наконец, выведенная из терпения его покорностью, Гризельда бросала ему сверху самую подержанную розу, которая по внешнему виду напоминала современную половую тряпку. Рыцарь благоговейно целовал лепестки и складывал цветок за пазуху, где уже около двух месяцев покоились: кусок недоеденного сыра, баночка с лошадиной мазью и сухая баранья кость, взятая в качестве талисмана против дурной погоды в пути.

С этого момента рыцарь считал себя приглашенным в дом и вбегал туда по винтовой лестнице. Около четырех дней он отъедался и врал о своих подвигах. Потом начинал приставать к даме сердца.

Желая от него отвязаться, та давала ему самые необычайные и затяжные поручения, которые рыцарь немедленно же уезжал исполнять под честное слово.

– Я вчера во сне видела, будто на большой дороге, около двух дубов, – цинично выдумывала Гризельда, – стоит торговый человек и хвалится, что у него есть розовый камень величиной с ноздрю коровы. А у самого вместо носа хобот. Пойди найди этого человека, убей его, возьми у него камень, привяжи этот камень к зубу самой старой волчицы и принеси мне. Тогда выйду за тебя замуж.

Рыцарь безропотно снимался с места и уезжал.

Большую дорогу с двумя дубами найти было легко, но торговый человек с описанной Гризельдой наружностью совершенно не появлялся на этом месте, несмотря на всю готовность рыцаря к этой встрече. Если проходил мимо торговый человек, это было совершенно нормальное существо, к которому было неудобно привязываться; если проходил человек, у которого по внешнему виду мог оказаться камень, так это был или палач из соседнего города, или королевский парикмахер.

Тогда рыцарь решал, что, очевидно, Гризельда немного перепутала в точной передаче ее сна, и бросался на первого же попавшегося прохожего.

– Стой, торговый человек!

– Какой же я торговый? – удивлялся остановленный. – Я лекарь.

– Врешь.

– Уверяю вас, господин рыцарь, у меня даже бумага с собой есть такая.

– Плевать на твою бумагу. Отдавай розовый камень.

– Какой камень?

– Который величиной с коровью ноздрю.

– У меня, право же, нет...

– Ах, у тебя нет... Вот оно что... А где у тебя хобот вместо носа?..

– Я же бедный человек. Ничего у меня нет. Даже хобота, – робко оправдывался он.

– Значит, по-твоему, Гризельда, дама моего сердца, красивейшая из всех дам, врет? Ты вот как...

Труп лекаря оставался в придорожной канаве, а рыцарь ехал дальше разыскивать камень. Находил он его у седьмого, отправленного походя на тот свет, купца. Правда, это был не розовый, а зеленый камень и величиной значительно уступал искомому идеалу, но это была уже синица в руках, и рыцарь, довольный успехом, начинал искать остальные мелочи, вроде зуба старейшей волчицы. На эти хлопоты уходило еще около года, и, по прошествии двух с половиной лет, он появлялся радостный и торжествующий под тем же самым окном.

Дама сердца давала новое мелкое поручение – поймать карлика, поющего соловьем, в соседнем лесу или утопить колдуна, который семь лет тому назад утопил курицу в домашнем пиве. Рыцарь исчезал снова, лишал жизни еще нескольких ни в чем не повинных людей и снова появлялся в замке.

Взбешенная его тупым упрямством, дама сердца соглашалась на брак, который не всегда оказывался несчастным.

Так было положено начало тому унижительному процессу, который входит в объем пошлейшего современного слова: ухаживать.

\* \* \*

Весь ужас средневековой тупости лег в основу и современного ухаживанья.

Человек, который встретил женщину, понравившуюся ему сразу, и пользующийся взаимностью, никогда не ухаживает. Элемент рыцарства в отношениях между двумя любящими и еще не связанными браком исчезает с первого же момента прочности отношений.

Влюбленных всегда можно сразу узнать по тем придиркам, которыми они осыпают друг друга по поводу опозданий, взглядов на посторонних людей, несогласия в туалете и просто только для того, чтобы отвести глаза окружающим.

Нежное, кроткое существо с голубыми глазами и пепельными волосами шепотом готово пытаться милого человека по поводу вчерашнего отдельно проведенного вечера. Другое существо, даже к извозчицкой лошади готовое обращаться на «вы», может кричать на любимую женщину только из-за того, что она улыбнулась в то время, когда какой-то человек в котелке проходил мимо...

Это не ухаживанье. Ухаживанье – другое.

\* \* \*

В скромной семье, где есть недавно кончившая гимназию дочь Сонечка, появляется незнакомый человек, к которому все начинают относиться с легким оттенком пренебрежения.

Незнакомый человек сразу, с момента своего появления, совмещает в себе исключительные достоинства домашнего животного, посыльного, наемного провожатого и передвижного магазина сладостей и цветов.

Он где-то познакомился с Сонечкой, попросил разрешения заехать и, как рыцарь под окном, начинает терпеливо ждать.

Им пользуются решительно все. Он играет в шахматы с отцом семейства и, из опасения поспорить, старается объявить самому себе мат чужой пешкой. После игры выслушивает долгий рассказ матери семейства о том, какие хорошие были люди в старину и какая скверная молодежь стала теперь. После этого, решив две геометрические задачи младшему братишке Сонечки, он может приступить к своим коренным обязанностям: принять заказ на два билета в театр на четверг, на приглашение своего товарища, курчавого виолончелиста, который очень симпатичен, и получить распоряжение о необходимости при встречах с отдающей распоряжение не выказывать особенной радости, бросающейся всем в глаза.

После этого трудовой день ухаживающего кончается.

Жизнь его становится утомительной. В день своего посещения любимой девушки он должен выйти из дома не позже семи часов вечера, чтобы застать открытой кондитерскую. Если он обещался прийти в девять, значит – эти два промежуточные часа он должен проходить по мокрой улице, оберегая нечеловеческими усилиями коробку в розовой кружевной бумаге от дождя, снега или других атмосферических явлений. Хуже, если у него в руках окажется букет цветов. Тогда ему нельзя сесть в трамвай без опасности для букета, который легко может оказаться удобным сиденьем для совершенно незнакомого пассажира; извозчики предьявляют обычно каждому человеку с букетом бешеные денежные ультиматумы...

Иногда, это бывает часто, ухаживающий везет свою даму в театр... Я лично не брал на свои плечи такую непосильную задачу, но даже со стороны видел и чувствовал всю безысходную тяготу такого предприятия. За дамой нужно заехать и ждать в гостиной, с куском какого-то старого журнала в руках, пока она оденется.

Часы в это время услужливо доказывают, что, по теории вероятностей и по газетному объявлению, первый акт уже в полном разгаре.

Дама одета. Ее, как чемодан с хрупкими вещами, нужно осторожно усадить на извозчика и призвать все свои диалектические способности для того, чтобы убедить тупое существо на козлах ехать быстрее. Все время в театре надо держать номерок от вешалки, чтобы он не затерялся: даму, особенно за которой ухаживаешь, нельзя успокоить обещанием, что чье-нибудь верхнее платье да останется...

В первом антракте дама хочет пить. Подведенная к буфету, заявляет, что она расхотела. Во втором антракте она хочет есть. Для третьего у нее всегда находится еще какое-нибудь желание, во имя которого ее спутник должен бегать по всем коридорам, фойе, разыскивать из-за носового платка платье на вешалке и желчно проклинать первого бездельника, выдумавшего такую мышеловку для приличных людей, как театр.

Если к этому еще прибавить необходимость снова одеть даму, усадить ее в извозчицью пролетку, самому сесть туда же, говорить по дороге о своем одиночестве и нежно любящей душе; привезя, ждать, пока откроет сонный швейцар, и торговаться о сроке следующей встречи, – развлечения ухаживающего человека встанут перед вашим умственным взглядом в надлежащей окраске. (Должен отметить следующее странное явление. Когда женщина, даже очень интересная, идет в театр с человеком, который за ней и не думает ухаживать, она совершенно не страдает ни жаждой, ни голодом, приезжает к самому началу спектакля, терпеливо дожидается пальто с вешалки и одна совершенно спокойно уезжает на извозчике домой.)

В таких тупых муках ухаживающий живет около двух или трех лет. Любимая девушка за это время увлекается самыми неподходящими людьми, периодами избегает открыто смотреть ему в глаза, ошибочно называет его Сашей вместо Петра Николаевича, посылает его за мелкими покупками и по рассеянности несколько раз собирается дать ему на чай... И только по истечении этого срока, вспомнив о том, что в следующий день рождения ей исполнится уже двадцать шесть лет, соглашается на свадьбу.

С точки зрения производительной затраты труда это еще очень хороший конец. Значительно хуже, когда к исходу третьего года ухаживающий получает пригласительный билет на свадьбу любимой с одним их общим знакомым, с упоминанием на карточке, что необходимо быть в сюртуке или во фраке.

За эти два года несчастный мог окончить археологический институт или изобрести самодвижущееся пресс-папье; как должно быть обидно такому человеку сознавать, что все его труды пропали даром...

\* \* \*

Есть еще люди, которые ухаживают по инерции, в силу заложенного в их натуру тяготения к рабству.

Обремененные многочисленными связями, искушенные во всех формах взаимности, они все же не могут пропустить случая увязаться за хозяйкой красивой прически, красиво прищуренных глаз или особо отделанных ногтей.

Они ухаживают вяло. Ничего не ждут, ничего не требуют, и если их опросить сердечно о целях их совместного пребывания с женщиной, которая заведомо их не любит, не ценит и отчасти даже тяготится, каждый из них ответил бы лениво и неуверенно.

– А я почему знаю?

Это – рецидивисты, об исправлении которых нечего и думать.

\* \* \*

И самое обидное во всем этом, что явно торжествующей стороной во всех этих случаях является только женщина. Меня, например, никогда не возмущает женщина, около которой семь или восемь людей, самых разнообразных возрастов и физических недостатков, готовых к услугам. Наоборот, во мне просыпается только острая зависть к ней.

Я сам никогда этого не испытал, но, должно быть, это очень хорошо, когда приходят откуда-то со стороны чужие люди и каждый старается сделать что-нибудь приятное. В ресторане, когда хорошо служит только один расторопный человек, и то чувствуешь себя очень сносно.

Больше ничего по этому поводу сказать не имею.

1918

Промах Перкинса

(Из рассказов старого Джимми)

Меня здорово укачало. Я лежал на койке и почти засыпал. Против меня в углу каюты сидел на полу Джимми и, что-то мурлыча, зашивал толстой серой ниткой дыру на рукаве своего несносимого пиджака.

По временам он искоса поглядывал на меня и тихонько хихикал, показывая красные, с редкими зубами, десны.

Я видел, что ему не терпится. У этого старого негра было в запасе столько разных историй, и, когда он был в хорошем настроении, отсутствие слушателей могло окончательно обидеть его. В такие минуты он мог рассказывать даже дверной ручке.

– Ты чего, Джимми?

– Я, кажется, мешаю спать? – радуясь, что вызывает меня на разговор, откликнулся он. – Старые негры любят поболтать... Но когда мистер спит...

– А что ты смеешься?

– Мало ли смешного в жизни? – философски кинул Джимми. – Я знал одного мулата, который смеялся даже во время еды. А кормили его раз в сутки маисовой кашей.

– Ты что же, о мулате вспомнил, что ли?..

– Мулат... Этот серый осел теперь держит в Сан-Франциско свой кабак. Пусть о нем другие вспоминают, кому он не должен ни одного пенса. Джимми может о нем и не вспоминать...

– Ну, рассказывай, – перебил я, – все равно завтра привяжешься. Хочешь папиросу?

Он жадно посмотрел на мой портсигар, поймал обеими руками, как ловят брошенный мяч, кинутую ему папиросу и радостно ухмыльнулся.

– Случай был один, – втягивая дым, начал Джимми, – было это приблизительно...

– Ты о ком?

– Со мной, мистер... И, конечно, с этим пьяницей Бобом, чтобы ему не пришлось никогда ночевать в собственном доме. Большой негодяй...

– Ну, говори.

Я натянул одеяло до подбородка и затянулся новой папиросой.

\* \* \*

– Когда по улице Нью-Йорка идет негр, который хочет кушать, – это очень большая неприятность. Мистер не был негром и не поймет этого. Белый может ждать и выбирать ресторан. Негр не может: когда он голоден, это значит, что он забыл, что такое вареное мясо, и может смешать его с куском якорного поплавка... Тогда Джимми было двадцать четыре года, и у него был очень большой желудок. И в него, как в трюм военного парохода, вкладывалось уже полгода ровно столько груза, чтобы только удержать равновесие.

Кто может обратить внимание на негра, когда у него в руках линючий, как змеиная кожа, чемодан? Негр сам должен обращать на всех внимание.

Может, мистер помнит у Тринадцатого моста съестную лавочку одноглазого Перкинса? Не помнит? Это был большой мошенник, которого лучше не помнить. Но в лавке у него было одного всего фаршированного. Негодяй брал всякую дрянь и так ее фаршировал, что голодный человек рычал от удовольствия, когда ее кушал.

– Здравствуй, Перкинс!

– Лучше прощай. Я люблю покупателей, у которых в кармане золото.

– У меня оно будет через два дня, а я четыре дня ничего не ел.

– Итого шесть. Приходи через двенадцать дней, и я тебя тоже выгоню.

Перкинс был разговорчивый малый, особенно когда к нему приходили без денег. Короче говоря, он поставил условие, которое между людьми ведет к длинной драке. Но один из нас был голоден, и мистер, конечно, догадывается из моих слов, что это был я.

– Оставь чемодан в залог, и я дам тебе фаршированную курицу.

Мистер этого не поймет, что значит держать в зубах фаршированную курицу и чувствовать, что это не пробковая кора, а жареное мясо с чем-то еще внутри, отчего ноздри поднимаются и хлопают, как мельничные крылья.

– На...

Негодяй взвесил в руках чемодан, ткнул пальцем в замок и спросил:

– Заперт?

– Заперт.



Это было лишнее – не давать ему ключа. Все равно в чемодане лежал один зеленый галстук, нечаянно взятый из пальто у одного проезжего торговца, который больше любил пить виски и перемигиваться с лакеями, чем следить за своим пальто. Лежал еще небольшой кусок желтой кожи, который никому не было жалко. Даже, наверно, толстому Смирнеру, узнавшему о его пропаже дня через три после моего ухода.

– Принесешь два доллара, получишь чемодан.

– Может быть, ты уверен, что я съел у тебя не костлявую курицу, а фаршированную корову, что ты требуешь целых два доллара, кривая свинья?

Теперь я был сыт и тоже сделался разговорчивым.

Эти одноглазые люди очень решительны. Я поднялся с земли, потер ушибленную коленку и пошел дальше. Не все ли равно, в каком месте заочно выругать человека, дерущего два доллара за курицу, которая вместе со своими родителями не стоит поломанной серебряной монеты?..

\* \* \*

– Разве может Боб не быть пьяным? Мистер не видел его, иначе был бы такого же мнения. Он лежал на полу, вертел глазами во все стороны, как лошадь хвостом, когда ее кусают москиты, и пел непристойную песню.

– Поешь?

– Пою.

– И долго будешь?

– У Боба есть деньги, и он может петь, сколько ему угодно.

А когда негр пьян и поет, это значит, что, когда пенье кончится, он сейчас же уснет. Я хорошо знал эту привычку и ткнул Боба ногой в бок. От этого у него сразу делалась бессонница, даже днем.

– Ты что?

– У тебя есть деньги, Боб?

– Есть. Отдай мне твой долг, и у меня будет больше.

Мистер не знал меня молодым. Но когда мне было двадцать четыре года, я не говорил о своих долгах и не любил слушать, когда мне об этом напоминают.

Я рассказал Бобу свою историю с чемоданом, который теперь лежит у Перкинса.

– Если бы у Перкинса было вместо одного четыре глаза, как у двух носорогов, он не был бы умнее, – заявил Боб, выслушав мою историю, – и Боб докажет ему это.

Я увидел, что в его черной пьяной голове зашевелились неожиданные мысли. Когда белый человек начинает отрезвляться, ему не хочется работать; негр даже в пьяном состоянии придумывает новые дела.

– Ты посиди здесь, а я пойду поговорю с Перкинсом.

– У Перкинса странная манера помогать скорее выходить из его лавчонки, – предупредил я Боба, разглядывая остатки портера в бутылке, выпавшей из его рук, как младенец из люльки.

– Не бойся. Не всем родители передали глупость бабушки. Жди.

Может быть, я надоел мистеру? Нет? А то я смотрю, что мистер зевает, как во время разговора с той мисс, у которой большая бородавка на шее...

\* \* \*

Боб пришел веселый и трезвый. В то время неграм жилось плохо, но он умел приходить таким.

– Иди к Перкинсу.

– Я уже съел у него курицу. Может быть, ты думаешь, что я, как удав, смогу сегодня четыре раза пообедать до следующего вторника?

– Иди к Перкинсу.

– Если ты с ним так подружился, можешь идти сам и даже жениться на его оспенной дочери и фаршировать всякую тухлятину, пока вас всех не повесят на одном дереве.

– Иди к Перкинсу.

– К Перкинсу так к Перкинсу.

В то время, как и теперь, негры не ездили на автомобилях, и только через два часа я осторожно просунул голову в эту мерзкую лавчонку и посмотрел, что делает ее хозяин.

\* \* \*

Перкинс встретил меня, как голодная лисица молодого петушонка.

– А, Джимми... Давно тебя не видел.

– Часа четыре назад, – хмуро сказал я, показывая пальцем на коленку, которая познакомилась с мостовой у его лавки.

– Ну, брось старое... Может, хочешь кружечку эля и кусок ростбифа?

Что бы там ни замышлял Перкинс и что бы ни придумал Боб, раз предлагают ростбиф и эль – отказываться не надо. Все было так вкусно, что я даже взял с прилавка еще кусок пирога с орехами и положил его в карман. Перкинс только отодвинул подальше свиной окорок, но не сказал ни слова. Должно быть, он думал, что у меня золотые россыпи в Калифорнии, – иначе поднял бы скандал и зубами выгрыз бы из кармана этот кусок пирога.

– Ты что же от меня скрыл, Джимми?

– Что скрыл, Перкинс?

– Да насчет чемодана-то.

– А что? Галстук, что ли, вытянул оттуда?

– Не в галстук дело. Подавись им!

– Легче было бы подавиться твоим ростбифом.

– Брось! Не надо давиться, когда есть дело. Чемодан-то твой из священной кожи, говорят?

– Священная кожа?

У негров нет никакой кожи, кроме своей, да и та в то время, когда Джимми был молодым, лопалась под кнутами разных людей.

– Какая же священная кожа?

– Не верти головой. Кожа с рыжей лошади, которую вы, черномазые, считаете священной.

Положительно, или Перкинс сошел с ума, или я не знал, что у негров есть какие-то лошади, кроме тех, которые возят хлопок на фабрики.

– Нет у нас таких лошадей!

– Брось, Джимми. Когда человек может заработать лишний десяток долларов – ломаться нечего. Продай чемодан.

Будь бы здесь Боб, я у него спросил бы совета. Но это пьяное животное, наверное, лежит на полу с новой бутылкой портера и поет песни.

Я решил действовать наобум. В свои двадцать четыре года, мистер, каждый негр действует наобум, и хорошо действует. Многие из белых даже удивляются.

– Не продам чемодана. Раз священная кожа – продавать его нельзя.

Перкинс подумал и решил меня сбить.

– А за двадцать долларов тоже нельзя?

– Даже за сорок.

– И за пятьдесят?

– Священную-то кожу? Дешевле, чем за сто, ни один негр не согласится.

Впрочем, один негр вскоре согласился – за семьдесят пять.

Мистер, конечно, догадался, что это был Джимми.

\* \* \*

– Боб! У меня семьдесят пять долларов. Перкинс сошел с ума. Нужно сказать нашим в Крысином квартале. Пусть старая Сунни бежит туда пожить. У нее родился одиннадцатый внук, а Перкинс раздает даром деньги...

Боб совсем не думал быть пьяным. Он даже не пел. Наоборот, он сидел тихо около стола и курил длинную желтую сигару, какие запаковывают в железные коробки и продают на пароходах молодым джентльменам.

– Боб... Ты, кажется, не слушаешь меня?.. У меня семьдесят пять долларов...

– Сорок.

– Семьдесят пять.

– Сорок.

– Боб! Я не Перкинс и не схожу с ума. Я всю дорогу держал карман левой рукой, а в кармане у меня нет дыры. У меня семьде...

– Сорок. Тридцать пять ты отдашь мне. Выкладывай.

– Я же тебе говорю, что не я, а Перкинс сошел с ума. Хочешь, я тебе дам доллар и ни пенса больше.

Боб был спокоен, как слон, которому суют в хобот яблоко.

– Кто тебя послал к Перкинсу, Джимми?

– Ты, Боб!

– Чьи сорок долларов из семидесяти пяти?

Этот Боб часто в прежнее время оказывался правым. Не пошли он меня к Перкинсу, тот сошел бы с ума при другом, которому бы и отдал деньги.

– Твои, Боб. Получай сорок долларов. Хочешь, я не буду тебя обсчитывать и не зажму ни одной монеты, если ты мне скажешь, почему это одноглазый Перкинс вывалил мне?..

– А ты подумай сам...

Я вышел на улицу, сел около дома и стал думать. Молодые негры никогда не думают про себя... А когда начинает думать вслух такой горячий человек, как я, – соседям становится неприятно. Маленькие дети плачут, а собаки воют, как по покойнику.

– Ну что надумал, Джимми?

– У меня голова уже шипит, как котел у паровика, Боб... Ничего не понимаю.

– А ты сходи недели через две к Перкинсу...

– Опять семьдесят пять долларов?

– Вряд ли! А понять – поймешь.

\* \* \*

Человек, у которого тридцать пять долларов в разных карманах, особенно если он негр и все удовольствия у него скромны, найдет себе место в Нью-Йорке. А где я был в это время, мистеру, наверное, неинтересно. Ровно через две недели, когда от нашего Джимми пахло спиртом так, что собаки обнюхивали землю, я заглянул к Перкинсу.

Я даже не понимаю, где выучился этот человек так громко кричать.

– Отдай мои деньги.

– Если ты кричишь это своим копченым окорокам, они все равно не услышат, если мне, то можешь потише. Я не глухой.

– Я тебе голову проломлю, я тебе ноги вырву...

Я уже говорил мистеру, что этот Перкинс был ужасно разговорчив.

Оказалось, что после моего ухода, когда он за свою шестипенсовую курицу – вряд ли она даже в здоровом и свежем виде могла рассчитывать на большую оплату своих костей – удержал мой чемодан, к нему пришел в лавчонку какой-то негр и умолял его продать мой чемодан.

– «Этот мерзавец убил нашу священную лошадь, содрал с нее шкуру и сделал в Иллинойсе из нее чемодан». Он плакал так, как будто бы эта лошадь была его теткой по отцу. Разве я знаю вашу негритянскую веру и все ваши обряды?.. Может, у вас и не одна такая лошадь.

– Ну?

– Этот мошенник предложил мне сразу триста долларов. Я схватил чемодан и хотел ему дать еще в придачу целую баранью ногу, шпигованную салом, но он стал уверять, что на продажу нужно твое согласие...

– «Чемодан мой! Зачем мне еще его согласие? Отдай мне триста долларов и бери его». Тогда он стал рассказывать, что у тебя целая шайка, что ты нагонишь его непременно и обязательно зарежешь... «Дай ему пятьдесят долларов и ты наживешь двести пятьдесят...» Я ему сказал, что я проводил тебя так, что ты вряд ли захочешь вернуться сюда. «Зайдет! Ему чемодан дорог! Он продаст его в музей в Вашингтоне и получит за него пятьсот долларов...» – «Тогда и ты дай пятьсот!» – «Хорошо, только найду его хозяина...» Он ушел, этот мошенник, оставив мне доллар задатка, и выпросил в долг бутылку эля... А через два часа пришел ты и выхватил у меня эти семьдесят пять долларов... Если бы я нашел этого длиннорукого негодяя...

– Как длиннорукого?

– А так. Руки у него такие длинные, что годились бы на оглоблю слону...

– Постой, Перкинс. А нос у него не исковеркан посередине?

– Исковеркан. И губа рассечена.

– Верхняя? Да?

– Верхняя. А на шее царапина в палец толщиной...

– Да это же Боб!

Теперь только я понял, почему Боб ходил к Перкинсу и почему он посылал меня к нему обратно. Теперь мистер не может представить, видя меня слабым стариком, как я умел хохотать в то время. Это был большой шум, на который сбежалось много народу. Даже какая-то леди остановила свою коляску и вышла из нее на улицу.

Я выбежал из лавчонки и сел прямо на дороге: стоя я не мог так хохотать, а этот обозленный мошенник стоял в дверях своего заведения и ругался, как плотовщик на Миссисипи, размахивая куском какого-то мяса...

Кончилось дело тем, что Перкинса вогнал собственным плечом в его лавку соседний полисмен, а меня побил тонкой, с серебряной ручкой, палкой какой-то господин за то, что я во время смеха хлопал руками по земле и нечаянно задел по ноге леди, вылезшую из своего экипажа.

Что же бить человека, когда из тридцати пяти долларов осталось только четыре пенса долга за дюжину блестящих пуговиц к жилету...

\* \* \*

– Мистер, кажется, совсем уже дремлет... Да... В свое время этот пьяный негодяй Боб умел выручить из беды своего товарища...

1918

Из журнальных и газетных публикаций

Средство от ревности

(По рецепту Аркадия Бухова)

Один немецкий ученый уверяет, что у ботокудов существует такой обычай: если муж заподозрит жену в измене – он созывает своих приятелей, и те, поймав соперника их друга, съедают его – как говорят провинциальные рецензенты – под шумные аплодисменты собравшихся.

Масса несообразностей русской и общеевропейской жизни не позволяет ввести этот веселый обычай у нас. Вряд ли у каждого из нас найдется хотя бы по жалкой кучке гимназических или университетских друзей, которые бы приняли участие в скромном завтраке из обидевшего вас человека, хотя бы он был искуснейшим образом приготовлен руками опытного повара...

Другой ученый утверждает, что у всякого человека, помимо его интеллигентности, вместе с ревностью является чувство необходимости физического разрушения... Я лично знаю одну скучную и неприятную историю об одном борце, у которого сбежала жена, и что из этого вышло... Борец впал в такое бешенство, что сломал печку, опрокинул всю бархатную мебель и побил хозяина квартиры. Несмотря на такие радикальные меры, жена не вернулась; борца выгнали с квартиры; как мне передавали, на ревность это не повлияло.

В жизненном обиходе каждого человека всегда найдется несколько случаев борьбы с чужой или своей ревностью; кто не знает ряда таких печальных фактов, когда многие в порыве ревности бросали выгодные места государственной службы и шли в вагоновожатые, женились на дочерях своих кредиторов, меняли квартиры, безвозвратно кидали литературные работы и становились коллекционерами старых почтовых марок, стреляли в любимую женщину холостым зарядом и, отбив необходимое наказание, умирали в занятиях спиритизмом... Но разве это меры борьбы с ревностью? Разве хоть одно из этих средств сможет заставить любимого человека крепче и сильнее полюбить вас?..

\* \* \*

Вот, по моему мнению, каким образом каждый ревнивый человек сможет не только побороть свою ревность, но и достичь самых блестящих результатов...

Сегодня утром, зайдя за английской булавкой к жене, вы были обрадованы и слегка растроганы следующими находками, которые вряд ли смогут украсить и обогреть чью-нибудь одинокую, тихую жизнь: 1) записку на туалете, в которой черным по белому (вернее, зеленым по сиреневому) написано, что бедный страдающий и вечно любящий Пивков ждет сегодня вашу жену к шести часам у себя; 2) фотографическую карточку того же Пивкова с надписью на обороте («Люблю и обожаю. До гроба и надолго-надолго.

Твой Мишик».) ;3) букет цветов, перевязанный желтой лентой, и с воткнутой в него визитной карточкой означенного Пивкова и массу других вещей, непереносимых в обычной супружеской жизни.

Что бы сделал в вашем положении человек без логики, без твердой мужской выдержки?.. Он бросился бы к жене, и, осыпая ее проклятьями, стал бы ломать о пол легко бьющиеся предметы роскоши и первой необходимости, топтать цветы г. Пивкова, сейчас же послал бы в аптеку за четвертью синильной кислоты, стал бы заряжать револьвер, которым в обычное, мирное время прислуга вколачивала гвозди для вновь приобретаемых стеновых украшений, грозился бы подать жалобу во все учреждения провинции и столицы – словом, создал бы веселую, живую и яркую работу рук и языка, которая ни в коем случае не привела бы ни к каким результатам...

Разве сделали бы все это вы? Никогда...

\* \* \*

– Милая, – задаете вы вопрос жене около шести вечера, – почему же ты не одеваешься?

– А зачем? – бледнея, догадывается жена. – Зачем это тебе?

– А, плутовка, – ласково шутите вы, – все вы такие... Обещалась, а сама и в ус не дует... Пивков, может быть, ждет, волнуется, а ты еще в домашней кофте... Нехорошо, милая, стыдно... Ты, слава богу, из порядочной семьи... И отец такое положение занимал...

– Но, ты... ты... ошибаешься... Ты не смеешь... думать... Ты....

– Ну, будет, будет... А то ведь придется на извозчике ехать, торопиться будешь... Простудишься...

У жены на глазах слезы. Через пятнадцать минут она одета.

Внимательным, любящим взглядом окидываете вы ее и делаете несколько замечаний:

– Зеленое надела? С желтым бантом?.. Прекрасно, прекрасно... То есть где это у тебя вкус – не знаю... Идешь на свидание к человеку с университетским образованием, а одеваешься, как для мужика... Ей-богу, скоро стыдно будет из-за тебя в обществе показаться. Тот же Пивков смеяться будет...

Подавленная, уходит жена. Ей незачем вас обманывать, не для чего рассказывать, что она уходит в театр, к подруге, к умирающей тетке. Весь вкус запретного свидания – тает... Поздно вечером она возвращается домой. Раньше, подъезжая к дому, она чувствовала себя мученицей, и это окружало любовь особым ореолом: вот она возвращается из объятий любимого, ласкового человека к нелюбимому, чуждому мужу, она – страдальца... Теперь вы разбиваете все это безжалостно и грубо...

– Вернулась? – встречаете вы ее в передней. – Уже? Не могла подольше остаться? Человек тебя ждал, истратился на чай, на пирожные, на апельсины, прислугу со двора отпустил, а ты фить-фить и улетела... Тебе и дела нет... Может быть, лежит он, сердечный, убивается... В комнате еще аромат духов любимой женщины, а ее самой – и след простыл... Ах, Пивков, Пивков, несчастный ты... Ты хоть, засыпая, вспомни его – все ему легче станет...  
Бесчувственная.

Нет выхода для бедной женщины; подавленная, ложится она в постель... Завтра – снова та же линия поведения. Часов в пять, когда она приготовится уйти из дома, – чем-то взволнованный, сердитый, вбегаете вы в ее комнату.

– Соня... Я прошу тебя прекратить эти безобразия раз навсегда...

Слабая надежда мелькает в сердце женщины. «Ага, – подумает она, – пришел устроить сцену; хорошо – я ему сейчас выпою, и как он меня мучил, и как не обращал внимания, и все-все...»

– Какие безобразия?

– А вот какие... Посмотри-ка в окно – что это каплет?

– Ну, дождь...

– Дождь? Ага... Так, так. А скажи мне, пожалуйста, как по-твоему, приятно сейчас Пивкову в Николаевском сквере под дождем тебя дожидаться?.. Костюм-то что по-твоему: если он в рассрочку шит, так он уж и денег не стоит?.. А приятно это, когда тебе за шиворот вода течет?.. Чтобы больше этого не было: одевайся, на тебе на трамвай – поезжай сейчас же... Слышишь?..

\* \* \*

Через несколько дней за вечерним чаем вы спросите:

– Сегодня которое? Двадцать восьмое?.. Ну, скажите пожалуйста... Значит, ты четыре дня не была у Пивкова... Ты что, поссорилась, что ли, с ним? Нечего, нечего. Глупостей ему, наверное, наговорила? Изволь, одевайся и поезжай... Мало ли чего еще человек над собой ни сделает... Маша, дайте барыне пальто...

\* \* \*

Еще через несколько дней вечером:

– Ты куда это? Со мной в театр?.. Ну, это, милая, уж того... свинство... Пивков пятую записку шлет, а ты не можешь собраться... Поезжай... как нет? Не поедешь?.. Соня, смотри, терплю-терплю, а ведь и до скандала недалеко... Что? Я тебе покажу – не поеду... Муж я или нет?..

\* \* \*

Еще через несколько дней:

– Не пойдешь?.. А если трюмо – вдребезги? А если все твои статуэтки в куски?! Голову



размозжу – поезжай... Маша, бегите за извозчиком... К Николаевскому скверу – сорок... Я тебе – не поеду!.. Ты у меня узнаешь, как Пивкова мучить!!

\* \* \*

Говорят, что люди, испробовавшие мое средство, жили до глубокой старости в мире, любви и покое...

1912

История взятки

Заспанный Ной выглянул из ковчега и хмуро посмотрел по сторонам.

– Кто тут еще? Сказано, что местов нет...

– Это мы: голуби.

– Ишь ты, сколько тут вашего брата шляется... Говорю: все занято...

Самый старый голубь почесал ногой шею и виновато кашлянул.

– А то пустил бы, старик... У нас кое-что с собой есть... Почитай что полпальмы с корнем вывернули...

– Дурья ты голова, а еще голубь, – усмехнулся Ной, – что я с твоей пальмой делать буду!.. Тоже нашел...

– А может, и пригодится, – загадочно кинул старый голубь, – время, брат, не шуточное, потоп на дворе, а ты гнушаешься...

«А кто его знает, – подумал Ной, – может, и пригодится дерево... Дорога не маленькая, до Араратских гор ни одного полустанка...»

– А пальма у тебя хорошая? – сухо спросил он, с недоверием посматривая на голубя. – Многие дрянь приносят.

– Да уж будь спокоен, старина, – почувствовав, к чему клонится дело, покровительственно уже сказал голубь, – доволен останешься...

– Ну, ладно, шагайте... Только тише вы, черти короткохвостые, всех чистых у меня перебудите...

Это было первое появление взятки. Неведомая и еще хрупкая, она приютилась в уголке между семью парами нечистых и поплыла в Ноевом ковчеге спасаться. В дороге за ней незаметно для других ухаживал один из сыновей Ноя, которого близкие запросто называли Хамом. Когда ковчег подходил к берегу, взятка выпрыгнула первой, опередив даже голубей, которые хотели удрать со своей пальмой, и рассыпалась в воздухе.

Успела только Хаму шепнуть:

– Ничего, брат Хам... Не робей. И детей твоих и правнуков из беды выручу... Свои люди –

сочтемся...

\* \* \*

С момента своего возникновения взятка сразу разделяется на три вида: с угрозой, с напоминанием и без них. Последний, самый тяжелый, принял характер эпидемии. Съедал целые государственные организмы, как устрицы, даже не поливая их лимоном. В доисторическое время свирепствовал почти исключительно первый вид.

– Пропусти, голубчик...

Первобытный человек, залегший с дубинкой у чужой хижины, иронически смеялся в лицо хозяину и презрительно сплевывал в сторону.

– А вот захочу и не пропущу.

– Меня же там дети ждут...

– А может, я твоих свиненков дубиной по черепам...

– Ну, жена осталась...

– Жена... Тоже оправдание... Жену можно за голову по каменью.

– Не пропустишь, значит?

– Ну, это как сказать... Если бы да у меня бы да твой бы кусок антилопы, что ты в руках держишь, был бы...

– Жри, собака, – коротко говорил обираемый и проходил в свою законную хижину. Потом возвращался обратно, убедившись в целостности своего семейства, и тихо добавлял:

– Жри и подавись!

Эту формулу перехода при передаче взятки сохранило все человечество вплоть до наших дней включительно. Даже в наше время, лишь по некоторым деталям напоминающее доисторическое, при передаче крупных сумм на благотворительные цели кому-нибудь из имеющих административную власть многие не могут удержаться и, проводив печальным взглядом взявшего, тупо шепчут в пространство:

– Жри, собака.

\* \* \*

Рим и Греция, говоря официальным языком, изобиловали взятками; особенно Рим, где так много говорилось о неподкупности, что не брать взятки считалось неприличным. Не брали взятки только плебеи, с которых брали патриции.

Античная взятка носила подобающий ей античный характер.

На суде, например, римлянин перед произнесением обвинительного приговора, для него же приготовленного, красиво выступал вперед и гордо распахивал плащ, под которым оказывался привязанный к поясу живой поросенок, сильно мешавший своим беспокойным характером тишине судопроизводства.

– Это что? – спрашивал судья, прекрасно понимая в чем дело. – Кажется, поросенок? Дай.

– На, – гордо говорил римлянин. – Пусть эта свинья да будет тем даром, который...

Писец судьи античным взмахом руки подсовывал античный приговор и антично опускал в карман тоги несколько сестерций оправданного, который уходил домой, громко повторяя перед каждым встречным:

– В Риме еще есть судьи!

И только дойдя до дому, уныло прибавлял:

– Лучше бы их не было! Это большой ущерб для домашнего хозяйства.

Греческая взятка носила почти тот же характер. Первоначально к ней приучили сами боги, требуя то мясных, то вегетарианских, то денежных жертвоприношений. Собственно говоря, сами боги, которые жили на полном пансионе на Олимпе и нуждались только в карманных деньгах, много не требовали, но их делопроизводители, называвшиеся главными жрецами, требовали в жертву от бедных греков все, начиная от скверных букетов и кончая целыми фермами с дорогой молочной скотиной.

– Диана требует от тебя корову, – официально обращался такой жрец к простоватому греку, зашедшему в храм просто из-за дороговизны человеческой медицинской помощи, – тогда и твоя болезнь пройдет.

– Ко-о-орову? – удивлялся грек, – это за простой чирей на шее и корову?

– Зато, брат, как рукой снимет, – поддерживал жрец интересы своей доверительницы, – у нас, брат, масса благодарностей есть. Кухмистер из Эфеса нам пишет...

– Нет. Не выгодно. Корову за чирей... Статочное ли это дело?! А если у меня лихорадка будет, ты бабушку живую потребуешь...

– Иди к другим богам, – сердился жрец, – у Зевса дешевле... Они тебе за дохлую собаку целую чахотку пообещают выгнать...

– Да мне что идти... Мне бы так подешевле где. Хочешь, я теленка приведу?

– Мое дело маленькое. Богиня требует, не я...

– А что твоя богиня с моей коровой делать будет? Тоже... Богиня, подумаешь... Да такую богиню сандалией по ро...

– Ну, веди, веди теленка... Грек несчастный...

– Давно бы так... А то – богиня, богиня...

\* \* \*

Средневековье лелеяло второй вид взятки – с напоминанием.

– Напомни твоему господину, – говорил какой-нибудь рыцарь, слезая у придорожного замка, – что, если его замок подпалить с восточной стороны, это будет весело.

– Может, еще что-нибудь напомнить? – вежливо спрашивал привычный сторож, вынимая кусок пергамента и гусиное перо. – Я запишу.

– Напомни еще, что у рыцаря Шевалье Риккарда де Кардамона пустой желудок и пустой карман.

Слуга возвращался через десять минут, неся на вертеле кусок жареного барана и мешочек, снизу наполненный для тяжести железными опилками, а сверху прикрытый десятком потертых монет.

– Признает ли твой хозяин, что нет женщины красивее, чем прекрасная Мария Пиччикато дель Гравио ди Субмарина ля Костанья?.. Впрочем, это не важно. Дай-ка сюда мясо. И деньги давай. А вина нет? Ну, не надо.

Вассалы брали взятки пачками, с целых деревень. Иногда деньгами, иногда натурой. До сих пор еще не забыто, так называемое, *jus primaе noctis* – право первой ночи, которое вассалы рассматривали как свадебный подарок новобрачным.

\* \* \*

В России первую взятку потребовал Ярила. Это был простой, незатейливый чурбан, которому наши прародители мазали при всяком удобном и неудобном случае медом деревянные губы. Ярила был от этого липкий и сладкий. По ночам жрецы собирались целой толпой и, отгоняя друг друга, облизывали его до утра.

Мазали славяне очень нехорошо. Старались иногда незаметно помазать смолой, если поблизости не было Ярилиных служащих.

– Черт тебя знает, – сердились славяне, – полфунта сотового на тебя вымазал, а хоть бы что... Так и издохла корова...

Но мазать, из-за боязни осложнений с деревянным скандалистом, было необходимо. Особенно усердно мазали конокрады, потому что без Ярилиной помощи нельзя было украсть самой подержанной кобылицы.

С тех пор и осталось выражение: «нужно смазать».

В эпоху великих князей смазывали особенно усиленно воевод. Это были люди веселого и неуживчивого характера, с таким широким размахом и неиссякаемым интересом к чужому имуществу, что население вверенных им городов, в последний раз выразив свои лояльные чувства, само выходило на большую дорогу и начинало грабить.

Воевода с утра начинал обходить свой город, пытливо присматриваясь к быту своих подчиненных.

– Ай, Ивашка, друг, – останавливал он богатого горожанина, – ты здесь шляешься... А за что, почто ты, собачий сын, еще издали мне не кланялся, животом своим не подмел земли, свою шапочку распоганую не ломал ты, кошачий сын?!

Ивашка, будучи от природы человеком неглупым, приступал прямо к делу:

– Не гневись ты, свет-воеводушка... Ты прими от меня, сына блудного, эту курочку, эту уточку, да яичек еще три десяточка...

Воевода внимательно выслушивал это и ставил резолюцию:

– А и взять в тюрьму надо этого пса поганого, пса зловредного... К черту уточек, к черту курочек, да яички – ко всем чертям... Ты гони-ка сюда нам коровушку, да лошадушку, да...

– Ну, в тюрьму так в тюрьму, – прозаически решал Ивашка и шел к заплечным мастерам. Это были люди профессии, еще не подведомственной ремесленным управам. С Ивашкой они обращались так неосторожно, что, уходя из тюрьмы, он забывал там три пальца или одно ухо. После этого Ивашка надевал кумачовую рубаху, затыкал топор за пояс и резал купцов.

Когда Ивашкины потомки стали ходить в приказы писать жалобы, дело обстояло уже на более правильной расценке услуг.

– Прошеньице бы, – говорил Ивашка-внук писцу, – землицу у меня пооттягали.

– Тебе как: на алтын или на курицу написать-то? – деловито спрашивал писец. – Может, гусь есть – и на эту птицу можно. Особенно, ежели жирная она, птица-то твоя...

– Да мне бы так уж... Чтобы отдали-то... Землицу-то...

– Чтобы отдали? – удивлялся дьяк или писец, – ты вот что хочешь... Это, брат, коровой пахнет...

Ивашка-внук думал, раза четыре бегал советоваться с близкими людьми, искал писца победнее и наконец приходил решительный и тороватый.

– Пиши, черт старый, на пару с санками... Так, чтобы дух из них вышибло, сразу чтобы отдали...

Когда дело попадало в суд, Ивашкиному благосостоянию наступал конец. Его, как гражданского истца, конечно, сажали сначала в подвал. Выдержав там известное время, достаточное для перехода его недвижимого имущества в полную собственность судейского персонала, его выпускали в качестве свидетеля по собственному делу и, перед процессом, некоторое время пытали. Если Ивашка оставался жив, его оправдывали и снова сажали в тюрьму; если он не выдерживал, его тоже оправдывали, а присужденную землю судьи брали себе.

В этом случае Ивашка, по истории русского права, назывался повытчиком, от слова «выть».

В эпоху петровских времен взятки брали осторожнее и сразу перешли на деньги, хотя в отсталой провинции брали еще всем, что можно было довести, донести, проволоочь или догнать до официальных учреждений.

В то время все помещики тягались. За что – этого никто не знал, но помещика, который бы не тягался с другим из-за чего-нибудь, все переставали уважать.

– Приметно, государь мой, – говорили тяжущемуся помещику чиновники в платьях немецкого покроя, – что достаток имеете немалый.

– Именьишко худое, деньжишки мелкие, – начинал плакаться помещик. – Серебра – только чайная ложка... Ее бы подарить кому-нибудь, да не знаю – кому...

Чиновники сейчас же придирались к слову.

– На сие мудрецом одним франкским сказано: «Сухая ложка рот дерет». Оную смазать надлежит.

\* \* \*

...Самым тяжелым видом взятки, как я уже сказал раньше, надо считать третий – без угроз и

напоминания, наиболее частый в последний период русской жизни.

– Видите ли, я хотел бы, чтобы эта бумага...

– Не могу-с

– То есть даже не то, а чтобы...

– Не могу-с.

– Я, собственно...

– Не могу-с.

Оторопевший человек, которому нужно получить бумагу во что бы то ни стало, растерянно оглядывается по сторонам, краснеет и начинает гибнуть на глазах у окружающих.

– Разрешите мне только передать вам эту бумагу...

– Не могу-с.

– У нее в середине копия. Зеленая.

– Не могу-с.

– Синяя.

– Знаете ли, не могу-с.

– Красная, черт возьми...

– Красная? Гм!.. А вам что, собственно, угодно?

\* \* \*

Историю взятки писать очень трудно. Немыслимо описывать состязание двух лошадей, когда обе только что пущены со старта. А взятке до своего предельного пункта еще очень далеко. Мы только еще Ивашкины внуки и только можем описывать взятки в России, как хроникеры текущих событий. Быть может, какой-нибудь Ивашкин правнук напишет эту историю не только сначала, но и до конца... У нас, к сожалению еще нет морального права написать одно маленькое слово в неиссякаемой истории взятки в России: конец.

1915

Голубь мира

Американский миллионер Форд выехал в Европу мирить враждующие стороны. Из газет

– Вильямс, мне скучно.

- Может быть, мистер Форд пожелает посмотреть, как лучший хирург в стране прививает за две тысячи долларов мышинный тиф лучшему в стране слону?
- Видел. После зарежете этого слона, нафаршируете его лучшей в стране венской мебелью, и пусть об этом будет напечатано в газете.
- В лучшей газете, сэр. Две тысячи долларов лучшему в стране репортеру.
- Дала ли ростки финиковая пальма, которую третьего дня посадили у меня под кроватью?
- Колеблется, но дает ростки, сэр.
- Что об этом говорят в обществе?
- Говорят, что лучший в стране миллионер Форд неистощим на лучшие в стране выдумки. Две с половиной тысячи долларов.
- Кому, Вильямс, кому?
- Лучшему в стране обществу за циркулирование среди него этого мнения.
- Мне скучно, Вильямс. Пусть мне вставят лишний золотой зуб.
- Лучший в стране, сэр.
- Вильямс, у меня блеснула идея.
- Алло! «Нью-Йорк тайме?» Редакция? Две тысячи долларов! У миллионера Форда блеснула...
- Не для этого. Пусть это останется между нами и миром, если вы так хотите... Я хочу мирить воюющие страны.
- Лучшие в стране державы, сэр?
- Я хочу помирить союзников. Закажите пароход.
- Прикажете запрячь лошадьми для города или океана?
- Океана.
- Лучшего в стране океана. Есть. Пароход готов, оборудован и в нетерпении дожидается сэра.
- Обставьте его.
- Лучшие в стране горничные в бархатных платьях, матросы с университетским образованием, штурман – маркиз старого рода, в трюме произведения великих художников, мебель из воробьиной кожи, платиновые подмостки, старые испанские сигары в серебряных зубах у провожающих...
- Именно. Еду через восемь минут шесть терций.
- Алло! Редакция? Известный миллионер Форд, который известен тем, что...
- Вильямс, это Гаага?
- Лучшая в стране Гаага. Лучшие в стране мирные конгрессы.

- Вильямс, где восхищенная толпа, приветствующая голубя мира?
- Восемь тысяч долларов.
- И только одна старуха, просящая еще полдоллара на что-то?
- Жадная, сэр. Должно быть, все взяла себе и не предупредила.
- Вильямс, похож я на голубя мира? Может быть, я неправильно держу пальмовую ветку?
- Лучший в стране рот и лучшая в стране ветка.
- Может быть, у меня крылья нехорошо привязаны?
- Лучшие голуби в стране плакали от зависти.
- Странно... И никакого впечатления.
- Ваше превосходительство, там какой-то человек крыльями хлопает и вас просит.
- Смотри, как бы план укреплений еще не снял.
- Никак невозможно, палочка с листьями во рту, головой трясет и мычит.
- Проси. Честь имею...
- Сэр, лучший в стране полководец! Разрешите вынуть палочку изо рта? Миллиардер Форд!
- Мне некогда, простите.
- Я приехал мирить Европу.
- Может, после войны зайдете? Сейчас все так заняты, так заняты...
- Я уеду, только помилив Европу. Сто тысяч лучших в стране долларов.
- Сержант, отведите господина в офицерское собрание, там есть свободные люди.
- Вильямс, что пишут обо мне их газеты?
- Вами занята вся нейтральная пресса, сэр. Вот статья в большой влиятельной газете.
- Время – деньги. Только – заглавия.
- «Веселый старик. Редкий случай слабоумия. Человек, которому нечего делать. Американская обезьяна. Лбом о стену. Что смотрит полиция? Идиот».
- Вильямс, мне что-то не хочется мирить.
- Слушаю, сэр.
- Уложите крылья. Не погните их в чемодане. Веточку можно оставить в Гааге. Через шесть минут и...
- Пароход дожидается.
- Вильямс... Да это Нью-Йорк... Что это за толпа на берегу?..
- Восхищенная толпа. Каблограмма. Две тысячи долларов.



– Прекрасно. Даю вам шесть суток отпуска на окончание Бруклинского университета.

– Слушаю, сэр.

– А что мы будем делать, когда приедем, Вильямс? Мне уже становится скучно. Что у вас приготовлено на будущую неделю?

– Надевание лебединого оперения на граммофон, сэр. Прививка бешенства лучшему в стране бильярдисту, сэр. Визит к стальному королю на дрессированных... Сэр изволил задуматься?

– Ах, да... Продолжайте... В конце концов я все-таки их когда-нибудь примирю...

1915

О тихо голодающих

(Силуэты)

Как и перед всяким человеком, жизнь ставила передо мной много выборов и исходов. Приходилось бросать близких людей, милые места, родную работу; проходило сравнительно немного времени, и царапины на сердце рубцевались и заживали. И только один жизненный выбор остался и, наверное, останется навсегда у меня в памяти.

Я стоял в ноябрьский вечер в легком и обмахренном студенческом пальто перед ярким окном колбасной и соображал, что лучше: купить ли мягкую плотную булку, кусок тепловатой колбасы и баночку горчицы или пойти на эти деньги в кинематограф. Голова устала за день, и хотелось есть. Все-таки пошел в кинематограф: кто никогда не волновался перед тем, как сунуть в окошечко кассы полтин-квик, тог не знает, как хороши и вальсы аккомпаниаторши, и тяжелая драма, и приключения полотняного героя, которому все наступают на ногу.

...Я часто вспоминаю этот вечер, когда при мне начинают говорить о голодающих. Действительно, их много, но почему-то меньше всего говорят о тех, кто не кричит о своем голоде, а робко прихлопывая его посаженной набекрень смятой фуражкой, осторожно несет его в ноябре в легкой шинели, а дома, подстригая хозяйскими ножницами несимметрические лоскутки материи, вылезавшие из разных мест, трущихся при ходьбе, совсем забывает о нем.

Я не люблю призывать к благотворительности. Очень стыдно за тупость ближнего, когда ему приходится доказывать то, что он понимать обязан. И все-таки, когда на улице холодно, когда кухарка издали ворчит на кухне, что на базаре ее ограбили продавцы, когда, действительно, домашний обед начинает казаться прожиганием жизни, – вспомните иногда о тихо голодающих людях в студенческих пальто...

\* \* \*

Родители вообще страшно консервативны. Теперешний податной инспектор маленького провинциального городка хорошо помнит, как он жил студентом.

– За пять рублей комната, – сладко делится он воспоминаниями за вечерним чаем, – хоть манеж устраивай... А как кормили за восемь рублей... На четвереньках от стола ползешь...

Ну, на удовольствия там... и на все десять рублей. Все-таки человек молодой, повеселиться можно...

По такому подсчету у его сына бесменно должно оставаться еще два рубля, отчет о которых он может испрашивать каждый раз, когда его потомок приезжает домой.

– Балую я Володьку, – со вздохом говорит такой человек, посылая сыну четвертную, – транжирит там...

Когда сын медленно, но верно начинает высчитывать в письмах, сколько раз ему на день приходится ездить на трамвае, провинциальный родитель хмуро возмущается.

– В каретах Володька разъезжает... Мать избаловала... Ему, видишь ли, рубля в месяц на проезд не хватает... Шансонетку, наверное, шалолая, подхватил... Знаю я их... Тут, конечно, и сорока рублей в месяц не хватит...

Если Володька не приезжает на праздники домой, ему высылаются корзинка с сухарями, телячий окорок и шесть рублей деньгами.

«Нужно все-таки мальчишке, – ласково думает отец, – одному швейцару гривенник, другому швейцару гривенник... Так и наберется. А на остальные в театр сбегает. Обрадуется, негодяй, деньгам, в первый ряд полезет...»

И если почтальон в течение недели ходит мимо занесенного снегом флигеля, рождается глухое недовольство.

– Не пишет... Так я и знал: пошли ему деньги – сейчас же завертится... Цену деньгам не знает...

\* \* \*

Это неправда, Володька, розовый, вихрастый, недоедающий, знает им цену. Получив деньги, он запирается в комнате и начинает высчитывать:

– Хорошо, двадцать пять... Двенадцать хозяйке, ну, девять, предположим, обеды... Сорок копеек должен... Четыре рубля мелочи... Три рубля на всякий случай... Два да девять – одиннадцать да четыре... Один... Пять в уме... Нет, не так... Предположим... Три в уме...

Три или пять всегда остаются в уме. Можно не отдать сорока копеек долга, а в воскресенье уходить обедать к знакомым. Тогда останется четыре в уме. А все-таки останется.

Конечно, приходится отказаться от приемов. Завтра обещалась прийти Варя из Пермского землячества и, конечно, ежедневный гость Пулакин. Принять даму без запаса пиленого сахара, баночки черносмородинного варенья и хоть полфунта сухарей – неудобно.

– Сорок, да сорок, да двадцать четыре... Да Пулакин курит и своих папирос не приносит... Итого рубль двадцать восемь копеек... Деньги не велики. Что касается кашне, то от него и отказаться можно. Открытое горло – это даже красивее... Бриться только чаще надо. Впрочем, у Пулакина бритва есть, ремешок можно попросить у его братишки...

Отказаться от приема Вари трудно. Если бы это была Данкина, дело обстояло бы легче. Можно сказать, что он не любит женщин и вообще презирает толпу, это только поднимет его в глазах Данкиной, вызовет обостренный интерес к нему. А рубль может остаться. А Варю нельзя не принять. Правда, идеал женщины – это высокая брюнетка с глубокими черными глазами, думающая о самоубийстве, но все-таки Варя... Ходил же он два раза на публичные

лекции о правах материнства и торговом договоре со Швецией, чтобы постоять рядом с Варей в проходе, оберегая ее демонстративно высунутым локтем.

– Нет. Варю принять надо. В конце концов, если говорить по правде, сколько ученых говорят, что два-три дня посидеть на растительной пище не вредно, а, наоборот, укрепляюще действует на нервы. Конечно, растительную пищу найти трудно, но чай с булкой ничуть не хуже растительного. Варю принять надо. Даже Данкину пригласить надо. Пусть Варя лично убедится, как он умеет обращаться с женщинами, даже вешающимися на шею.

\* \* \*

В прошлом месяце его постоянная привычка увлекаться окончательно подрезала его расчеты. Конечно, он мог сам догадаться, что Никурина пустая женщина и ищет только светских развлечений и что, приглашая в театр даму, нужно быть готовым ко всему, но этого он не ожидал никак. Оказалось, что Никурина гулять не любит, и за два шага от театра пришлось, не торгуясь, брать извозчика, за простую плитку шоколада в буфете, вызвавшую искреннее и веселое недоумение, в театре берут то, что хотят, а извозчик, – кажется, первый извозчик у театрального подъезда, на долю которого достается самый беззащитный из выходящих зрителей, – довезя его с Никуриной до дому, потребовал такое несоответствующее вознаграждение за свои услуги, что Володя долго и хмуро думал о том, как он будет адвокатом и откажется от защиты первого же подсудимого, если у него в роду был кто-нибудь извозчиком.

Хозяйка возмущалась тоже.

– Ну, пять дней могу ждать, а восемь, да еще получить без четырех рублей – извините. У меня брильянтовой лавки нет, чтобы квартирантов даром держать...

Конечно, какао по утрам гораздо питательнее, чем чай, но раз его нет, человек от этого не погибает. Не погиб и Володя. А платить по два рубля за банку да молоко еще каждый день, – в конце концов, мотовство очень неумный порок.

\* \* \*

Ни один отдыхающий миллионер не обедает так долго, как студент в университетской столовой.

– Товарищ, это к чему очередь? А, к первому. Спасибо.

В течение времени, какое нужно простоять перед кассой столовой, чтобы получить билетик, можно спокойно пообедать, прочесть газету и подумать о вечернем чае.

Билетик получен. Теперь нужно захватить тарелку, нож, вилку. Здесь очередь сравнительно небольшая. Семнадцатый. Приходит через шесть-семь минут. Потом очередь у пищи. С горячей тарелкой, из которой при каждом толчке выплескивается жидкий, нежно-синего цвета, суп, обладатель сокровища долго обходит занятые, с непомерной густотой населения, столы. Садится, быстро проглатывает и начинает с молодой беззастенчивостью лгать окружающим.

– Я, знаете, черный хлеб – во как люблю... Тарелка супа и шесть кусков... Правда... Даже сейчас седьмой возьму. У меня какое-то тяготенье к демократическим кушаньям...

В это время мысль работает неуклонно и тупо: «Второе – девять. Если взять чай – еще четыре копейки... Сегодня, наверное, придет Пулакин. Значит, нужно снова покупать белого

хлеба... Подумаешь – второе... Нужно оно кому-нибудь...» Через шесть минут после выхода из столовой на улицу в нос обидно и больно ударяет струя теплого, сладковатого пара из булочной, куда кто-то вошел, оставив дверь на полминуты открытой.

«Собственно говоря, – соображает человек, запрятавший красные руки в карманы, – домой можно дойти пешком... Все равно прогуляться...»

Конечно, выбрать наиболее привлекательное из мучных прелестей и заплатить за них тридцать копеек не трудно, но как нужно глубоко засунуть под пальто пакет с теплыми булками, чтобы они в течение сорока минут не успели окончить и потерять своей первобытной прелести.

Вы знаете, что такое испытывать на себе взгляд сытого и доброго человека, который угадал, что вы сегодня не обедали?

– Я? Нет, спасибо... Сыт, сыт... Только что... гуся ел. Да, да, уверяю вас, жирный такой... Потроха там и все...

– А мы как раз обедать... Может, все-таки пойдете? Агаша, подали? Хорошо. Идемте, молодой коллега...

Молодой коллега собирает всю силу воли и с дрожью в голосе отказывается.

– Да нет, уверяю вас... Так сытно... так сытно...

– Может, все-таки пошли бы?

– Помилуйте... Я так сыт. Вы не верите?... Честное слово... Прямо не знаю, как от стола встал...

Странно – обеспеченный человек, даже не обжора, редко заставляет себя упрашивать. Он идет вместе со всеми к столу и медленно ковыряет пищу. Испортит котлету и останется доволен. И вы довольны, что гость нестеснительный.

Попробуйте позвать обедать студента, которого вы вызвали по объявлению для переписки какого-нибудь доклада. С августа месяца он не ел домашнего борща и утки; во время своего глухо произносимого отказа он уже переживает свой будущий рассказ приятелям о том, как его закармливали в доме одного буржуя, – но не идет.

\* \* \*

Может быть, вы обратили внимание, как разговаривают с конфузливymi и робкими студентами швейцары. Если такой неудачник оставляет свои галоши внизу, в швейцарской, спустись обратно, он находит их непременно в стороне от других. Он долго ищет их в общей груди. Швейцар упорно молчит, погруженный в чтение газет.

– Вы не видели ли... – робко обращается к нему студент.

– Кого-с? – не отрывая глаз от газеты, спрашивает швейцар.

– Галоши, вот тут оставил...

– Рваненькие такие? Тут-тут...

Ноги не попадают быстро в галоши. Тем более что мокрая газетная бумага, заложенная в носок одной из них, выкатывается грязным клубком, и ее надо запихивать туда пальцем.

Швейцар солидно встает и открывает дверь. Как муха на последнем волоске паутины, жертва в рваных галошах глубоко засовывает руки в карман, с целью вывернуть оттуда вместе с носовым платком и спичечной коробкой маленький гривенник.

Гривенник при ближайшем рассмотрении оказывается пятиалтынным и молчаливо тонет в хищной руке.

– Покорно благодарим.

И когда захлопывается дверь и резкий снег ударяет по лицу мокрой щечкой, бывший обладатель пятиалтынного хмуро подымает плечи и тяжелым вздохом вырывается из него:

– Свинья... Заелся...

\* \* \*

Очень жалко, если вы не проходили этого испытания, тогда целую жизнь вы осуждены на домашние ссоры из-за обедов, холода в комнате и на искреннее страдание из-за ветхости костюма.

1915

О древних остряках

(Юмореска)

Меня ни капли не удивляет, что остроты древних людей сохранились более продолжительное время, чем остроты людей последних столетий.

Происходило это главным образом потому, что острили исключительно владыки, суровые полководцы и начальники городских гарнизонов, причем каждый из этих остряков обладал широкой властью повесить всех, кому его острота не казалась особенно удачной.

– Мне кажется, Лупиций, – сурово спрашивал такой остряк одного из своих приближенных, – что ты даже не улыбнулся?

– О нет, повелитель, я искренне засмеялся раскатистым внутренним смехом, – оправдывался испуганный Лупиций, – я просто боялся показаться тебе нескромным.

– А ты в следующий раз не бойся, – еще суровее предупреждал его влиятельный остряк, – а то ведь кое-кого и повесить можно. Чин у тебя не такой уж большой.

Вполне понятно, что тот же Лупиций при первых попытках своего непосредственного начальства состричь, уже заранее падал на пол, ссылаясь на колики в животе от смеха, катался по мраморным плитам, пока не докатывался до бассейна или входных дверей.

Только через десять минут он начинал приходить в себя и мрачно шептал:

– В следующий сезон буду выбирать себе повелителя, у которого часто умирают маленькие дети и с застарелым катаром легких. Такой много остричь не станет.

Вполне естественно, что тот же самый Лупиций и его товарищи по положению расходились

по домам, заучивая па ходу остроту наизусть, чтобы на другое утро каждый каменотес, выходя на работу, кричал на улице:

– Изумительно смешно! Только близкий родственник бессмертных богов мог выдумать такой каламбур: «человек, который может держать свой меч в руках, должен помогать своему дяде». Прямо даже изумительно...

Из-за каждой такой остроты древнего владыки немало людей теряли головы где-нибудь около городской задней стены у небольшого, но глубокого рва.

Ею нужно было пользоваться страшно умело.

В порыве самовосхваления по поводу неудач врага владыка острил:

– О, Ксиропос, это очень большой и тяжелый камень, который трудно сдвинуть с места!

Приближенные заучивали остроту наизусть и повторяли ее при всяком удобном и неудобном случае: при докладах о новых рыбах, появившихся у берегов, в передаче городских сплетен, при приносе новых сортов вина. Владыке это очень нравилось, пока во время одной из попоек владыка напивался пьяным и требовал, чтобы его несли навстречу восходящему солнцу, с которым он, как его подобие на земле, хочет переговорить об очередных делах.

– Почему же вы меня не берете и не несете? – изумленно спрашивал владыка приближенных, старавшихся незаметно удрать из комнаты.

Тогда один из них, большею частью близко стоявший и первый подвернувшийся под руку, в смущении начинал лепетать:

– О, Ксиропос, это такой большой и тяжелый камень, который прямо-таки невозможно...

Головы он и его друзья теряли быстро, сами даже не замечая, до чего это быстро делается. В этой области и тогда уже техника была на высшей ступени своего развития, как теоретического, так и практического.

Но все это не так уже странно, как странен выбор времени, в какое имели обыкновение острить древние люди. Современный человек, если он трезв и нормален, в редком случае ходит острить на место крушений товарных поездов, в дворянские богадельни или к трупы пойманного в воде сельской стражей утопленника. Для этого у нас есть другое время и другие места: премьеры пьес наших друзей, антракты вагнеровских опер и, наконец, собственная квартира, куда уже перестали ходить гости.

Древние люди, наоборот, выбирали самые неподходящие для этого места. Просматривая исторические анекдоты и сборники остроумных изречений, постоянно наталкиваешься на такие немного странные факты.

«Персидский полководец Фурис, будучи разбит греками и умирая от жажды около высохшего ручья, заметил:

– В первый раз в обеденное время я хочу только чистой воды.

У спартанского трибуна Галитакса был очень острый язык. Так, когда его вели к виселице, он, улыбаясь, заметил:

– Ведите, ведите... сам я еще не изучил дороги к этому месту.

Философ Темоклит, присутствуя у одра умирающей любимой жены, заметил соседу-виноторговцу:

– Умиравшая жена схожа со старой сандалией – чем скорее ее потерял, тем скорее можно достать другую».

Конечно, во мне не живет душа римского легионера или персидского полководца, что вполне естественно, и, быть может, промежуток в два десятка веков мешает мне понимать психологию древних остряков, но я никак не могу представить себе позыва к остроге в тот самый момент, когда чувствуешь, что факельщики недаром прохаживаются около парадного входа, или в то самое время, когда человек лежит в овраге, а враждебно настроенные греки совещаются наверху, чем его убить – камнем или тупым мечом.

Я не встречал ни одного исторического анекдота с остротами древних людей, который хотя бы начинался более или менее мирной бытовой фразой:

«Когда подали разварную форель, финикийский посол полил ее соусом и сказал...»

Даже произнесенные за обедом остроты как будто сами находили подходящий момент в стиле древней веселости:

«Когда подали мясо молодых перепелок, Глициний, насыпав яд в чашу своего соседа Сутарха, с улыбкой произнес:

– Я щедрее твоего отца, Сутарх: он невольно подарил тебе жизнь, а я добровольно дарю смерть. Прими и выкушай».

Сутарх выкушивал, так как не в привычках древних людей было отказываться от вина, что бы в него ни было наболтано, и молчал до тех пор, пока у него в животе не начиналась резь, дурно влияющая на организм и спокойствие нервов.

Только при этих верных признаках начинал острить и Сутарх. Всматриваясь в лица окружающих мутными уже глазами, он начинал ловить воздух руками и мрачно хрипел:

– Твое вино, Глициний, похоже на топор. Его тоже нельзя принимать внутрь.

– От собаки и слышу, – спокойно отвечал Глициний и посылал за носилками.

Я совершенно сознательно упускаю известный всем рассказ о Нероне, который ухитрился сострить по поводу театра в тот самый момент, когда представлял собой только футляр для собственного меча.

Не могу утверждать, но думается, что в древнее время, судя по этим данным, острить в более спокойных случаях считалось просто моветоном.

– Дикий этот Куплий, – говорили степенные римляне, – поел, вышел на солнышке греться, так ведь нет того, чтобы попеть что-нибудь или уснуть до вечера: острить начал. Точно не знает, что завтра похороны двух сенаторов и специально надсмотрщики будут записывать все остроты почетных граждан...

Впрочем, все это, конечно, об остротах именитых и влиятельных древних людей. Весьма возможно, что плебеи и африканские рабы острили при самых обыденных обстоятельствах, но их остротам не суждено было стать историческими.

Они, наверное, продали их своим господам по сестерции за штуку, а если обиженное авторское чувство начинало волновать рабью душу, – темными ночами они подбегали к домам новых владельцев их острот и, сумрачно сжав трудовые кулаки, вдохновенно шептали:

– Подавись ты моей остротой... Сам ее на галерах украл...

## Искусство портить бумагу

Когда-то в большом древнем городе таким людям жилось очень легко и беззаботно. О них говорили кратко и с большим уважением:

– Это наш городской красавец.

– А что он у вас делает? – спрашивал любопытный иностранец.

– Тем и живет. Больше ничем не занимается.

И всем было понятно, что человек, одаренный красотой, должен целый день шляться по общественным местам и услаждать взоры туземцев от девяти утра до двенадцати ночи.

За это его кормили, поили, снабжали деньгами и одобрительно похлопывали по левому плечу.

Когда прошло выгодное древнее время, с местных красавцев стали брать такие же, как и со всех, городские налоги, заставляли их работать на пристанях, выкидывали из квартир, а красоте их придавали оправдывающее значение только пожилые и обеспеченные вдовы.

Тогда их место заняли поэты. О них сначала говорили робко и почтительно:

– У него в душе огонь.

Поэт являлся узаконенным двигателем внутреннего сгорания, бездельничал, подбирал слова с одинаковыми окончаниями и без заранее преднамеренного значения и вызывал общие симпатии, как цыпленок в сухарях на обеденном столе.

Каждый век делается суше и суше, как институтка, вышедшая замуж за ростовщика. Поэты падали в цене с исключительным успехом.

Если в XVII веке при входе поэта в зал, где пожирался торжественный обед, к нему навстречу выходил сам хозяин, то в XVIII веке уже при появлении поэта не подымался никто, кроме сурового мажордома с готовым предложением на устах прийти завтра. Уже тогда во дворцах вельмож поэты были заменены густопсовыми гончими, содержание которых обходилось значительно меньше и давало больше развлечений. К поэтам стали относиться почти с неудовольствием.

В наше время ото почти пренебрежительная кличка.

Если деловой человек; нанимает конторщика и последний, вместо очередной работы, сидит за столом и хлопает губами, путает цифры и опаздывает на четыре часа в сутки, – прежде, чем назвать его идиотом, деловой человек непременно вежливо предупредит:

– Что это у вас за поэтический вид... Волосы в разные стороны... Книги запущены... И жалованье за два месяца вперед. Я вас не для лирических стихов пригласил, а прошнурованную и пронумерованную книгу вести.

И, наконец, стихи не только перестали читать, что сделано своевременно, – их почти перестали даже печатать.



Тогда поэты стали прибегать к такому способу воскрешать доброе старое время: сейчас выкопаны все старые формы стиха.

Взгляните на любой номер литературного журнала и вы увидите: газеллу, сонет, триолет, стансы, романсы...

Газеллы пишутся сейчас приблизительно так:

Газелла

Только вечер упадет – я приду.

Солнце яркое взойдет – я приду.

Ты помедлишь и уйдешь – я приду.

Ты меня не позовешь – я приду.

Пусть умру, тебя любя, – я приду.

Пусть приду к тебе, умря, – я приду.

Ты уснешь, тогда во сне – я приду.

Ты обрадуешься мне – я приду.

Современным поэтам кажется, что стих газеллы точно соблюден, если к концу приставить одинаковое слово.

Критикам, особенно пишущим в конце газеты, перед биржевым отделом, это кажется очень стильным и вызывает с их стороны массу восторженных одобрений.

Сонет понят современниками как что-то очень тягучее, короткое и скучное, вроде кусочка вареного мяса, попавшего в дупло зуба. Поэтому сонеты, которыми пестрят журналы, пишутся именно по этой системе.

Сонет

Прекрасен запах девственных лесов.

Лесов – да, девственных, прекрасен очень запах.

Там в лапах темноты горят глаза у сов,

Да, темнота – лежит в совиных лапах.

Кто в лапах у совы? Лесная темнота.

Лесная темнота у хищной этой птицы.

А чьи блещут глаза? Сии глаза крота,

Глаза глухой змеи, лягушки и волчицы.  
Прекрасен запах девственных лесов,  
И вынюхать его не в состоянии птицы,  
Хотя блестят глаза у хищных черных сов,  
Но нюхают его волчицы.

Современный сонет по своему унынию страшно смахивает на прошение о разводе, поданное в консисторию провинциальным учителем чистописания.

Не более веселы и стихотворные переводы – тоже один из способов старого поэтического развлечения.

Один из крупных наших поэтов помещает во всех газетах и журналах переводы со всех национальностей, населяющих Россию.

Каждая национальность, даже не имеющая своей литературы, не избежала этой печальной участи. Оказывается, что все поэты пишут одинаково.

Из армянских настроений

Под небом Армении

Цветут цветы,

Но тем не менее

Там – я и ты...

Не разнообразнее и молдаванская поэзия в переводе нашего маститого поэта:

Под небом Молдавии

Растут цветы.

Сказать все же вправе я:

Там – я и ты.

Недалеко отошла от этого и башкирская поэзия:

Под небом Башкирии

Цветут цветы.

Счастливы в этом мире я,

Счастливы и ты.

Охотно пишу в настоящее время и старые романы. Пишущие думают, что от них веет хорошей стариной, и поэтому любовно вставляют туда слова старого обихода для запаха.

Романс

Нависала с неба балюстрада

Над крылами нежных клавесин.

Выходила тихая мансарда.

Доедать последний апельсин.

После этих первых же вступительных строк любой из современных критиков отзовется тепло и ласково об авторе их:

– Современность давит своим ужасом. И вот душа поэта рвется к

пыли дедовских усадеб...

Почему, в конце концов, критику не похвалить, когда его тоже никто не прочтет?

\* \* \*

Нет, теперь писать стихи очень легко. Но читать их очень трудно.

1917

Первый начавший

(Исторический рассказ)

Это было в 1341 году, в тот самый день, когда барон Дюбуа, вернувшись в свой фамильный замок, вызвал к себе младшего церемониймейстера и сказал ему:

– Собака.

Церемониймейстер Вамо был очень обрадован. Когда барон и владелец громадного замка двадцать четвертого декабря называет своего подданного собакой, это значит, он собирается повесить его не раньше, чем к новому году. Остается в запасе еще целая неделя, в течение которой можно прекрасно провести шесть дней, вырастить несколько бочонков со старым

бургонским, а на седьмой день поджечь замок и перейти к новому владельцу.

В то время люди рассуждали логично, жили бесхитростно, и когда соседи видели, что горит замок их знакомого, они прекрасно понимали, что все это пустяки, результат мелких неурядиц в большом хозяйстве. Быстро собравшись, они грабили остатки имущества, развозили их на подводах к себе, а после за стаканом украденного вина обсуждали происшествие.

Быстроте событий сильно помогали так называемые странствующие рыцари – молодые беспаспортные люди без определенных занятий, которые ездили мимо замков. Если во время поджога кричал хозяин – они вешали его, если особенно шумели слуги – они вешали слуг. На суде их спрашивали о причинах таких поступков.

Каждый из них называл имя любимой женщины и доказывал, что все сделанное им должно служить прославлению ее имени.

Присяжных заседателей не было – оправдывать было некому, а так как рыцари судились в полком вооружении и даже часто привязывали к скамье подсудимых и своего коня – никто не решался их обвинять. Дело кончалось просто анекдотом, который главный судья рассказывал своим помощникам, а рыцарь, заняв у конвойных несколько золотых монет и щетку для брони, уезжал дальше.

Это было и в будни и в праздники. Не исключались и рождественские дни.

Поэтому-то на первый день рождества все соседи с утра уже стали забегать на двор к Дюбуа и советоваться с Жаком Вамо, в какие часы он собирается поджечь замок, чтобы им не опоздать со своими подводами.

Решили, что лучше всего отложить это торжество на вторник – самый свободный день во всем округе, так как в остальные дни крупные бароны пили у себя в замках, их приближенные около замков, а крестьяне в поте лица работали на полях и не могли мешать.

Жак Вамо проснулся во вторник в прекрасном расположении духа; он потер руки, подмигнул своему приятелю конюху на замок и сказал:

– Жечь, брат, буду.

Конюх равнодушно зевнул:

– Жги, не мое... Только начинай раньше, а то я в восемь лягу спать.

– Да уж я товарища не подведу. Когда нужно, тогда и начну.

Но, как бывает и теперь, не все обещания исполнялись и в средневековье.

В тот самый момент, когда пьяный Жак Вамо собирался раздуть легкий костерок, аккуратно разложенный им под высоким дубовым крыльцом, к воротам замка подъехал верхом на лошади какой-то молодой человек в белых перчатках и, изящно согнувшись, спросил:

– Господин Дюбуа дома?

Привратник, старый человек, который до того изодрался в частых боях, что даже за собственной кошкой гонялся по утрам с мечом и большой дубиной, обомлел.

Такое обращение было слишком неожиданно. Старый человек привык, чтобы молодые люди, подъезжавшие к замку, начинали объяснять свой приезд приблизительно так:

– Где та старая гнилая лиса, спрятавшаяся в этой норе, которой ни я, ни мой батюшка, граф

Петон, еще не успели оторвать голову?

У этого молодого человека не было даже шлема. Привратник замялся и нерешительно сказал:

– Дома. А тебе зачем?

– Скажи, что я пришел его поздравить с рождеством.

– А зачем? – похлопав глазами, спросил привратник.

– Я познакомился с ним еще в третьем году у своего батюшки и хочу соблюсти необходимый долг вежливости.

– Ну, хорошо, ну, я скажу, – продолжал еще недоумевать привратник, – ну, он выйдет к тебе... Чем же ты ударишь его по голове, когда он подойдет?

– Я приехал не за этим. Я же тебе сказал, что заехал с визитом.

Старику понравилось это бесстрашие и, по-отечески, сплюнув на сторону, он предложил:

– Все-таки, хочешь, я тебе дам одну новую дубину, которой я ночью отгоняю мух, а днем бью волков, – она тебе может пригодиться...

– Иди, иди, старина...

Весть о том, что какой-то человек приехал с визитом, переполошила весь замок. Несмотря на седые волосы и рыжую сорокапятилетнюю дочь, барон Дюбуа побледнел и послал пажа предупредить баронессу в ее половину, чтобы и она побледнела, так как дело из ряда вон выходящее.

– Может быть, прямо бросить его в подвал? – предложил пьяный Жак Вамо, живо заинтересовавшийся происшествием.

– Опять же и собаками хорошо потравить, – вмешалась старшая дочь, любившая молодых людей вообще.

– По всем приметам это граф Петон. Это человек с голубой кровью. Он не опозорит моего дома, если его даже выбросить из окна моей столовой.

Совещались долго.

Молодой человек скинул плащ на руки привратника и пошел к замку. В те времена, когда каждую свою вещь оберегали даже от любимой женщины, такой поступок еще более ошеломил привратника. Он взял плащ, вытянул вперед левую руку и, сделав ее неподвижной, повесил плащ на два пальца. Дальше мне некогда будет заниматься этим удивленным и, в сущности, добродушным человеком, но я не могу не упомянуть, что в течение двух часов он не менял своей позы.

– Здравствуйте, – весело сказал граф Петон, появляясь в зале замка, – имею честь поздравить дорогого хозяина, дорогую хозяйку и дорогое семейство с днем рождества

Гробовое молчание было ответом на эту краткую и сильную речь.

Не смущаясь, молодой человек закинул ногу за ногу и продолжал:

– А погодка сегодня великолепная. Как вы находите?

– В такую погоду твоего бы отца, тебя самого бы да еще... – начал было хозяин, но вдруг спохватился и добавил: – Н-да... Погодка великолепная...

– Где изволили встречать рождество? – вежливо осведомился гость.

– А тебе какое де... Дома встречали... Семейей, так сказать...

– Весело изволили провести время?

– Весело.

– Думаете дома пробыть праздники?

– Дома.

– Так-с... Великолепная сегодня погодка.

– Да что ты со св... Ага, так, так. Великолепная.

Домочадцы, приободрившись и почувствовав, что ожидаемого смертоубийства не предвидится, выползли в зал и даже приняли участие в разговоре.

Чувствуя, что необходимо быть любезным, хозяин осторожно откашлялся и предложил:

– Может, по кувшинчику вина выпьем?

Обычный средневековый гость обиделся бы и заорал, чтобы только на одну его долю притащили бочонок, а кувшинами могут пить собаки, но этот молодой человек только вежливо поклонился и прибавил:

– По бокальчику можно.

Он действительно выпил только бокал вина, пожевал кусочек бычьего хвоста, еще несколько раз напомнил о погоде и встал, даже не дав себе времени напиться пьяным и испортить большим ножом жареного барана, что требовал этикет того времени.

Уходя, сунул привратнику большую медную деньгу, сел на лошадь и уехал. На скорую руку Дюбуа собрал семейный совет.

– Мальчишка или глуп, или высматривал, что можно стянуть у меня ночью во время нападения из стеклянных дверей, которые теперь очень дороги.

– Неправда, – заступилась мадам Дюбуа, – он так увлекательно говорил о погоде, что мне захотелось второй раз замуж.

Старшая дочь поддержала матушку, находя, что такого молодого человека, который бы скакал триста восемнадцать верст верхом только для того, чтобы рассказать людям о погоде и напомнить о празднике, надо искать днем с огнем.

Весь замок наполнился слухами и рассказами о вежливом молодом человеке, который ездит с визитами. Мужчины отходили в сторонку и сгорали от зависти. Молодые девушки вздыхали так шумно и решительно, что баронская мельница начала шевелить крыльями.

Старый барон мрачно ступал по каменным плитам и хмурил лоб. Наконец он не выдержал и крикнул:

– Жак Вамо! Одевай меня. Еду с визитами... Отрезвевший Вамо прибежал и упал в ноги.

– Прости, Дюбуа. Не буду. И поджигать не буду, и соседей сзывать не буду.

– Я же тебе говорил, что ты собака, – торжествующе сказал Дюбуа, – вот и вышло.

Потом вдруг спохватился, сел на скамью и, помолчав, конфузливо добавил:

– Прекрасная нынче погодка...

– Великолепная, – радостно согласился Вамо. – А где изволили встречать рождество?

– Дома. По-семейному, так сказать...

А через полчаса старый барон уже ехал со своим церемониймейстером, улыбаясь в седой ус и предвкушая, в какое изумление он бросит своих соседей, подъехав к стенам замка без вооружения – исключительно только для того, чтобы поздравить с праздником.

1916

Из рассказов 1928—1936

Из сборника «Рассказы на предъявителя»

1928

Человек и курорт

Человек – как забытый клад в степи: копнешь верхний слой, а за ним столько разных сокровищ и сокровенностей, что дух захватывает... Чего только нельзя найти в прошлом незамысловатом человеке?..

На себе я это испытал в прошлом году, когда какой-то незнакомый доктор, – да будет презренно имя его! – посмотрев на меня поверх широких очков, начал перечислять все те широкие возможности, которые таит мой организм. По его точному и беспристрастному подсчету оказалось, что передо мной блестящий выбор недорогих и обеспеченных путей для крематория: печень, почки, кишки, – словом, все то, что я мог скопить за долгую трудовую жизнь, все это вопиет или о крематории, или о курорте.

– А главное, – наставительно добавил доктор, – у вас неправильный обмен веществ. Знаете вы, что это такое?

Этого я не знал... Очевидно, что-то вроде шумного базара внутри, где почки обменивают на легкое, две толстых кишки на одну слепую, а грудобрюшную преграду стараются всучить за заднюю желудочную стенку. Чувствовать внутри себя все эти коммерческие и, наверное, не всегда честные операции довольно противно, и пришлось согласиться перевезти все это неправильно обменивающееся вещество на юг.

В первый же день моего приезда на курорт местный врач сердито сказал, что я должен что-то пить натошак большими порциями.

– Доктор, – вежливо ответил я, – если это коньяк, то только после завтрака. Мне этот метод лечения нравится. Выясните только, позволяет ли мой организм закусывать лимоном в сахаре. На свой страх я боюсь это брать.

Оказалось хуже. Пришлось пить какую-то воду, которая напоминает своим вкусом детский заводной волчок, неосторожно проглоченный рассеянным человеком: она царапала внутри, была в нос и вызывала смутную тягу к безвременной кончине.

– Доктор, – печально попросил я, – нельзя ли лучше смазывать меня чем-нибудь снаружи, чем заставлять пить эту самую воду? Мне кажется, что от этого водопоя мои вещества начали меняться с ужасающей быстротой...

Доктор выслушал меня с таким видом, как будто я ему рассказывал не о себе, а о покойном управдоме.

– Теперь вы будете купаться.

– Спасибо; конечно, это не выход из положения, но все-таки это не внутреннее.

– Четыре раза в день. Семь минут в пять утра, одиннадцать минут в семь утра, пятнадцать в четыре и десять в шесть. Поняли?

– Боюсь, что спутаю, доктор. Придется брать с собой в воду большие стенные часы.

– Будьте серьезны. Помните, что у вас неправильный обмен веществ.

– Помню. Еще как помню! Даже в блокнот записал, чтобы не забыть.

Я начал купаться. В то время как другие спали, как молодые телята в июле, я уже лез в холодную воду, с отчаянием следя, когда пройдут назначенные семь минут. Позже, не допив кофе, я уже лез в море с настойчивостью престарелого тюленя. Я возненавидел воду до мигрени. Толстый взрослый человек, у которого немало жизненных забот и неприятностей, барахтающийся в зеленом купальном костюме около берега под назойливые насмешки прибрежных мальчишек, – печальное, незабываемое зрелище...

– Доктор, – взмолился я, – я уже весь сырой, как подвальная квартира. Я насквозь просолен: меня, наверное, можно подавать в качестве закуски в пивной... Выньте меня, пожалуйста, из воды – не могу...

Доктор вынул меня, но тут же спохватился и отдал распоряжение:

– А теперь гулять... Гулять, гулять...

– Пешком? – с ужасом в глазах переспросил я. – Долго?

– А вы как думали?

– Думал, только до вокзала. А там на поезд и обратно в Москву.

– Помните, что...

– Знаю, помню: обмен веществ. Неправильный. Куда прикажете лезть: на гору, в гору, в долину, в песок, в болото? Говорите, доктор, – я все вытерплю. Пользуйтесь!

Две недели я вел себя, как сумасшедший козел. Я скатывался с каких-то гор на острые камни



и отдыхающих курортников. С «Известиями» в руках я прыгал на выступления, мучительно стараясь походить на серну. Я влезал куда-то наверх в тридцатиградусную жару, оглашая стонами и нехорошими словами мирные окрестности, наполненные комарами и молодыми людьми.

– Доктор, – в изнеможении заявил я через две недели, – во мне уже нет ничего человеческого. Меня примет любой зоопарк или, в худшем случае, лучший ботанический сад: я черный извне, соленый изнутри, я могу прыгать с кустов на деревья, я могу скатываться, как скала...

– А как обмен веществ? – полюбопытствовал он с видом человека, рассматривающего перекрашенные брюки.

– Вам виднее, доктор, но мне кажется, что обмен, быть может, и есть, и, может быть, даже исключительно правильный, но самих веществ уже нет... От такой жизни и из слона все вещества выйдут, а я только скромный беспомощный литератор... Доктор, пустите меня в Москву, у меня жена, дочь, книги... Я буду бегать там по издательствам, сидеть по семи минут в соленом растворе и глотать какую угодно опасную жидкость, вплоть до нефти, только пустите...

Через два дня я сидел в поезде. Железная дорога – удивительно целебное средство, – медицина этого случайно еще не заметила. Я ел на каждой станции, спал на верхней полке, читал еженедельники и чувствовал, как поправляюсь на каждом полустанке.

В Москве, добравшись до своей комнаты, я заперся на полторы недели и лежал, как удав на солнце. Два примуса, выбиваясь из сил с утра, жарили для меня большие куски черного мяса. Медленно, но верно я поправлялся.

– На вас прекрасно подействовал курорт! – с завистью говорили мне.

– Курорт? – бледнея, переспрашивал я. – О да, курортная жизнь изумительна... Но только переменим тему разговора: мне еще опасно волноваться...

1928

Как обычно вспоминают

#### 1. Воспоминания маститого

Было это в конце семидесятых годов, даже, пожалуй, в начале – не то в 1884, не то в 1889 году. Жили мы с семьей в Сарапуле, а младший мой брат Симеон Петрович находился в Елабуге, где впоследствии и женился. Женился он неудачно, а сестра его жены и до сих пор живет где-то под Челябинском, где у нас небольшие огороды. Я в это время баловался стихами. Выходило довольно недурно, хотя я мечтал больше о морской карьере и разведении племенных кур. Как сейчас помню такие, например, стихи:

Драгая тетушка моя,

Могу прибыть к Вам на именины.

В четверг вечером я

На лошадях. Привет от Ник. Ив. и Нины.

Стишки эти и сам Тургенев хвалил, но по злопамятству в дневнике своем этого не записал.

Приблизительно в то же время я пострадал за наш народ, который я, будучи случайно в Костромской губернии, очень любил. Было это так. Прихожу я на вокзал, хочу влезть в вагон, а он весь переполнен народом. Были мы в это время все народолюбцами – думаю, зачем же я полезу в такое переполнение: и другим помешаю, и самому выспаться негде будет. Так я и остался, а в тот же вечер схватил болотную лихорадку и слег. Хворал долго, но большим утешением было, что страдаю за идею.

Вспоминаю это все – и как будто бы сейчас пред глазами... Потом пошло разное. Брат развелся, я переехал уже с другой женой (Анной Никитишной) в Петербург. И как раз в то время, когда мы въезжали домой, смотрю – похороны.

– Кого хоронят, служивый?

– Сочинителя хоронят, господином Некрасовым звали... Как это я услышал, у меня точно оборвалось что-то в

душе. Не читал я, правда, покойника, да и все мы думали, что это кто-нибудь из провинции пописывает, но тяжесть потери тяжело легла на душу....

– Прощай, поэт, – сказал я, снимая перчатку, – прощай, будитель сердец...

Так почти на моих руках ушел в могилу величайший русский поэт.

Через месяц пришла телеграмма от брата: снова женился и едет в Голландию. Мы купили новое фортепиано. Надвигались девяностые годы.

## 2. Воспоминания разоблачителя

Некрасова я знал хорошо, а лучше бы и не знал. Тяжелый был человек, хотя и не без дарования, если бы не карты, вино, женщины, поджоги и убийства. Без этого и творить не мог.

Придет, бывало, в клуб, метнет фальшивую талию, выиграет и сейчас же бежит.

– Не могу, – говорит, – у меня вино, карты, женщины, И все это меня дожидается.

Ссорился со всеми. С Толстым, Достоевским, Гончаровым и с другими авторами полных собраний. С одним только Маяковским не поссорился, да и то, пожалуй, потому, что он спустя двадцать лет родился.

Злобный был такой. Все смерти боялся.

– Вот умру, – говорит, – а меня потом редактировать начнут.

Со мной лично прямо грубо поступил. Принес я ему одну повесть. Большую такую, недурную. Как один жулик ездил и мертвые души скупал. Знакомым читал – тем понравилось, а ему, Некрасову, в «Современник» принес – губы кривит и смотрит волком.

– Опоздали! – говорит.

– Позвольте, Николай Алексеевич, где же опоздал: прием до двенадцати, а сейчас девять.

– Нет, – говорит, – лет на тридцать опоздали. До вас, – говорит, – Гоголь эту тему использовал.

– Позвольте, – говорю, – что же на всех плагиаторов внимание обращать! Моя тема!

Даже не ответил. Хлопнул дверью и куда-то побежал. Наверное, к женщинам либо в клуб. Так ни за что, ни про что человека обидел. А у меня к тому времени уже четыре книги по льноведению были. Тяжелый был человек. Черствый и пустой.

1928

Из сборника «Развязанные узелки»

1935

Эпоха и стиль

Каждой эпохе соответствует свой стиль,

Из шестерых, собравшихся в комнате у режиссера Емзина, эта истина еще не дошла лишь до Жени Минтусова, расстроенного всем вообще и отсутствием у хозяина папирос и пива в частности.

– Нет, вы только посмотрите, – волновался он, разыскивая окурки в пепельнице, – разве это язык? А? Как пишут наши писатели! Как пишут наши поэты! Разве это язык? А? Где же он, где, вы скажите, наш настоящий, добрый, старый, могучий русский язык? А?

Последнюю фразу он произнес с таким надрывом, как будто бы у него только что вытащили добрый (старый, могучий и т. д.) русский язык из кармана и он требует немедленного составления протокола тут же, на месте.

Молча возившийся до сих пор с засоренной трубкой актер Плеонтов дунул в это непослушное орудие наслаждения и тихо сказал:

– Ты дурак, Женя. Средний, нередко встречающийся в нашей области тип дурака. Пробовал ли ты хоть раз разговаривать с окружающими на языке другой эпохи?

– Подумаешь, – легкомысленно отпарировал Минтусов, выловив малодержанный окурочек.

– Не думай, Женя. Не затрудняй себя непосильной работой, несвойственной твоему организму, – ласково произнес Плеонтов. – Для тебя, как для существа малоразвитого, наглядные впечатления значительно полезнее, чем головные выводы. Хочешь, я тебе опытным путем покажу, что такое язык, несозвучный эпохе?

– Покажи, – упрямо принял вызов Минтусов.

– Охотно. Это свитер твой?

– С голубыми полосками, который на мне?

– Именно с полосками и именно на тебе. Ставишь его против моей настольной лампы, которая тебе так нравится, если я тебе докажу, что в понимании стиля ты отстал, как престарелая извозчицья лошадь от электрического пылесоса? Идет? Емзин, разними руки.

Когда Плеонтов и Минтусов вошли в трамвай, Женя вытянул из кармана двугривенный и протянул его кондуктору.

– Это семнадцатый номер? За двоих.

Плеонтов быстро схватил его за руку и вынул из нее двугривенный.

– Женечка, – укоризненно зашептал он на ухо Минтусову, – прямо не узнаю тебя... Разговаривать с кондуктором трамвая, да еще семнадцатого номера, на таком сухом, прозаическом, ничего не говорящем языке!.. Ты ведешь себя, как частник на именинах... Где же настоящий, сочный, полнозвучный язык нашей древней матушки-Москвы, язык степенных бояр и добрых молодцев, белолицых красавиц, которые...

– погоди, что ты хочешь делать? – встревоженно посмотрел на него Минтусов.

– А ничего особенного, – небрежно кинул Плеонтов и, низко поклонившись в пояс изумленному кондуктору, заговорил мягким, проникновенным голосом:

– Ах ты гой еси добрый молодец, ты кондуктор-свет, чернобровый мой, ты возьми, орел, наш двугривенный в свои рученьки во могучие, оторви ты нам по билету, поклонюсь тебе в крепки ноженьки, лобызну тебя в очи ясные...

– Пьяным ездить не разрешается, – неожиданно и сухо оборвал его кондуктор и дернул за ремень, вызвав этим явное сочувствие пассажиров. – Попрошу слазить.

– Я не пил, орел, зелена вина, я не капал в рот брагой пенистой, – заливался Плеонтов, ухватив за рукав бросившегося к выходу Минтусова. – Ты за что, почто угоняешь нас, ты, кондуктор наш, родный батюшка?..

Выпрыгнули Плеонтов и Минтусов, не дожидаясь остановки и не без помощи разъяренного кондуктора и двух пассажиров.

На углу сидел молодой чистильщик сапог и думал о том, что, если ему удастся купить двухрядную гармошку, жизнь сделается значительно полнозвучнее и красивее. Два хорошо одетых человека подошли к нему. Один из них, оглядываясь на другого, неохотно поставил ногу на деревянную скамеечку, а тот, с приятной улыбкой на добром лице и слегка изогнув талию, начал мечтательно и внятно:

– Отрок, судьбой обреченный на игрище с щеткой сапожной! В нежные пальцы свои взяв гуталин благовонный, бархатной тряпкой пройдишь ты по носку гражданина, ярко сверкающий глянец, подобный прекрасному солнцу, ты наведешь и, погладив его осторожно, ты...

– Оставь, – хмуро проворчал Минтусов, снимая ногу.

Чистильщик осторожно поднялся с земли, сунул желтую мазь в карман и тоном, не предназначенным для дискуссий, сурово объявил:

– С таких деньги вперед полагаются. Клади или чисть сам.

– А ведь какой прекрасный гекзаметр, какие стихи! – искоса посмотрев на Минтусова, произнес Плеонтов. – Пойдем. Разве это не стиль? Ведь на таком языке древние римляне мир завоевали. Осторожнее – споткнешься...

– Оставь, пожалуйста, эти шутки, – сердито сказал Минтусов, когда они вошли в кафе. – Ты бы еще язык древних египтян выкопал и на нем ветчину покупать стал...

– Значит, ты находишь, – внимательно выслушал его Плеонтов, – что более современный стиль, ну, допустим, фривольный язык Франции шестидесятых годов, более доходчив в нашу кипучую эпоху?

– Ничего я не нахожу. Я хочу выпить чашку кофе. Оставь меня в покое.

– А это мы сейчас сделаем.

Плеонтов поманил пальцем – и около стола выросла курносая девица в передничке и с мелкими завитушками.

– Вам что, гражданин?

– Пташка, – заискивающе начал Плеонтов, – забудьте на время того Жана, который щекочет вашу шейку непокорными усиками, забудьте последний вздох его в садовой беседке и...

– Меня никто не щекочет по беседкам! – вспыхнула курносая девица. – А если вы, гражданин, нахал, так и в милицию можно...

– Рассерженный зайчик! – в восхищении вскрикнул Плеонтов, взмахнув руками. – Какие розы заалели на ее щечках, соперничая с лепестками азалий! Кто сорвет поцелуй с этих алых губок, кого...

Милиционер оказался поблизости. Он терпеливо выслушал девицу с завитушками и спросил:

– На что жалуетесь?

– Нахальничают словами, – бойко ответила девица.

– Руками не лапали? – деловито осведомился милиционер.

– Руками не лапали, – так же бойко подтвердила девица.

– Как было? – повернулся милиционер к Минтусову.

– Видите ли, – робко начал тот, – сидели мы у стола, а вот этот, – он с ненавистью взглянул на Плеонтова, – говорит ей...

– Оставь, Минтусов, – мягко перебил его Плеонтов. – Каким языком ты объясняешься!.. Какая сухая проза!.. А где у тебя сочный, подлинный язык девяностых годов, на котором писали лучшие представители родной литературы?.. Эх, Минтусов!.. – И, положив руку на плечо милиционера, Плеонтов заговорил, устремив проникновенный взгляд на последний этаж строящегося дома: – Было так. Голубая даль пропадала там, где грани света боролись с наступающими сумерками. Тихая, подошла она к нашему столу. Тихая, и казалось, что не она подошла к столу, а стол...

– Платите, гражданин, три рубля, – вздохнув, сказал милиционер, снимая с плеча плеонтовскую руку.

– Мы же не прыгали с трамвая! – горько вмешался Минтусов.

– Такие и не прыгая нахальничают, – вступилась довольная девица. – Платите...

Когда пришли домой и разделись, Плеонтов закурил папиросу и осторожно спросил:

– Ну, какого ты мнения, Минтусов, относительно стиля? Соответствует ли каждой эпохе ее стиль, или...

Минтусов снял пиджак и, быстро сдернув через голову свитер с голубыми полосками, протянул его Плеонтову:

– На! Давись!..

1934

О лирике

Может быть, оттого, что на городском бульваре по вечерам беспредметно и необоснованно прямо запахла левкой, может быть, оттого, что ветер с моря прилетал в город, как задорная песня о молодости и удаче, а может быть, и оттого, что в Замоиск пришли журналы из центра с горячими статьями об искусстве, – редактор «Замойского катушечника» сказал поэту Васе Грибакину, посмотрев куда-то в сторону:

– Можете написать что-нибудь этакое?..

– Какое? – испуганно спросил Вася, опасаясь срочного заказа истории коммунального ассенизационного обоза в бодрящих певучих стихах для очередного номера.

– Ну, вот такое, – с трудом выдавил из себя редактор, – лирическое...

От неожиданности в Васиных руках распалась уже готовая самокрутка. Уже около двух лет тайком от неумолимой замойской общественности Вася писал лирические стихи. Он писал о летчике, который потерял мистицизм, в первый раз врезавшись в облака, о комсомолке, обсадившей цветами ясли, о старике, плакавшем под песни молодежи. Но так как в стихах не было ни точных цифр о средней яйценоскости в Замоиском районе, ни конкретных цитат о конском поголовье в уезде, то с каждым новым стихотворением Вася чувствовал себя, как закоренелый преступник. И вдруг сам редактор «Замойского катушечника», уныло посасывая левый кончик бороды, открыл шлюз Васиной души.

– Ну, что же, можете?

– Могу, – робко уронил Вася. – А насчет чего лирическое: насчет союза швейников или, наоборот, насчет борьбы с малярией?

– Обыкновенное, – сухо отрезал редактор, – с любовью. Со звездами. Со скамейкой, с птицами и вообще. Завтра принесите подробный план. Одобрим – пишите.

Целую ночь Вася сидел у себя за перегородкой и набрасывал план лирического стихотворения. В голове, как вспугнутые воробьи, мелькали отдельные строки, луна насадала на тюльпаны, соловей мешался со скамейкой, волна догоняла затаенный вздох. Но над всем, как уют на веревочке, висело директорское распоряжение о плане, и, сдерживая необузданные взлеты творчества, Вася писал на листке из блокнотика аккуратные, пронумерованные строчки плана:

1. Сидение на скамье.
2. Смотрение на луну.
3. Нюхание цветов.
4. Держание за руку.
5. Говорение слов.
6. Любовь как таковая.
7. «И ты ушла, и я ушел, и оба мы ушли».

На другой день редактор недоволен и кисло смотрел на Васю Грибакина и вертел в руках представленный ему план, делая на нем пометки большим синим, тупо очинённым карандашом.

– Вот вы пишете: «Сидение на скамье». Так. Скамью, конечно, в искусстве можно ввести, не протестую, но кто именно на ней сидит?

– Он, – вздохнув, ответил Вася и значительно тише добавил: – И она тоже. Двое.

– Цифровое обозначение здесь ни при чем, – остановил его редактор. – Здесь важны социальные корни. А может, это бывший архиерей и вдова генерал-губернатора на скамью уселись?

– Они же старые, – робко защитился Вася.

– Ну, как знать, – подозрительно посмотрел на него редактор, – а может, они еще сохранились. В соку еще. А вы их в советском стихотворении на скамью садите.

– Так у меня же не они сидят...

– Вот, вот. Значит, надо, чтобы все было ясно, что, мол, сидят на скамье активисты. Люди с хорошим профстажем, членские взносы платят аккуратно, общественную нагрузку несут...

– Это же сколько строк? – безнадежно мигнул Вася. – Сначала о нем, потом о ней...

– На то и лирика. Поэт все должен уметь. Техника стиха... Значит, сделайте вы его... ну, скажем, текстильщиком... Впрочем, нет. У них в облотделе что-то неладно. Пусть он будет у вас счетоводом, сдавшим годовой баланс за две недели до срока. Слышите? Запишите, чтобы не забыть.

– Записал.

– Такой человек и на луну немного посмотреть может, и цветок понюхать имеет право... Да что там говорить, – теперь не восемнадцатый год, пусть уж и птицу какую-нибудь послушают. Только остерегайтесь соловья.

– А она?

– Она – дочь станционного кассира, – уже увлекшись, говорил редактор. – В лирике давно не было попыток разрешить узловые проблемы транспорта... Об отце можете всего несколько строк и то только в связи с недопогрузкой вагонов... Не утяжеляйте особенно лирические строки. Лирика должна быть легка и певуча... Вот тут у вас есть пункт четвертый: «Держание за руку». Это выбросьте.

– Почему?

– Неудобно. Вдруг ему на собрание месткома надо идти, а она его за руку держит. Лирика лирикой, а срывать общественную работу на глазах массового читателя неудобно... Вот и второй пункт философски неясен: «Смотрение на луну»... С одной стороны, конечно, луна – общественное достояние, но почему именно на нее? Вечер советский работник должен проводить культурно. На луну он может днем посмотреть.

– Да ведь вечер же...

– Мало ли что вечер! В городе музей сельскохозяйственной культуры открыт, а они на луну пошли смотреть. Бестактно. Как-нибудь уж выкрутитесь: шли, мол, в музей, но пошел дождь, вот они и сели, между прочим, на скамейку...

– Хорошо.

– А то и совсем этот пункт выкиньте. Пункт шестой – «Любовь как таковая» – тоже, пожалуй, не надо. Не стоит. Не ко времени как-то. Кампания по сбору утильсырья на носу, а вдруг мы в литстраничке о любви разведем волюнку. Пройдет кампания – тогда другое дело. Вот этот пункт: «Говорение слов» – оставьте. И даже расширьте. Углубите его. Пусть он несколько слов о фотокружке на предприятии скажет, она, допустим, его проинформирует насчет, ну там, целевых сборов, что ли, или насчет кассы взаимопомощи... Любящие ведь люди, надо им поговорить о чем-нибудь личном, интимном. Лирика ведь... А вот конец у вас удачный: «И ты ушел, и я ушла». Только не забудьте указать конкретнее, куда именно ушли.

– А куда? – хрипло спросил Вася.

– А это уж куда хотите. Вы поэт. Я не хочу стеснять свободу творчества. Я против всякого администрирования. Укажите, что он, мол, пошел сводить контрольные цифры, а она тоже куда-нибудь. Ну, скажем, «Малую советскую энциклопедию» дочитывать... Ясно? Берите ваш планчик. Только, пожалуйста, завтра к утру и не больше шестнадцати строк...

Всю ночь Вася Грибакин писал и плакал. Через четыре дня в литстраничке «Замойского катушечника» под общим заглавием «Дорогу лирике!» появилось стихотворение Васи Грибакина:

Вперед

Не было скамейки и луны,

Не было цветов и соловьиной трели,

Не были друг в друга влюблены

Счетовод Петров и дочь кассира – Нелли...

Он сказал: «Я кончил свой доклад»,

А она ответила: «Прекрасно».

После этого пошли они назад,

Оттого, что стало все им ясно.



В центральных изданиях писали о том, что нужна лирика.

– И действительно, пора, – убежденно сказал редактор «Замойского катушечника». – Лирика – это великое дело... Мы-то первые откликнулись...

1934

В порядке катастрофы

Рядовой клубный концерт обычно организуется в порядке катастрофы. Накануне вечером о нем известно только одно: что он на сегодня отменяется. После этого утром взлохмаченный завклуб появляется в шумных и неаккуратных коридорах гомцеобразного учреждения с видом человека, за которым гонится взбешенный носорог.

Стол заказов разыскать не легко. Вчера он еще был в третьей комнате, между печкой и плевательницей около окна. И сидел за ним унылый мужчина с висячими усами и обидно большой бородавкой у носа. За ночь плевательницу унесли, окно заняла комиссия по проверке текстового оформления цирковых тюленьих номеров, стол заказов вынесен в коридор, и за ним уже сидит маленький человечек в белых туфлях и рыжей кавказской папахе.

Маленький человечек уже знает заранее, почему у зав-клуба мутный взгляд и что ему здесь надо.

– Вы хотите иметь один срочный концерт для клуба? – успокаивающе спрашивает он. – Вы будете иметь один срочный концерт для клуба.

– Да, но видите ли, наш клуб – это такой клуб, который...

– У всех такие клубы и у всех они которые, – равнодушно жует бутерброд человечек за столом. – Вы будете от нас иметь одного баритона – один, одну – колоратуру – одна, двух сатириков – два, одну водевиль – одну... Итого, вместе с аккомпаниатором, не считая конференсье, плюс проезд – шестьсот рублей...

– Шестьсот не могу, – вздыхает завклуб, – зарез.

– Так имейте в другом месте ансамбль без зареза. Что значит зарез? Я вам сказал шестьсот, и пусть это будет твердо. Пятьсот тридцать с конференсье. Саша, – обращается он к кому-то сзади себя, – кто у нас свободен из конференсье?

– Цапин занят, Драпин занят, – раздается из-за отдаленной стенки с плакатами монотонный Сашин голос. – Хапин на шести концертах...

– Подумаешь, Карузо. Он же не танцует, а разговаривает. Поговорит и на седьмом. Имеете первоклассного конференсье, товарищ клуб.

Сговариваются на четырехстах сорока минус проезд.

Днем ансамбль лихорадочно подготавливается к концерту. У стола заказов начинается тяжелая, но бесполезная дискуссия.

– Нынче к транспортникам? – осведомляется баритон.

– А если наоборот – к металлистам, так вы не Тореадора будете петь, а Кармен? – сердито

откликается человек за столом. – Что это за ария в посевную кампанию?

– Не я писал, – обижается баритон. – Бизе писал...

– Бизе, Бизе... Когда сто рублей за выход получать, так каждый Евгений Онегин, а когда новую арию выучить, так все – Гугеноты...

Колоратурное сопрано страдает насморком, потеряла утром сумочку с рецептом крема, расстроена и знает только «Колокольчики» и «Светлячки».

– Далеко я не поеду, – предупреждает она, – я колоратура, а колоратуру за город не таскают.

– Ну, так сядьте вот тут, на этот стул, и гудите мне в уши ваши колокольчики и бубенчики, если вам далеко. Ей далеко! А мне близко – давать полную программу за четыреста сорок рублей? Не хотите, дам им баяниста. Пусть им играет на чем хочет...

Не беспокоятся только сатирики – Шпуль и Дорофеев. Р1деологическую часть своего номера они произносят на два голоса с таким запалом, что зрители в первых рядах пригибаются, как от ветра, а художественная часть заключается в музыкальной пиле и частушках с припевом: «Вот так финик, вот так финик, – это значит – апельсин». Шум, производимый ими на эстраде, настолько велик, что неуспех тонет в нем, как щенок в ванне.

Не беспокоится и скетчевая пара – Задрайская и бывший артист бывшей «Синей блузы» Грудинкин. Они уже четыре года играют один и тот же скетч «Гнет наоборот», и, если сбиваются в тексте, клубные зрители, знающие его наизусть, подают им из задних рядов наиболее важные реплики.

Конферансье Хапин бежит к эстраднему автору Гильдееву, который спит мрачным сном после трехсуточного покера, будит его и страстно шепчет в волосатое ухо:

– Родненький... Парочку смехов... Выступаю сегодня...

– Деньги под подушку, – хрипит Гильдеев, не раскрывая глаз. – Толстяк в трамвае стал на ноги дамочке, а дамочка говорит... дайте папиросу...

– Это дамочка говорит?

– Нет, это я говорю. Дайте. А дамочка говорит: зачем вы мне стали на ноги?.. А толстяк говорит: не на голову же вам становиться! Дойдет?

– Дойдет, родненький. А совсем политическое нельзя?

– Можно, – засыпая, бубнит Гильдеев, – Тардьё в парламенте наступил на ногу Гендерсону, а Гендерсон говорит: зачем ты мне наступил на ногу? А Тардьё говорит: не на голову же мне тебе наступать...

К вечеру ансамбль постепенно съезжается на срочный концерт в клуб.

Успокоенный завклуб радостно пересчитывает наличный состав.

– Один баритон – есть, одно контральто – имеется, два сатирика – есть... Публики что-то маловато, ходить на концерты отучилась, но это пустяки; сегодня – нет, завтра придет.

Вам нужны такие концерты? Думаю, что нет. Кому же они нужны?

1934

– В штабе Небраска очень трудно нарушить законы, – задумчиво сказал Фейк, пряча трактирный ножик за голенище рыжего сапога. – У нас, например, в нашем городе есть такой судья, который самому себе быстро докажет, что вы их и не думали нарушать. Если, конечно, вы успеете за четверть часа до суда сунуть ему под шляпу кое-что из своего кармана...

Есть, правда, упрямые ослы, которые защищают законы от граждан, но рыжий Слим О'файр не принадлежал к их числу. Он так защищал граждан от законов, что если кто-нибудь даже в самом суде начинал разряжать револьвер в бумажный воротничок соседу, Слим О'файр только штрафовал его за беспричинный шум в общественном месте, а вдове безвременного погибшего даром писал жалобу. Короче говоря, Слим О'файр был прекрасным малым, и ему всего один раз слегка проломил голову, чтобы он мягче относился к спиртоносам и не так уже рылся в законах, если кто-нибудь впопыхах повесил негра.

Быть может, законы еще долго видели бы в нем свою верную няньку, но у Слима О'файра была одна неосторожная черта в характере: в летние месяцы он пил, как обиженный буйвол на водопое. Зимой, впрочем, он пил не меньше. Это и погубило его юридическую карьеру, пока он не пошел в конокрады. Теперь он служит не то начальником полиции в каком-то маленьком паршивом городишке, в Оклагаме, не то фонарщиком в Филадельфии.

В один из таких дней Слим О'файр и оскорбил незыблемые законы, да так, что остался только маленький выбор: или суд, или он. Власти выбрали суд, а Слима О'файра выкинули, как змею из купальни. Не буду тянуть: Слим дошел до того, что арестовал сыщика. Как это вышло? Очень просто.

Был у нас в городе такой каменотес с рваным ухом, по фамилии Дайт. Не помню уж, какие у него были волосы и какие были глаза и чем его била жена в церковные праздники. Важно то, что Дайт не любил, когда его тыкали палкой. У нас многие этого не любили, а Дайт почему-то особенно. И вот однажды, когда Дайт закурил во время работы, надсмотрщик Смир вышиб у него палкой папиросу из рук. Вы сами понимаете, как неприятно лишиться папиросы после первой затяжки, и Дайт дал это понять Смиру без особого крика и жестов, а спокойно плюнув ему в бороду. Смир, конечно, побежал мыться и к подрядчику, а через полчаса Дайта вышвырнули на все четыре стороны, а если он найдет – так хоть и на пятую.

Два месяца ходил Дайт без работы. Два месяца Дайт продавал все, вплоть до рваной фуфайки, и дошел до того, что, если бы ему показали бифштекс или кусок баранины, бедняга бы только испуганно спросил: «А что это такое?» Не раз Дайта видели, как он потихоньку пробирался к соседу на свиной двор и выгребал из корыта что-нибудь оставшееся после свиного завтрака. И вот однажды он зашел в булочную кривого Шипса, втянул обеими ноздрями сдобный воздух, как корова перед хлевом, и сказал кривому толстяку за прилавком, ковырявшему в носу:

– Господин Шипс, с добрым утром.

– Если ты зашел только для этого, – ответил ему Шипс, – ты бы мог поздравить меня через окно или открыткой. Убирайся к черту.

– Я бы хотел купить у вас пирог с мясом, – пролепетал Дайт, – но у меня нет денег.

– Может, ты хочешь убить антилопу, но у тебя нет ружья? – захохотал булочник. – Можешь эти анекдоты рассказывать у себя на могиле, когда сдохнешь. И чем скорее, тем лучше.

Не буду вам подробно описывать всего разговора – меня там не было, но когда Шипс уж

очень развеселился и предложил Дайту полаять по-собачьи за полкило сухарей, тот поступил правильно и по-деловому: нахлобучил на толстую рожу Шипса форму от пудинга, схватил пирог с мясом и исчез с ним быстрее, чем директор банка, у которого потребовали срочного отчета о наличных.

Ясно, что Шипс кричал, как свинья в мешке, а может быть, и значительно громче. Во всяком случае, его жена уверяет, что это было так. Сбежались другие лавочники, их семьи, родственники, приехавшие на ярмарку, два спугнутых вора, уже забравшихся на скобяной склад, полиция, пьяная тетка кабатчика, собаки и многие другие. Дайта решили изловить, и по возможности живьем, если это не будет очень трудно, так как Дайт был не из тех парней, чтобы добровольно вернуться с недоеденным пирогом и шаркнуть ножкой перед кривым Шипсом.

– Или в нашем городе нет больше законов, или я вырву у него из живота мой товар, – визжал Шипс, и вся эта ватага бросилась в полицию. Так как из задней комнаты Шипс отпускал в бутылках более крепкие продукты, чем бисквиты и пироги, с полицией он был в деловом и дружеском союзе, и всего через полчаса прыщавый сыщик Том Гринг засовывал в задний карман запасные патроны, выдыхав из себя с шумом пивной запах и торжественное обещание: «К вечеру приволоку Дайта, где бы он ни был...»

После трех месяцев это был первый день, начавшийся у Дайта завтраком. Пища придает быстроту ногам – это замечали уже многие до меня. Заяц не выходит навстречу охотнику со своей визитной карточкой, и Дайт не сидел у себя на крыльце, дожидаясь Тома Гринга с полотенцем, на котором вышито «Добро пожаловать». Уже через полчаса он исчез, как пуговица в колодце. Длинный Гринг поцарапал в раздумье то место, на котором у многих растут усы, а у него были только остатки яичницы, хлопотал себя по толстым ляжкам и бросился в соседний лес, полагая, что за каждым деревом для него приготовлено по одному Дайту. Из лесу Том Гринг вынес синяк под глазом от соснового сука и убеждение, что Дайта там нет. Нехорошо выругавшись, он бросился на соседнюю ферму и... Да, впрочем, что мы с вами будем таскаться вместе с этим проходимцем Грингом, пока он нюхает воздух и рыщет за Дайтом: он для нас не компания. Короче говоря, к завтрашнему утру покалеченный и совершенно истерзанный Гринг, в рваных штанах и с подбитым носом, привел со скрученными руками беднягу Дайта, впихнул его в здание суда и потребовал пива и пластыря для себя и кандалов – для Дайта.

Накануне этого дня судья Слим О'файр уже выкинул из своего окна четыре пустых бутылки, стрелял в луну из двустволки и грозился, что он может повесить самого бостонского мэра. Интерес от этого к процессу Дайта нарастал в двойной порции. В такие дни ни одна из двенадцати толстых книг с законами не удовлетворяла Слима О'файр, и приговоры его носили самый неожиданный характер – вплоть до денежного вознаграждения одного парня из скотобойни, убившего своего дедушку. С утра суд был полон. Собрался весь город, кроме четырех конокрадов, уехавших по делам. Слим О'файр начал заседание с того, что сначала икнул, потом сел на вещественные доказательства и подал руку статуе Франклина, думая, что она живая и пришла к нему в гости.

– Дайт, – начал он, водя носом по бумагам и думая по складам, – расскажите, как было дело. Долго она трепыхалась?

Секретарь наскоро объяснил ему, что дело о зарезанной вдове медика слушалось уже вчера, а теперь слушается дело о насильственном отнятии пирога у булочника Шипса.

– Ну пирог, так пирог, черт с ним, – миролюбиво согласился Слим О'файр, сплюнув на пол, – валяйте о пироге...

Дайт рассказывал недолго и все как было. Половина собравшихся вопила, как будто у

каждого из них Дайт отнял по дюжине пирогов с начинкой из рубинов, а половина молчаливо, но явно сочувствовала бедняге каменотесу и готовилась после суда посчитать ребра вопившим.

– Так, – протянул Слим О'файр, когда Дайт кончил. – Вы что же, пирог продали? Торговали пирогом? Беспатентная продажа мучных изделий? А?..

– Съел я его, – буркнул Дайт, – жене тоже дал... Голодные были оба... Ясно?

– Так... Ну теперь вы, – еще раз посмотрел Слим О'файр на статую Франклина. – Впрочем, не вы, а вот этот джентльмен... Фамилия?

– Том Гринг. Сыщик.

– Рассказывайте, как вы его поймали...

Если Дайт капал словами, как бочка, у которой выбили втулку, то Том Гринг разлился целой рекой в половодье. Вертясь, как штопор в гнилой пробке, размахивая короткими руками и восхищая собравшихся лавочников, сыщик рассыпался во всех подробностях:

– Видите ли, сэр, так как этого молодца трудно была поймать пешком, я отправился на ферму к старику Глайду и сказал ему, чтобы он дал мне лошадь. «Глайд, – сказал я старику, – дай мне лошадь во имя защиты закона». Старик был не в духе и заявил, что мне лошадь нужна для закона, а ему – для пшеницы, что я могу защищать закон на других клячах и что он вообще выпустит собак, если я не уйду. Не будь дурак, я вынул револьвер и предложил ему на выбор: или он у меня получит пулю, или я у него – лошадь. Ну старик, конечно, поднял руки вверх, а я сел на лошадь.

– Хорошая лошадь? – зевнув, спросил Слим О'файр, вытаскивая муху из чернильницы.

– Очень плохая, сэр. Я ее загнал через два с половиной часа на среднем галопе. Кляча сдохла посередине дороги. Тогда я побежал, пока не увидел мальчишку, сына лесного сторожа...

– Приведите мальчишку, – промышчал Слим О'файр.

– Мальчишка лежит с переломанной шеей, сэр, – быстро вставил сыщик.

– Вы?..

– Он сам. Я его только спросил, не видел ли он поблизости Дайта. Проклятый мальчишка сразу насторожился, но я по глазам заметил, что он знает. «Говори, – сказал я ему, – имей уважение к закону, или я тебе выверну обе ноги». После этого он и побежал от меня, свалился в угольную яму и сломал себе шею.

– Шею? – переспросил Слим О'файр.

– Шею, сэр. Дальше уже пошло легче. Я отнял у Миндера-младшего его болотные сапоги и через болото переправился на другую сторону. На берегу, в кустах, сидит Дайт. «Дайт, – кричу я, – сдавайся во имя закона!» Он молчит. «Дайт, – кричу я, – сдавайся, выходи из кустов, или я буду стрелять!» Он молчит. И только после второго выстрела он выкатился из кустов и стал орать, что я его убил.

– Дайт?

– Нет, сэр. Дайт, оказывается, был совсем в другом месте. Миткинс орал, глухой Миткинс, в которого я стрелял во имя закона. На глухом черте была такая же рубашка, как на Дайте в

момент ограбления, а закон мне дает право стрелять в каждого не повинующегося предупреждению. Говорят, что у Миткинса пулю счастливо удалось вынуть и он отделался смертью от кровоизлияния. Затем я вбежал в дом почтальона, у которого жена ждала прибавления семейства, потребовал, чтобы почтальон встал на страже у дороги...

– Довольно, – неожиданно сказал Слим О'файр, – дело ясно. И, хлопнув волосатым кулаком по столу, добавил: – Суд выносит решение...

Все замерли. Всем было интересно, что выкинет судья О'файр. Тогда-то и произошло самое небывалое нарушение законов, и нужно было шесть предварительных бутылок виски, чтобы впервые на территории нашего города был вынесен бесплатно знаменитый приговор.

– Дайт, – твердым голосом, но поднимаясь на нетвердых ногах, заявил Слим О'файр, – идите к черту и лучше покупайте пироги с вонючим мясом у этого скряги, а не хватайте их даром, если вы даже и голодны... Эй, Джим, снимите с него кандалы и держите их наготове... Том Гринг... Сыщик...

– Здесь, сэр.

– За ограбление фермера Глайда, за изуродование неизвестного мне мальчишки и за убийство глухого Миткинса – год тюрьмы... Джим, наденьте на него кандалы и прикрутите их покрепче.

После этого Слим О'файр еще раз икнул, сел на свое место и заснул. Через два дня его вызвали к губернатору штата и спустили с лестницы, как писали газеты в светской хронике. Теперь он, кажется, фонарщиком в Филадельфии. Но наш город до сих пор гордится, что в нем проживал первый и последний судья, который хоть и в пьяном виде, но попробовал единственный раз судить по совести...

1936

Парус

Человек, который хочет напакостить, никогда не приходит к нам с каким-нибудь открытым, ясно сформулированным предложением.

Наоборот, те из близких людей, в чьем ехидно работающем сознании гадости зарождаются самостоятельно, всегда подходят к вам с тонко замаскированным и не поддающимся сразу для распознавания планом.

Одна из таких весело улыбающихся ехидин в серых брюках и белой толстовке пришла ко мне и ласково заявила:

– Сегодня чудесный день.

– Вижу без тебя,

– Сегодня прямо изумительно на реке...

– Смотря по тому, что делать. Если, например, тонуть, то и сегодняшний день я не назвал бы особенно удачным.

– Слушай, у меня есть предложение...

- Зная тебя, вряд ли я предьявлю какой-нибудь спрос на твои предложения...
- Слушай, – вкрадчиво сказал он, – поедem кататься с парусом... Ты любишь кататься с парусом?
- По железной дороге. Чтобы я сидел в отдельном купе мягкого вагона, а парус лежал бы в одном из товарных.
- У меня есть прекрасная лодка. Изумительный парус. Белый с синими полосками.
- Сшей из него себе осеннее пальто или чехол для пианино.
- Мы совершим прекрасную прогулку... Солнце, вода... Тихий ветерок.

Вы, может быть, заметили, что большинство из нас чрезвычайно трудно убедить совершить какой-нибудь умный поступок, например, сбросить со стола какие-то ненужные старые газеты, которые уже полтора месяца закрывают письменный прибор и заставляют во время работы локоть висеть в воздухе, но подбить нас на какой угодно идиотский шаг, совершенно не соответствующий ни возрасту, ни мировоззрению, ни наклонностям, чрезвычайно легко.

Короче: я поехал.

Единственный проблеск здравого смысла вылился у меня в осторожной фразе:

- А ты умеешь управлять этим... парусом?
- Я?!

В глазах приятеля мелькнул иронически-успокаивающий взгляд морского капитана, которого наивный сероглазый ребенок спросил, знает ли он, капитан, что такое якорь.

Первая часть поездки была похожа скорее на торопливый доклад без оппонентов, но с наглядными, показательными иллюстрациями. Темой служил парус, сшитый из чего-то, напоминающего простыню, действительно с синими полосками, а аудиторией я.

- В ненадутом состоянии, – захлебываясь говорил мой собеседник, – парус представляет собой совершенно ненужное явление...
- Я бы сказал, даже несколько отрицательное, – вставил я. – Дело в том, что уже полчаса я гребу против течения, на руках у меня уже небогатая, но хорошо подобранная коллекция мозолей, а твоя проклятая простыня хлещет меня по лицу... Через пять минут я брошу гребсти – можешь садиться сам.
- А кто же будет управлять парусом? – удивленно спросил он.
- Если все управление состоит в том, чтобы сидеть против этой тряпки, курить и говорить глупости, – я могу с успехом заменить тебя...
- Подожди, – обещающе кинул он, – будет ветер, ты увидишь.

Очевидно, на этот счет у него были несколько неточные сведения. В последовательном порядке природа до ветра выпустила сначала легкий дождик, после чего более основательный, а затем уже вполне достаточный и для более требовательных людей, чем я.

Наш парус висел, как мокрые матросские штаны на рее, проявляя признаки жизни лишь тогда, когда ему хотелось шутовски сбить мне шляпу или слить на меня запас дождевой воды.

– Нужно было бы повесить другой парус, – задумчиво и уныло констатировал мой собеседник.

– Я предпочел бы видеть повешенным тебя самого, – хмуро предложил я. – Это зрелище более соответствовало бы моему настроению.

– Погоди. Будет ветер.

Когда небо покрыто тучами, очень нетрудно предсказать такое примитивное атмосферное явление, как ветер. Действительно, ровно через семнадцать минут (по моим уже подмоченным часам) наша простыня вздулась так неожиданно, что приятель оказался в лежачем положении под носовой лавочкой, а лодка, описав упрямый полукруг, в срочном порядке потянулась к берегу. Я грустно посмотрел на весло, выскользнувшее из моих рук и заигравшее на поверхности реки, как молодая рыбка.

– Лови весло! – истерически крикнул он.

– Брось. Меня с детства не приучили ходить по воде. Попробуй приманить его обратно обещанием «на чай»...

– Держи веревку от паруса... Неужели ты ничего не видишь?

– Я вижу только, что лодка совершенно отделилась от нашей компании...

Действительно, стоило только этому проклятому парусу надуться, как части нашей лодки зажили совершенно самостоятельной жизнью: нос совершенно зарылся в воду, как бы желая внимательно рассмотреть речное дно, парус сдвинулся влево, настаивая на том, чтобы мы опрокинулись именно на этом самом месте, а не на другом, оставшееся весло выворотило среднюю скамейку, а сама лодка наивно и безыдейно закрутилась штопором на середине реки. Что касается живого состава, то он вел себя соответственно характеру, наклонностям и воспитанию: я сидел по колени в воде и медленно раздевался, предпочитая плыть в более удобном костюме, а приятель с веревками в руках жутко обнимал парус, пытаясь, очевидно, овладеть этим сложным и ехидным аппаратом.

– Мы сейчас вывернемся, – сквозь веревку прохрипел он, – идиотский парус...

– Это твое первое умное слово за всю поездку, – мрачно констатировал я, – только нельзя ли вывернуться около берега? Там как-то уютнее.

– А что я сделаю, – безнадежно хрипел он, – когда я его не тяну, он все равно тянет вниз?..

– Попробуй с ним сговориться на условиях взаимности... Скажи, что ты его снова сделаешь простыней, пусть только сейчас даст возможность выбраться...

Увы, парус оказался самой беспринципной и наглой простыней. Внезапно надувшись другим боком, парус повернул лодку против течения, и набежавшая новая туча могла сверху убедиться в том, что дно нашей лодки только недавно было аккуратно перекрашено. Мы плыли рядом с ней. Не знаю, как отнеслась лодка к этому соседству, но мне оно решительно не нравилось.

На берегу роль докладчика перешла ко мне. Аудитория в мокрых кальсонах и с безысходной грустью в глазах возражала плохо и мутно, тоскуя о папиресе.

– Разбрасывать по незнакомым рекам пиджаки и брюки чрезвычайно глупо, – уныло сказал я. – Теперь они, наверное, плывут по течению, даже забыв об именах своих недавних



владельцев...

– А у меня в брюках был кошелек...

– Если бы там был даже не кошелек, а живая собака, положения это не меняло бы нисколько... Теперь нам придется в голом виде возвращаться в город. Я к этому не привык: для моего возраста это очень игриво.

– Ну что же я могу сделать? – виновато спросил он.

– Что хочешь, черт бы тебя взял... Можешь взять меня на руки и нести до квартиры, уверяя, что я ребенок, ненормально выросший благодаря неурядицам в семье... Сбегай за извозчиком...

– Извозчики по рекам не ездят.

– Это ты прав. Особенно с простынями вместо паруса, которыми еще к тому же не умеют управлять...

Короче: поздно вечером нас привезли на грузовике, сердобольно захватившем нас домой. Ехали мы на дровах и без особого комфорта.

С приятелем моим мы теперь видимся с перерывами не менее чем в полугодие. Я знаю только одно, что он теперь не только не катается с парусом, но, когда при нем начинают застилать постель и он видит простыню, ему делается нехорошо и легкая краска покрывает его смуглые небритые щеки.

Что же касается меня, то на предложение покататься с парусом я отвечаю веселым и корректным поклоном и быстро выхожу из комнаты.

1934

Как я писал для эстрады

Обычно, когда какого-нибудь автора просят написать что-нибудь для эстрады, его извиняющимся голосом предупреждают:

– Только уж как-нибудь без этого... без литературщины... Без этих, знаете, тонкостей... Сами понимаете: эстрада...

Последняя фраза обыкновенно произносится с тем скорбным выражением, с каким шофер перевернувшегося такси, вылезая из-под машины, объясняет подбежавшим пешеходам:

– Сами понимаете: мостовая.

Поэтому у меня к эстрадным заказам всегда немного тревожное отношение. Несколько раз я пытался самостоятельно засесть за эстрадный репертуар и хорошо помню, какое гнетущее впечатление это производило на окружающих. Даже скромная и почтительная домашняя работница глухо ворчала перед невидимым для меня собеседником:

– Тише, черт... Не бубни... Хозяин острить сел. С жиру бесится... Лучше уж запил бы – всем спокойнее было бы...

Но однажды все же я засел писать по специальному заказу. Нужно было одному

приятелю-эстраднику дать две веселых сценки для чтения. Я написал ему легкий разговор на свежие литературные новости и игривый диалог на иностранные темы. По-моему, я написал очень хорошо. К сожалению, это было чисто личное впечатление. Утром оно в значительной степени изгладилось, когда я принес приятелю обе вещицы.

– Послушай, – грустно сказал он, прочтя их и окинув меня сожалеюще-безнадежным взглядом, – это же «Война и мир».

– Мне кажется, – тихо возразил я, – это значительно короче и с несколько другим уклоном.

– Ну, «Обрыв», – уступил он и с чисто дружеской любезностью добавил: – Ну, «Отцы и дети», если хочешь, не говоря уже о «Портрете Дориана Грея»...

– Что же тебе здесь не нравится? – несколько обиженно спросил я.

– Все, – деловито подтвердил он, – начиная от той строки, которую принято считать первой, и кончая той, которую мы условились считать последней... Ты знаешь, – вдохновенно говорил он, смотря на мою рукопись, как на мыш, попавшую за рукав, – если бы я стал читать эту вещь, в публике началось бы редкое и любопытное соревнование: какой из рядов окажется наиболее сноупорным.

– Разве так нелитературно?

– Чудовищно литературно. Это похоже на труд молодого профессора по семинарию Достоевского. Исправь. Проще, ударнее, примитивнее.

Меня самого это заинтересовало. Я ушел домой и стал выправлять. Все мое остроумие я направил применительно к психологии стандартного конферансье, еще не прошедшего через комиссию по ликвидации неграмотности. Герои моих сценок острили так, что их выкинули бы из буфета небольшого вокзала подъездной железной дороги. Если бы я напечатал несколько таких вещей в журналах, мне бы пришлось через некоторое время переменить свою профессию литератора на не менее почетную, но в другом стиле, профессию смазчика вагонов.

На другое утро я снова был у приятеля.

– Это уже лучше, – одобрительно сказал он, пробежав рукопись, – это уже на что-то похоже. Такую вещь смело можно было бы прочесть на торжественном выпускном акте любого епархиального училища прошлого столетия. Исправь. Нужно попроще, примитивнее, понятнее... Помни – это эстрада.

– Ну, знаешь, – возмутился я, – больше уж я не могу... Нельзя же так, например, остричь: «Умеете ли вы говорить по-французски? Нет? Ну, тогда дайте мне займы три рубля».

– Как ты сказал? – удивился он, быстро доставая бумагу и карандаш. – А ну-ка, повтори...

– Я говорю, – уже возмущенно кричал я, – что нельзя писать таких острот... Ты еще выйди на эстраду и заяви: «А я, знаете, лучше всякого авиатора – без пропеллера могу со службы вылетать...»

– погоди, погоди... Как, как? – И рука его быстро бегала по бумаге.

Возмущенный его тупостью и чувствуя себя оскорбленным как автор, я осыпал его теми седобородыми остротами примитивного характера, за которые не подадут руки даже и в самых захолустных городах.

Он блаженно улыбался и записывал...

– Надеюсь, что ты все-таки придешь на мое выступление завтра, – уже заискивающе попросил он, когда я взялся за шляпу.

В глазах его я заметил какое-то странное выражение почтительности и удивления.

– Хорошо, – проворчал я, – зайду.

Я действительно пошел. Мой приятель выступал четвертым номером. Он вышел, напудренный и эффектный. Зал замер выжидающе.

– Встречаются, – начал он, – два гражданина. Один из них спрашивает: «Говорите ли вы по-французски?» – «Нет», – отвечает другой. «Ну и великолепно, тогда дайте мне три рубля займы...»

В зрительном зале наступила тяжелая пауза. Кто-то порывисто крикнул и зашелестел газетой.

– А вот, – уже более робко продолжал приятель, – встречаются два человека. Один грек говорит другому греку: «А как вылетишь без самолета?» А другой грек говорит...

Вторая пауза оказалась еще более тяжелой. Зрители стали конфузливо переглядываться. Я осторожно вышел. Через полчаса я встретил приятеля около вешалки. Он сердито надевал калоши. Увидев меня, он развел руками и обиженно сказал:

– Не приняли Не понимаю, что случилось с публикой.

– Поумнела, – сочувственно вздохнул я, – ничего не поделаешь. Не тебе одному трудно.

Он растерянно посмотрел по сторонам, махнул рукой и ушел.

С этих пор я никогда не пишу для приятелей эстрадного репертуара.

1934

Из сборника «Таинственный хулиган»

1935

Таинственный хулиган

Своим грязным унынием дом напоминал пьяного, который проснулся на заднем дворе и с тоскливой обидой припоминает, кто именно из недавних собеседников выкупал его в луже. Антенны на крыше стояли криво и беспомощно, как остатки частокола на огороде, в котором побывали свиньи. Краска сползла со стен. Около ворот была выбоина, похожая на дупло в зубе старика. И только волнообразные накопления мусора и неподобранного утиля во дворе напоминали о том, что дом широко обитаем.

И вот именно в таком прозаическом доме и произошло то таинственное событие, о котором нам придется рассказать.

Нить этого события начала распутывать председательница санитарной тройки Нина Ивановна Дубник. Речь ее на экстренном заседании правления жакта, созванном по поводу запоя истопника Демидыча, была коротка и деловита.

– В нашем доме, – сказала Нина Ивановна, сверкнув неумолимым взглядом сквозь стекла пенсне, – в нашем доме завелся хулиган. Я это утверждаю от лица домовой общественности.

– Прошу осторожнее, гражданка зубной врач, – несколько официально и обиженно перебил ее управдом Теркин, – не такое сейчас время, чтобы бросаться хулиганями.

– Беру хулигана на себя, – так же неумолимо подтвердила Нина Ивановна. – Что мы имеем? Мы имеем уже четыре пострадавших случая. Пусть жертва из одиннадцатого номера подтвердит мое выступление.

Жертва из одиннадцатого номера не отказалась от подтверждения. Это был сухонький старичок, говоривший с невысказанной болью в душе.

– Я семь лет служу на одном месте, – сказал он, собираясь с мыслями. – А у меня в комнате с потолка каплями капает. И вот на прошлой неделе развесил я выстиранное белье на чердаке, – мне приходящая Марья Гавриловна стирала, – и что же вы думаете: все на полу, постаскивали, гады, с веревки, побросали, а по, извините, кальсонам, точно медведь лапами брякал, – в золе все, и завязки порваны. Разве ж так живут люди? Чистое хулиганство!

Домовая общественность заволновалась.

– Вот вы говорите – белье. Вы изволили сказать – кальсоны, – возмущенно откликнулся экономист из девятого номера, – а лампочки? Лампочки на культурном фронте не ниже кальсон. А кто их вывертывает? Почему это я, человек с высшим образованием, должен, как собака, держаться вечером за перила, когда возвращаюсь в свой семейный уют? Уважаемая Нина Ивановна дважды права: в нашем доме есть хулиган.

– Есть еще и жертвы, – по-прежнему неумолимо вставила Дубник и обвела собрание торжествующим взглядом. – Пусть они обменяются мнениями.

– Я не жертва, раз вы на этом настаиваете, – поднялся жилец из двадцать первой квартиры, – но поскольку дело идет о проявлении социального бандитизма... Прошу слова к ведению заседания!

– Вы его заимели, – кивнул председатель жакта Теркин, – закругляйтесь и продолжайте.

– Раз, говорю я, – продолжал жилец из двадцать первой квартиры, – мы должны быть, как один, против проявлений, то я должен заявить, что у меня ежеутренне прут газету. Она торчит из ящика, и ее прут. Непосредственно после втыкания письмоноосцем.

– А почему у меня не прут? – нахмурился секретарь правления.

– Не выписываете печатного слова, потому и не прут.

– Мало ли что не выписываю. Вы мне на голову не садитесь, я не вам подчинен. Вставали бы пораньше и брали вашу газету.

– Я встаю, когда хочу. Я встаю поздно. Я голый не могу выходить на общественную лестницу, по которой дамы ходят.

– Вы бы на пианинах меньше играли, – едко вступилась жилица из девятнадцатого номера. – Я не какая-нибудь, я все слышу. Вы думаете, если вы кресло ночью катаете либо в десять ног танцы разводите, так я уж не слышу, что у меня над головой делается? Необразованная, мол,

не услышит. Так я вас насчет газеты понимать должна? Газета! Для вас все – газета, а кто за слова отвечать будет? Я без газеты проживу, а со словами я жить не желаю. Я... меня... дети...

– Какие слова, гражданка? – хмуро спросил Теркин. – Закругляйтесь.

– Пусть лучше они, хулиганы, не закругляются. Слова обыкновенные. Дверные. Как утром открываешь дверь, а на ней слова... Пишут.

– Какие слова, гражданка?

– Какие надо, такие и пишут. Мелом.

– Довольно. Это не я говорю, а домовая общественность говорит: довольно! – решительно вмешалась Нина Ивановна. – Подведем теперь итоги и цифры. Что мы имеем на сегодняшний день в доме семь – пятнадцать по Яловому переулку? Мы имеем социально опасное вывертывание электроприборов с лестницы, мы имеем покражу периодических органов, не считая организованной сброски белья советских граждан на общественном чердаке, и ко всему этому писание мелом, которое нельзя не рассматривать как выпад. В доке семь – пятнадцать есть хулиган, как некоторые из нас сигнализировали. Каким взглядом смотрит наш председатель товарищ Теркин на хулигана? Никаким. Он умывает руки в этом вопросе. Он не борется. Но хулиган должен быть выявлен. Я предлагаю для выявления этого позорного явления избрать Григория Марковича из одиннадцатого номера, вот эту гражданку, которая выступала со словами, меня и...

На другой день рано утром внезапно появился временно освободившийся от запоя истопник Демидыч. От него пахло нефтью, водкой и прелым картофелем.

– Кончил водку жрать? – хмуро спросил его Теркин. – Эх, борода!..

– Кончил-с, – почтительно ответил Демидыч.

– Вот что, Демидыч, – задумчиво сказал обеспокоенный после вчерашнего заседания Теркин, – возлагаю на тебя общественную работу. В доме завелся хулиган. Понял?

– Хулиган, это можно, – согласился Демидыч.

– Ну, так вот. Как затопишь у себя там, иди на всю ночь на лестницу и смотри. Наблюдай. До позднего утра наблюдай. Потом скажешь, что заметишь, а ежели кого поймаете – мы тебе на общем собрании благодарность вынесем в пять рублей. Ступай.

– Не извольте беспокоиться, Иван Савич, – погладил Демидыч бороду, – не маленький. Как пымаю хулигана, так к вам сволоку. У меня не вырвется.

Демидыч дежурил честно. С одиннадцати вечера он уже засел в кабинку недействующего лифта, вылезал из него с таинственным видом разведчика, обошел чердак, прислушивался около дверей и в десять утра, утомленный и разочарованный, постучался к Теркину.

– Ну? С чем пришел, Демидыч?

– Не было его, Иван Савич, не пожаловал.

– Кто не пожаловал?

– Да хулиган-то наш. Все в аккурате было. Тихо. Только из двадцать первого ночью пьяный пришел. Ну, ничего, не буянил. Только мелом на дверях слова разные писал. Чуть спяна на чердак не полез вместо своего номера. А там эта была – рябая из девятнадцатого.

Инженерово белье поскидала, свое навесила.

– Так, – протянул управдом, – а утром?..

– Утром что? Утром ничего. Дрыхли все. Только который экономический, толстый, вылез в шубе, в туфлях на босу ногу, пошлепал наверх да газету вытянул из чужих дверей...

– Ничего больше?

– Ничего, Иван Савич.

– Так, значит... – еще раз протянул управдом. – Ну, иди, Демидыч. А что это у тебя в руках?

– Да ничего, Иван Савич, лампочка. В третьем этаже вывернул. Жильцу она на баловство нужна, а мне топить не при чем.

– Отдай, – сухо сказал Теркин, – у самого перегорела. Он внимательно осмотрел лампочку, вздохнул и обиженно прошептал:

– Да-с... Жилец пошел... А ведь тоже – хулиганы, хулиганы! Ищи для них хулиганов... Найдешь его черта с два в таком домике!..

1935

Трое рассказывают

– В дом мистера Норгама я прибыл в светлом гробу а большими кистями, – начал хромой Люс, стараясь не перелить несколько лишних капель содовой в объемистый стакан с виски. – Это был мой первый выезд по поручению газеты. Если у тебя, Дик, хватит терпения, а у Шарроу денег, чтобы заплатить за порцию джина, я буду продолжать рассказ.

Дик и Шарроу кивнули в знак согласия. До прихода «Изабеллы», которая привозила из Европы в Америку две тысячи пассажиров, грипп, одного бывшего короля, безрукого виртуоза на скрипке, несколько тонн французских сардинок и голландского премьер-министра, оставалось еще часа четыре. И трое репортеров коротали время в маленьком портовом нью-йоркском кабачке. Почему же не заполнить четыре часа воспоминаниями о первых шагах репортерской карьеры.

– Этот самый мистер Норгам, – продолжал хромой Люс, – богател на всем. Когда-то он разводил кур, и эта паршивая курица принесла ему золото. Потом он продавал оптом все, вплоть до навоза и мышьяку, и стал еще богаче. Если бы такого человека спихнуть в змеиную яму, он распродал бы всех гадюк по повышенной расценке и вылез бы из ямы вдвое богаче. К тому времени, о котором я рассказываю, он уже просто мычал от обилия денег и готов был ползать на четвереньках по процентным бумагам. Я торговал лимонадом в уличном киоске и вылетел оттуда за то, что направил струю из сифона не

в стакан одному из джентльменов, а в лицо. Я отделался легким штрафом, так как морда у потерпевшего была неважная и не вызвала симпатии даже в полиции, но все-таки остался без работы. Один из моих приятелей служил кассиром в местной газете. Как сейчас помню ее название: «Святая заря». Она была ежедневным органом местных католиков, и редактор ее содержал игорный притон.

– Устрой меня на какую-нибудь работу в вашем вонючем листке, – попросил я приятеля. – Я

умею не только обливать лимонадом местное население.

– Хорошо, – сказал он. – Сейчас редактор только что спустил с лестницы одного репортера, который не мог пробраться к мистру Норгаму. У этой золотой крысы умерла старая тетка. Нужно зайти к нему и поговорить с ним для газеты о бессмертии души. Сумеешь пробраться к нему – сразу сделаешься репортером, будешь зарабатывать тридцать долларов в неделю и угощать меня пивом по воскресеньям.

Я сразу побежал к мистру Норгаму и радостно сообщил его швейцару, что намерен срочно побеседовать с его хозяином о бессмертии души. Швейцар сразу отодвинул меня половой щеткой с порога и запер передо мной дверь. Я попытался пройти с черного входа. На кухне повар, доедавший гусиную лапку, заявил, что ему уже надоело с утра обливать холодным супом всех репортеров, которые прорываются к мистру Норгаму, и что, если я сейчас же не уйду, он вызовет ко мне не Норгама, а его датского бульдога. Как вы сами догадываетесь, я быстрее обычного спустился с лестницы и стал ходить около дома.

«Странно, – подумал я, – неужели богатому человеку нужны швейцары, бульдоги и повара только для того, чтобы не дать другому человеку заработать пять долларов на интервью? Какие громадные затраты на такое пустяковое дело!»

В этот момент к особняку мистера Норгама подъехал грузовик, на котором, как заливной поросенок на блюде, стоял прекрасный серебряный гроб с большими кистями, У меня мелькнула прекрасная мысль.

– Слушайте, леди и джентльмены, – сказал я двум подвыпившим гробовщикам, снимавшим гроб с грузовика. – Для меня ясно, что вы привезли гроб для норгамовской тетки. Хотите заработать от редактора по два доллара?

– Я стихов не пишу, – хмуро ответил гробовщик постарше, – и в газетах мне печатать нечего. Но так как мне очень хочется выпить – валяйте, излагайте ваше предложение.

– Дело вот в чем. Я лягу в этот гроб, и вы отнесете меня на квартиру Норгама. Прибавится лишних шестьдесят кило веса, но каждый из вас получает по два доллара. Согласны?

– Ложитесь, сэр, – сразу и гостеприимно предложил, открывая крышку, гробовщик помоложе и, когда я залез в гроб, добавил: – И чувствуйте себя как дома. Кстати, если вы собираетесь обокрасть квартиру, не забудьте при дележе и нас.

Через пять минут меня внесли в приемную мистера Норгама. Он вошел в комнату, с ненавистью посмотрел на вестника смерти с мягкими кистями по бокам и сердито плюнул на крышку. По этому жесту я уже понял, как мистер Норгам относится к бессмертию души. Для меня и этого было бы вполне достаточно, но для газеты это было маловато. Я уже хотел кашлянуть, чтобы привлечь к себе внимание, но в этот момент вошел швейцар и почтительно доложил Норгаму:

– Сэр. Там два гробовщика внизу требуют какого-то джентльмена, который им обещал по два доллара. Они хотят получить с него задаток.

– У меня нет никакого джентльмена. Я не видел никакого джентльмена, – заворчал Норгам.

– Они так и оказали, сэр, что его трудно увидеть сразу, так как он лежит в гробу.

– И они не ошиблись, сэр, – добавил я, осторожно высовывая голову, – я здесь. Приветствую вас с прекрасной погодой, сэр.

Начались обычные китайские церемонии. Норгам предложил пробить мне голову и выкинуть из окна. Швейцар настаивал на том, что будет эффектнее положить меня в ванну, вымыть в

холодной воде и вызвать полицию. Только одна покойная тетка, лежавшая на столе, не прибавила ничего к этому списку ожидающих меня удовольствий.

– Мерзавец хотел меня обокрасть! – кричал Норгам, подпрыгивая на ковре.

– И скорее всего зарезать, – почтительно добавил швейцар.

– Да, да. Мерзавец хотел меня обокрасть и зарезать! – согласился Норгам.

– Мерзавец хотел вас только проинтервьюировать, – миролюбиво разрешил я их спор, – насчет ваших взглядов на бессмертие души.

– Вон! – уже более успокоенно и дружелюбно крикнул Норгам.

– Вон! – повторил швейцар.

– Хорошо, – вскользь заметил я, удобнее усаживаясь в гробу. – тогда разрешите только записать в блокнот, как вы, сэр, изволили плюнуть на гроб, этот символ будущего неземного счастья правоверного католика, который...

– Черт с вами. Интервьюируйте, – опасливо прошипел Норгам, искоса посмотрев на швейцара. – Идите вниз, Роберт. Ну, начинайте.

Не помню уже, что трепал языком этот боров. Он умолял считать себя и методистом, и католиком, и протестантом сразу. А главное, все, что он делает, – это, оказывается, специально для будущей жизни. И даже то, что он продал для армии гнилую свинину, а городу – болото под видом парка, даже и это исключительно в расчете на бессмертие души. Короче говоря – интервью было у меня в руках.

Через два часа я сидел в редакции «Святой зари», диктовал переписчице этот нахальный бред и перебирал в кармане одиннадцать долларовых бумажек. Четыре я отдал гробовщикам, которые успели напиться и дожидались меня около редакции, оглашая воздух пьяными песнями и шумными угрозами выбить стекла. Так я стал репортером и уже вечером зарабатывал построчно на двух утопленниках и приезде архиепископа. Теперь твоя очередь, Дик. Расскажи ты. У меня в горле так сухо, что там нечего было бы делать даже хорошему пылесосу. Валяй, дружище...

Дик рассказывал сухо и с таким видом, как будто бы оправдывался перед судьей за поджог сарая:

– Я начинал просто. Меня жарили в камине. В лучшей гостинице города. Спасибо, что топили сырыми еловыми поленьями, и дело ограничилось только пятками и бахромой на брюках. Будь бы сухие, березовые, – из меня получилась бы недурная головешка.

К нам в город приехал из Европы итальянский баритон. Он умел что-то очень сильно кричать в операх, и ему платили за это большие деньги. Его дожидались лучшие репортеры наших газет, чтобы спросить, как зовут его собаку, когда родилась его жена и что он больше любит – канареек или абрикосовое мороженое. Публика любит эти музыкальные подробности, прежде чем платить по пятидесяти долларов за кресло.

Баритон сошел с парохода с перевязанным горлом, размахивая зонтом, сосал леденцы, хрипел и не сказал ни одного слова репортерам. Я оказался умнее их. За обещание рекламировать в газете гостиницу, начиная с обедов и кончая уборными, директор согласился спрятать меня в камин в том номере, который был приготовлен для итальянского баритона. Меня впихнули за решетку камина, я быстро ориентировался в темноте и залез немного выше, на кирпичный выступ, поджав ноги. Должен сказать, что камин по величине напоминал клетку для слоновьего семейства, и я чувствовал себя неплохо. Обидно было, что



весь мой белый костюм и лицо сразу вымазались в саже, и я начал подозревать, что, когда вылезу для интервью, баритон испугается и станет меня бить каминными щипцами.

Случилось хуже... Оказывается, баритон хотел есть. Ему принесли ужин, которого хватило бы на восемь голодных негров. Потом он захотел пить, и для него четыре кельнера оккупировали все, в чем только были пробки. Потом ему стало холодно, и, невзирая на мое присутствие, лакей стал топить камин. Я не дал этому животному на чай, прежде чем залез в дымоходную трубу, поэтому он напихал туда столько поленьев, что мне пришлось потихоньку разбрасывать их ногами в белых ботинках.

Сначала было более, чем нужно, тепло и немного душно от дыма. Потом я стал коптиться, как воловий язык, и терять подметки. Я махнул рукой, наскоро вылез и извинился перед баритоном, что вошел без стука. Баритон икнул от испуга, стал визжать и бросать в меня заранее привезенными из Европы лавровыми венками.

– Маэстро, – наскоро придумал я трогательную историю, – перед вами артист, у которого тоже баритон, и я думал послушать ваше верхнее ля, сидя в камине. Поэтому не сердитесь и возможно быстрее выкладывайте, как зовут вашу собаку, когда родилась ваша жена и любите ли вы абрикосовое мороженое.

Баритон дрожащим голосом сказал все, что нужно, и позвонил, чтобы меня вынесли из номера. По-видимому, этот колоратурный хам считал, что людей ниже его ранга можно только выносить, а выводят одних герцогов и вдовствующих императриц.

Во всяком случае, интервью у меня было. Моя дочурка ночью обиженно плакала над обожженными пятками своего Дика, но с аппетитом съела пару пирожков, которые я наконец-то смог принести ей после двухмесячной голодовки. Так я начал свою репортерскую карьеру, будь ей пусто! – закончил Дик и плюнул в дальний угол, на пробегавшую кошку. Наступила очередь старика Шарроу. Он отхлебнул вишневой настойки, отменил седьмой заказ Люса на новую порцию виски и начал:

– Из всех свободных профессий мне больше всего улыбалось конокрадство. Это занятие учит человека любить природу, освобождает его от подкупов во время избирательных кампаний и позволяет ему не увлекаться поучениями мистера Форда. К сожалению, судьба не позволила мне заняться облюбованным делом и наталкивала меня на более скучные профессии. Я был секретарем городского ветеринара, декоратором магазинных витрин, псаломщиком и наемным шафером на небогатых свадьбах. Потом мне это надоело, и я пошел к редактору единственной в нашем городишке маленькой газеты.

– Алло, Ришт, – сказал я ему. – Сделайте меня репортером. Я знаю всех жуликов в городе и могу писать хронику краж на полтора месяца вперед. Возьмите меня на жалованье и располагайте мной, как своей зубочисткой.

– Не будьте идиотом, Шарроу, – кисло проворчал Рипп, – разве вы не слышали, что у меня газета закрывается? С тех пор как состязания превратились в бокс и закончился процесс о разводе этого проклятого фабриканта щеток с мулаткой из варьете, общественная жизнь в городе остановилась, как мул перед часовой. Никто ничем не интересуется, кроме собственной свинины за обедом. Кому теперь нужна газета! Создайте сенсацию – и газета оживет.

– Хорошо, – ответил я, – создам. Мне все равно теперь нечего делать и не на что обедать. Создам. Заказывайте, что вам надо.

Рипп задумался, пожевал бороду и постучал карандашом по бумагам.

– Слушайте, Шарроу. В городе ежедневно работает большая шайка спиртных

контрабандистов.

– Надеюсь, Рипп, она работает ночью?

– Конечно, Шарроу. Днем они сидят в городском самоуправлении в качестве свободно избранных отцов города. Попробуйте проследить за ними. Я знаю, что после этого в редакции не останется ни одного целого стекла, а меня объявят беспаспортным бродягой, – по крайней мере, газету начнут снова читать. Попробуйте.

– Попробую, Рипп. Будьте здоровы.

Когда хотят надеть шляпу, надевают шляпу, а не картонку из-под нее. Когда хотят узнать о контрабандистах, делаются контрабандистами.

Я пошел к ним на деловое заседание после богослужения в храме святой Луизы, которую они считают покровительницей крепких спиртных напитков, и сказал:

– Я умею грести, молчать, стрелять, лежать в кустах и править автомобилем. Кроме того, я люблю хорошо одеваться и обедать не через день. Годится вам такой парень?

Должно быть, у меня была явно подкупающая внешность для их ремесла, потому что меня приняли без проверки и только спросили, где я в последний раз судился и могу ли поднять на плечах больше ста килограммов.

В ту же ночь я уже сидел на носу моторной лодки и тревожно присматривался к берегу соседнего штата.

– На берегу полицейские, – тревожно предупредил я компанию, игравшую в карты на пустых корзинах в полной темноте.

– Сколько их? – спокойно спросил один из контрабандистов.

– Двое... – прошептал я, чувствуя, что моя карьера, кажется, заканчивается слишком быстро.

– Двое? Подлецы! – констатировал тот же контрабандист. – Мы платим жалованье четырем полицейским, чтобы они притаскивали на берег виски и джин, а они сваливают всю работу на двоих. Надо будет пожаловаться начальнику полиции. Слава богу, тоже не даром работает.

На душе у меня стало немного легче. Когда мы под утро вернулись с запасом спиртного обратно в наш городишко, произошел дележ заработка. На мою долю выпало двадцать девять долларов. Мне это сразу понравилось.

«Мне кажется, – уклончиво сказал я самому себе, – наблюдений одной ночи еще не вполне достаточно для хорошей газетной заметки. Надо присмотреться еще к некоторым деталям этого преступного ремесла».

В следующую ночь эти творческие наблюдения принесли мне еще сорок два доллара.

– Ну, как дела, Шарроу? – спросил меня редактор Рипп.

– Средне, Рипп. Дальше будет лучше.

Ожидания меня не обманули. Через день мы привезли шесть бочек рома, и на мою долю выпало семьдесят восемь долларов. А на другой день – всего девять. Меня обеспокоила эта необеспеченность в заработке и зависимость от количества спиртного, и я потребовал, чтобы мне выплачивали аккуратно по сорока за день.

– Черт с вами! – благожелательно согласился шеф нашей компании, церковный староста,

косой Берри. – Вы парень подходящий. Получайте по тридцати за ночь, работайте и не ворчите, если не хотите, чтобы вас выслали из города как неблагонадежный элемент.

Так я и проработал с ними почти полгода, вплоть до издания мокрого закона, когда за виски можно было уже днем ходить за угол, а не ездить по ночам в соседний штат.

– Погодите, Шарроу, – удивленно спросил Люс, когда тот замолчал, – а как же вы сделали репортером?

Старик Шарроу посмотрел на часы, поднялся со стула и, лениво позевывая, ответил:

– А очень просто. У косоного Берри скопилось много денег от ночного виски. Он купил газету у Риппа, выгнал его и поручил мне вести футбольный отдел и церковную хронику. Идемте, джентльмены: мне кажется, я слышу сирену «Изабеллы»...

1935

Тихий мальчик

Мать привезла Шуру Кокосова в дом отдыха на весенние каникулы. Хотела остаться сама, но ее срочно вызвали на несколько дней обратно в город. Уезжая, она проинструктировала Шуру, в каком чемодане учебник истории, в каком – носки и мармелад, и потихоньку от него пошептала с соседями по комнате:

– Вы только не подумайте, что он какой-нибудь шумный... Он у меня мальчик тихий, воспитанный, мешать никому не будет... Я уж очень вас прошу, присмотрите за ним... Первый раз один, без родителей...

– Не волнуйтесь, гражданка, – успокоил ее отдыхающий Слойкин, – я человек культурный, я с ним займусь.

– У меня у самого два племянника в Костроме живут, – поддержал его второй отдыхающий, Самогубов, – я детей насквозь чувствую. Ребенок как воск: поживет, поживет и вырастет.

– Очень, очень вам благодарна, – шептала Кокосова, глотая материнские слезы, – я очень надеюсь...

И особенно ей стало легко, когда третий отдыхающий – публицист Гридасов – вставил в свое веское обещание:

– Я вашего ребенка, гражданка, возьму под анализ. Мне уже давно нужна душа советского ребенка для выводов.

Успокоенная Кокосова девять раз поцеловала смущенного Шуру и уехала.

\* \* \*

В тот же день поздно вечером Шура Кокосов, проскучав у себя в комнате, осторожно пробирался по коридору в библиотеку.

– Мальчик! – остановил его на полдороге Слойкин. – Почему ты ходишь на цыпочках?

– Мне мама сказала, – ответил смущенный Шура, – чтобы я вечером не беспокоил отдыхающих. Может, кто-нибудь спит.

– Неправильное воспитание. Подавление личности в ребенке. Советский ребенок не должен ходить на цыпочках. Отрыжка старого прошлого. Это только в благородных институтах спали и ели на цыпочках. Чистокровная реакция. Вырастешь – сам схватишься за голову.

– Хорошо, – согласился Шура, – я не буду ходить на цыпочках, если это подавление.

И он защелкал каблуками вниз, в библиотеку.

Там он сел в кресло-качалку и стал читать Пушкина. Через десять минут в библиотеку вошел Самогубов.

– Пожалуйста, – сказал Шура Кокосов, поднимаясь с качалки, – садитесь.

Самогубов удивленно посмотрел на мальчика.

– Ты это зачем? – строго спросил он.

– Хотел уступить место, – покраснел Шура.

– Отрыжка феодализма, – наставительно заметил Самогубов. – Глухое средневековье. Это какой-нибудь курфюрст бранденбургский уступал место Пипину Короткому. Мы уже смели это наследие. Экономика нашего времени говорит, что советский ребенок должен сидеть там, где сидит.

– Хорошо, – вздохнул Шура, – я не буду уступать места.

– А что читаешь?

– Пушкина.

– Хороший бытовик. Только это тебе рано. Зачем советскому мальчику все эти одинокие парусы, которые белеют?

– Это из Лермонтова.

– Все равно – лирика. Тебе нужна пища для фантазии. Зарядка бодростью. Вот почитай Буссенара, как одному мулату ноги отрезали...

На другой день, когда все сели завтракать, Шура Кокосов вошел в столовую и поклонился.

– Ты это кому? – заинтересованно спросил Гридасов.

– Всем, – робко ответил Шура.

– Так... Введение театральных моментов в воспитание советского ребенка. Отрыжка сороковых годов. Герцог вошел в столовую замка и поклонился графам и виконтам. Запомни, мальчик, что советский ребенок должен активно подходить к столу, где эпоха подготовила для него кусок баранины. Пусть кланяются дети в мещанской Европе, у которых баранина вырвана изо рта неимущих. Ты же – дитя сегодняшнего нашего дня. Понял?

– Понял, – сказал Шура и втиснулся к столу. – Вам, кажется, горчицу надо?

– Не растрачивай себя на буржуазный альтруизм, – строго остановил его Гридасов, – не один человек обслуживает общество, а общество – человека. Каждый возьмет себе, что надо. Каждый имеет право на свою долю уксуса, перца и горчицы, но если один индивидуум будет

протягивать другому перец, другой третьему – укус, получится внеплановая анархия.

– Хорошо, – послушно сказал Шура, – я больше не буду передавать горчицу.

– Сентиментальное воспитание, – вздохнул Слойкин. – Розовая водица. Пастушеский период.

– Трудный ребенок, – согласился Самогубов. – Болезненная оторванность от эпохи. Такого не перекуешь.

В этот же день после обеда Слойкин сделал Шуре еще одно замечание:

– Хитрый ты мальчишка... Себе на уме. Все молчишь и молчишь. Камень за пазухой держишь... Все говорят, а ты сидишь и слушаешь...

– Мне мама говорила, что когда старшие...

– Мама, мама... Все мы мамы, когда воспитать не умеем. Мнение у тебя собственное есть? Значит, высказывай. Настоящий советский ребенок должен заставить прислушиваться к своему голосу.

Его сменил Самогубов.

– Пришибленный ты какой-то, – грустно сказал он. – Дефективный. На улице весна. В лужах плескаться надо, камнем в воробьев запустить. Пушкин – и тот птиц камнями бил. Мама запретила, поди?

– Мама, – согласился Шура. – Впрочем, если это надо, я буду...

\* \* \*

Через шесть дней приехала Кокосова. Прямо со станции она попала к обеду, вошла в столовую и побледнела.

За столом, развалившись, сидел Шура и, громко чавкая, глотал баранину.

– Ну, как мой Шура? – тихо и тревожно спросила она у Слойкина.

– Непонятный ребенок, трудный ребенок, – покачал тот головой и, отвернувшись, продолжал: – Так я говорю, что если сравнить лирику Байрона с Лермонтовым...

– А ну их, – неожиданно вмешался Шура, – один хромой, а другой на дуэлях почем зря дрался, да о парусах разорялся... Скучота!..

И он лихо бросил под стол баранью кость.

– Шура, – дрожащим голосом попросила Кокосова, – передай мне масло...

– Сама возьмишь, – сухо ответил Шура. – Я тебе не грузчик, чтобы масло да сало растаскивать...

Через десять минут плачущая Кокосова уводила Шуру в комнату. Он отщелкивал в коридоре чечетку и плевал на стены.

– Шура, тише...

– Чего там тише, – хладнокровно сплюнул он, – я тебе на цыпочках, как какой-нибудь курфюрст бранденбургский, топать не желаю. И пусть тебе отрывки место уступают, а с меня довольно! Да не реви ты – не разводи феодализм в этой паршивой дыре...

– Шура, – схватилась за голову Кокосова, – что с тобой стало? Что с тобой сделали?

Шура запустил палец в нос и сухо заметил:

– Воспитали, мамаша... Ну, поворачивайся скорее! У меня там в комнате два голубя подбитые в умывальнике лежат... Ощипли их, – вечером жрать будем.

1935

## Счастливым случаем

Милиционер Ежевикин шел разговаривать с Зосиным папашей о женитьбе. Папа жил в Туле. Папа третьего дня приехал из Тулы специально, чтобы увидеть Ежевика и воочию убедиться, в чьи неизвестные руки он передает свою младшую дочь. Все краткие сведения о папе, полученные от Зоси, были очень несистематизированы и расплывчаты. Выяснено было только, что у папы большая черная борода, лишай за ухом, низменная страсть к пирогам с капустой и очень тяжелый характер, когда ему не дадут выспаться после обеда. Ежевикин был нетребовательным человеком, но всего этого было слишком мало для того, чтобы почувствовать внезапное влечение к будущему тестю. Особенно его пугал предстоящий сейчас разговор.

– Ты только понравься ему сразу, – ободряюще инструктировала вчера Ежевика Зося. – Ну что тебе стоит?

– Я сразу нравиться не умею, – уныло вздыхал Ежевикин. – У меня это не выходит.

– Вот и врешь! – настаивала Зося. – А почему мне сразу понравился? Значит, не хочешь.

– Хорошо, – так же уныло согласился Ежевикин. – Завтра приду и понравлюсь. Только о чем я говорить-то с ним буду? С папой.

– А очень просто. Я, мол, люблю вашу младшую дочь, Зосю. А он тебе скажет: «Ну что же?» И она, мол, меня любит. А он тебе скажет: «Ну что же?» И мы, мол, хотим записаться. А он тебе скажет: «Ну что же?» Вот и все. Неужели трудно.

– Легко... – с горечью в душе согласился Ежевикин и почему-то добавил: – Третьего дня грузовик один, полутонна, на подводу налетел – тоже хлопот было... Кругом неприятности...

И сейчас, когда Ежевикин приблизился к Зосиному дому, ему казалось, что тут только и начинается настоящее испытание его закалки и выдержки. Еще ни разу не дрогнула у него рука, бестрепетно подносящая ко рту свисток, когда на перекрестке двух улиц такси напирала на грузовики, подводы застревали между двумя трамваями, лихо мчался на все это скопление машин и колес пожарный обоз, а юркие и нахальные пешеходы просачивались, как разлитые чернила, во все свободные дыры. Еще никто не переспорил его в мимолетной дискуссии на углу, почему нельзя висеть на трамвае и, будучи снятым, не платить штраф. И книжка ударника уютно и уже давно покоилась в боковом кармане Ежевика, но сейчас он чувствовал только свинцовую тяжесть в ногах и безотчетный страх в душе.

«Хоть бы пирога ему дали нажраться, что ли, – неласково думал он о своем будущем собеседнике. – Хоть бы надрыхаться после обеда дали ему, что ли... Папа! Давить таких пап надо...»

Дверь открыла сама Зося.

– Ждет, – тревожно шепнула она, одновременно подставляя щеку для поцелуя и освобождая Ежевика от коробки с мармеладом. – Иди.

Она втокнула Ежевика в комнату. В углу в сумерках сидел маленький лысый человек с большой черной бородой, в ватном жилете и икал.

– Познакомьтесь, папаша, – радостно защебетала Зося, – Васечка! Познакомьтесь, Васечка, – папаша!

Папаша подал руку, икнул и, посмотрев на Ежевика снизу, несколько хмуро спросил:

– Милиционером будете?

– Милиционером, – робко ответил Ежевик.

– Садитесь. Зажги-ка свет, Зося. Дай-ка твоего рассмотреть.

Зося повернула выключатель. Когда в комнате стало светло, папаша повернул заспанное лицо к Ежевику, маленькие глазки его засверкали обидой, и он неожиданно тонким фальцетом спросил в упор:

– Ты?

– Я, папаша... – взволнованно прошептал Ежевик. – Ничего не поделаешь Служба.

– Отдай три рубля! – тихо и угрожающе сказал папа. – Отдай на этом месте!

– Какие три рубля, папаша? – взволнованно вмешалась Зося. – При чем три рубля в семейных отношениях, папаша?

– Он знает, – сурово заметил папаша.

– Я знаю, что знаю, папаша, – твердо сказал Ежевик, поднимаясь со стула. – Я три рубля не себе беру. А ежели когда свистят, слезать надо. В трамвае прятаться нечего. Я вашу младшую дочь люблю, а дочкой поперек порядка меня корить нечего. И три рубля обратно требовать.

– Снял? – робко спросила Зося.

– Снял, – вздохнул Ежевик. – Они через улицу бегали, на трамвай висеть бросились, а когда свисток – внутрь впихнулись и за пассажирами нахально укрывались.

– Спасибо на добром слове! – ехидно зашипел папаша. – Родной отец к младшей дочери приехал, с вокзала, как мокрая собака, по трамваям мечется, а женишок в свисток свистит и три рубля от будущего родственника заимел. Спасибо на добром слове!

– Когда же это было-то? – всхлипнула Зося.

– Вчера было! – с негодованием откликнулся папаша. – С добрым утром на три рубля поздравили. Познакомились с Васечкой. Спасибо тебе, доченька младшая!

– Зося здесь ни при чем, папаша, – обиженно сказал Ежевик, поднимаясь со стула. – Я,

может, и через любовь мою и саму Зося, ежели бы она висья висела либо через рельсы бегала...

– Ну уж ты не очень разорайся! – перестала всхлипывать Зося. – Разговорился!

– Такой все может, – убежденно сказал папаша. – Дали им волю! Он тебе и мать родную за ногу стянет...

– А ежели кто ногу потеряет? – вздохнул Ежевикин. – Я же для порядку поставлен. Вот, скажем, идет гражданин. Вот он ногой ступает на рельсу...

– Вы насчет ног не заговаривайте зубы, молодой человек, – сухо сказал папаша. – Ноги наши. Что хотим, то и делаем с ними. А уж ежели насчет ног пошло, – тонко заметил он, – не всякая нога ко мне на порог должна зашагивать. Не всякую ногу желаю иметь у себя в семействе! И вообще до свидания. Можете на барсуке жениться, а не видать вам Зоси, как своих ушей!..

Ежевикин тяжелыми шагами вышел из комнаты. Он один одевался в прихожей. Из комнаты доносились сердитое гудение папаша и плач Зоси. Медленно спускался по лестнице. А когда дошел до последнего пролета, услышал, что где-то наверху открылась дверь, и к ногам, на грязные ступеньки лестницы, упало что-то тяжелое. Ежевикин нагнулся и посмотрел. Это была коробка с мармеладом. Ежевикин почувствовал острый холодок в душе.

...Много красных беретов. И под каждым из них старался Ежевикин последние пять дней увидеть Зосино личико и белокурую прядку, падающую на лоб. Но Зоси не было среди тех тысяч красных беретов, которые проходили мимо Ежевика во время дежурства на стыке двух длинных шумных улиц.

Хмуро и мрачно регулировал уличное движение Ежевикин. Еще ревностнее следил он за тем, чтобы кто-нибудь не проскакивал штопором перед открытым светофором. Еще суровее снимал с подножек серокепочных людей с раздутыми портфелями и вручал им штрафные квитанции. Но в жизни прорезалась какая-то трещина, и стоило мелькнуть красному берету в толпе, трещина саднила, как порез, на который капнули одеколоном.

И когда ранним осенним вечером Ежевикин возвратился домой, чтобы тоскливо помечтать о Зосе, на столе у него лежала городская открытка с незабываемыми строками:

«Васечка! Приходи сегодня в девять. Целую.

Зося».

Ежевикин умиленно погладил открытку, сразу взял себя в руки и сурово прошептал:

– Не пойду.

Повторил еще раз эту торжественную клятву и сразу стал одеваться.

Через полчаса Зося уже отворяла дверь на четыре торопливых звонка.

– Звали, Зосечка? – радостно шепотом спросил Ежевикин.

– Звала, Васечка, – сконфуженно пробормотала Зося. – Пойдем.

– А папаша там? – тревожно спросил Ежевикин. – Не пойду я к нему, Зося.

– Сам тебя просил... Ну, Васечка, ну, дорогой...

Из комнаты пахло йодоформом, скипидаром и еще чем-то больничным. На приземистой пестрой кушетке с голубыми цветочками лежал папаша с забинтованной головой. Из-под



белой марли уныло вылезал черным клином кусок бороды, узенький левый глаз и кусок носа.

– Где это вас, папаша? – осторожно спросил Ежевикин.

– Где надо, там и отработали, – вздохнул папаша и добавил: – Иди, Зося, чайку схлопочи. Видишь, гость пришел.

Когда Зося вышла, наступила длительная и неловкая пауза.

– Вы уж того... не сердитесь, папаша, – пробормотал Ежевикин, – насчет прошлого раза... Может, действительно кого впопыхах штрафанешь...

– То есть как это впопыхах? – поднял папаша забинтованную голову. – Как же их не штрафовать, ежели он, как драная кошка, на всем ходу в вагон сигает?..

– Которые торопятся уж очень, – осторожно вставил Ежевикин.

– А куда торопятся? – сердито заметил папаша. – Ногу-голову повредить торопятся? Так я вас понял, молодой человек?

– Вы, папаша, не сердитесь. Я насчет того, ежели который, может, иногородний, порядка еще не знает...

– А ты его на три рубля, сукиного кота, – убежденно заметил папаша, – пусть через трешницу знает. Колесу все равно, на кого наехать – на иногороднего либо на местного...

– Который, может, и задумавшись через улицу ползет...

– А ты на рельсах не думай. И вообще нечего их сторону держать, молодой человек, – сухо сказал папаша. – Ежели их распустить, так по улице пройти нельзя будет.

– Невозможно, – согласился Ежевикин.

– Я про то и говорю, – сказал папаша и застонал: – Ой, ломит проклятую!.. Давно служите?

– Четвертый год, папаша.

– Так... Штрафов-то, поди, много взяли?

– Много, папаша, – испуганно согласился Ежевикин.

– Мало! – неожиданно стукнул папаша кулаком по кушетке. – Я б с их, чертей кривоногих, не так бы еще брал! Ну, идите, идите, молодой человек, там вас Зося ждет. Ой, голову ломит!..

Ежевикин тихо вышел в коридор.

– Ну? – с сияющим лицом спросила его Зося.

– Ничего не понимаю, – тихо сказал Ежевикин. – В голову ему, что ли, ударило, папаше-то?

– Ударило, ударило, Васечка! – радостно зашептала Зося. – Повезло нам с тобой, Васечка! По улице перебежал папаша... Милиционер свистит, а папаша вперед лезет... И тут прямо счастливый случай – грузовик. Краем папашу по голове хватил... Как пришел домой, перевязался, лег и сейчас же орать начал... «Зови, говорит, твоего...» – «Кого, папаша?» – «А который был тогда... Милиционера твоего, Васечку... За что, говорит, человека обхамил? За то, что руки-головы наши сберегает? Такой, говорит, как твой, уж не дал бы грузовику удрать. А я, говорит, даже номер грузовика запомнил: шестьсот двадцать три».

– Запишем, – деловито сказал Ежевикин, вынимая книжку, – потом ответит.

– Запиши, – ласково шепнула Зося, – наш с тобой счастливый номер! Шестьсот двадцать три... Век его не забуду!..

Ежевикин надел шинель и сконфуженно заметил:

– Тут в меня в прошлый раз мармеладом сверху запустили.

– Не может быть! – покраснев, отвернулась Зося.

– Ну, значит, показалось. Так я новый принес. Кушайте на здоровье. И папашу угостите. Больным сладкое полезно.

И веселый шепот в прихожей закрепил треснувшее по швам счастье.

1935

### Домик с колоннами

Они сразу полюбили друг друга у театральной вешалки. Анна Карловна, придерживая зубами коричневое пальто, загоняла левой ногой в дальний угол калоши. Гудоемов беспомощно ловил кашне, заканчивающее свое шелковое существование под ногами хлынувших с лестницы зрителей. Одна незаметная деталь сразу способствовала их сближению. Он выбил у нее калошу, а она наступила ему на кашне.

И именно в этот момент Анна Карловна заметила, что у Гудоемова замечательная чеховская бородка. Люди с такой бородкой любят чай с вишневым вареньем в теплой комнате и читают вслух Диккенса.

Гудоемов посмотрел на Анну Карловну и сразу понял, что она переводчица с голландского и может спорить о Шиллере, взбалтывая яичницу-глазунью.

Две души поняли друг друга и вышли вместе из театра. И хотя одной душе нужно было ехать шестым номером на Мясницкую, а другой – в обратную сторону, на Триумфальную, оба пошли пешком в одном направлении.

Дорогой говорили мало.

– Моя жизнь сложилась неудачно, – грустно уронил Гудоемов, – у моего соседа слева флюс, и он ходит босиком до четырех утра. А сосед справа играет ложечкой на пивных бутылках незатейливые мелодии, когда я сплю.

– Жизнь – это сон, – утешила его Анна Карловна, незаметно пожав ему руку. – Мне самой из дома послали ящик груш, а я получила вяленую воблу. Нужно быть стойким.

Потом они стали встречаться каждый день. Гудоемов заканчивал свои лекции об отражении татарского нашествия в музыке джаза и заходил за Анной Карловной в издательство, где она переводила с датского мемуары древних пиратов и песни фламандских кормилиц для массовых изданий.

Они сидели на бульварах, сравнивали облака с барашками и другими животными, находили друг в друге новые достоинства и ели вафли. После одной из нечетных встреч он случайно назвал ее Анютой и понял, что брак теперь неизбежен.

– Мы должны поменять наши комнаты, – твердо сказал Гудоемов. – Я хочу уюта. Я не могу жить с любимым существом между флюсом и пивными бутылками.

– У меня двадцать три метра и собственный счетчик, – ласково кивнула Анна Карловна. – Прибавьте к этому ваш центр и телефон, и мы наверняка получим три комнаты.

– Я хочу жить в маленьком переулке, – мечтательно заметил Гудоемов, – в тихом, овеванном грустью старом московском тупичке.

– В домике с колоннами, – шепнула Анна Карловна, – и чтобы на дворе была густая рябина.

– Именно. С колоннами и с рябиной, – горячо подхватил Гудоемов. – Довольно жить в этих четырехэтажных громадах. В этом вихре бетона и камня, где человек теряет свое «я» в лифтах и коммунальных услугах. Давить надо такие небоскребы! Уведите меня, Анюта, в домик с колоннами! Я требую как муж и человек...

– Усталые после работы, – лирически гудела Анна Карловна, – вечерами мы будем возвращаться по нашему тупичку, занесенному пушистым снегом, в наш домик с колоннами... Тишина...

– Никаких автобусов и других ужасов большого города. Всего четыре квартиры в домике. С одного боку живет тихий, спокойный персональный пенсионер. Он собирает почтовые марки и ложится спать в восемь вечера...

– С другого бока – чья-нибудь вдова. И на дворе куры. И скамеечка под рябиной. А в квартире голландские печи. Потрескивают дрова. Ты сидишь в пижаме и читаешь издания «Академии»... Неизданные блокноты архимандрита Феогния... Или путевой дневник Батыя. Я сижу рядом и...

– Довольно! – пламенно воскликнул Гудоемов. – Хочу в тихий московский тупичок. В домик. В колонны. Довольно!

Проводив ее до дому, Гудоемов осмелел и даже поцеловал в перчатку.

– Анюта... Анна... – восторженно шептал он. – Анна Карловна... Карл... Карлами звали всех победителей. Ты мой победитель, Анюта. Завтра пойдем менять комнаты!

В Левохалупьевском тупичке на Арбате не было недостатка ни в домиках с колоннами, ни в рябинах перед ними. Соответственно своему художественному уютному расположению каждый из них был в равной мере снабжен и курами во дворе, и тихими персональными пенсионерами, и пушистым снегом. И что самое главное – не было недостатка в солидных людях, желающих поменять свои комнаты на гудоемовскую и Анны Карловны.

Через полторы декады молодая чета перевезла на грузовике этажерки, полотенца, копии картин Левитана, терракотовые вазы с завядшими хризантемами и самих себя в домик с колоннами.

– Какой очаровательный домик, – умиленно шептала Анна Карловна, расставляя утюги и стихи Игоря Северянина по углам, – в нем веет историей Москвы.

– Специально исторический дом, – подтвердила прежняя владелица квартиры, помогавшая ей. – Князь здесь один жил. Князь Серебряный, кажется. Сюда Наполеон заходил. Во время пожара. А потом его мануфактурист Хрякин для своей певички из Ревеля построил. Летом здесь сплошная история. Закаты. Рябина колосится. Куры клюют... На второй колонне кирпича не хватает. Наверное, Наполеон вывернул. Мало ли что человек во время пожара может сделать...

В тот же вечер в голландской печке действительно весело, жарко и уютно потрескивали дрова, щедро оставленные в количестве девяти поленьев прежней квартиранткой, и приятно булькала в чайнике вода, тоже гостеприимно оставленная ею же в кухонном баке.

– Какая прелесть, – умиленно стонала Анна Карловна, – наконец мы с тобой вдалеке от городского шума, в тихом тупичке... Дай я тебя поцелую...

– Пусть в этом домике, – растроганно откликнулся Гудоемов, – начнется наша новая, безмятежная жизнь. Дай я тебя поцелую!

Вечер прошел незаметно в незамысловатых занятиях. Или Анна Карловна подходила к дивану и целовала Гудоемова в висок, или Гудоемов шлепал в вышитых туфлях к креслу и целовал Анну Карловну в ухо. Это было типичное освоение классического наследства, оставленного нашему времени первыми молодоженами на земном глобусе.

Потом пили чай с повидлом, читали вслух разрозненного Диккенса и мелкие примечания к скандинавским поэтам.

А когда утром Гудоемов проснулся, он почувствовал, что у него идет пар не только изо рта, но и из левого уха.

– Холодно, дорогая, – заискивающе прошептал он. – Поверни ручку парового отопления. Слева под подоконником.

– Здесь нет парового отопления, милый, – ласково сказала Анна Карловна, – ни отопления, ни ручки. Подоконник есть, но он не греет. Это у тебя на Триумфальной было. Надо купить дрова. У нас есть только один сук и две щепы.

– Надо купить дрова, – поежился под одеялом Гудоемов. – Интересно, где их покупают? Насколько мне не изменяет память, в керосиновых лавках их нет. Наша товаропроводящая сеть действует из рук вон плохо. Может быть, ты поставишь чайник, дорогая?

– А где я возьму воду? – печально сказала Анна Карловна.

– Из водопровода, мое солнышко. Отверни кран и подставь чайник. Вода нальется без особых усилий.

– Хорошо, – согласилась Анна Карловна. – Накинь шубу и накачай воду из колодца. Здесь нет водопровода.

– Чудак этот Наполеон, – кисло уронил Гудоемов, вылезая из-под одеяла, – заходить во время пожара они все мастера, а вот чтобы водопровод поставить...

– Это не Наполеон, цветочек, а мануфактурист Хрякин. Это он без водопровода.

– Типичная сволочь. Догнивающий класс. Отрыжка средневекового капитализма. Где здесь колодец?

– За помойной ямой налево. Береги свое здоровье, родной, не упади в ледник и смотри, чтобы тебя не укусила собака за ляжку.

На следующий день количество поцелуев в домике с колоннами сократилось почти вдвое.

На другое утро Гудоемов разыскал в подвале мрачного человека с бородой, росшей у него вместо усов. Оказалось, что этот человек с двойной фамилией Стык-Дрицын был родственником покойного домовладельца и являлся в домике с колоннами дворником, домоуправлением и сани гарной тройкой. Кроме этого, он настраивал рояли, делал из ваты

кошек для ручной продажи и брал заказы на тапочки.

– Послушайте, – сухо сказал ему Гудоемов, – мне кажется, что из-под крыши что-то капает.

– А как не капать, – уныло и недружелюбно ответил Стык-Дрицын, – когда она проваливается.

– Кто проваливается?

– Крыша. Я ее по выходным дням столбами подправляю. А жильцы – сволочи: столбы на дрова перепиливают. Столбов на них не напасешься.

– Чинить же надо, – скорбно вздохнул Гудоемов, – нельзя же так.

Через четыре дня о поцелуях в домике с колоннами ничего не было слышно. Это был обряд, давно уже потонувший в глухой старине. Дрова обещали привезти через две декады, и Анна Карловна растапливала печь разрозненным Диккенсом.

– Не сиди олухом, – едко шипела она на Гудоемоза. – Не пяль на меня глаза. Делай хоть что-нибудь. Сунь в печку хоть что-нибудь. Зачем у нас портреты в рамах?! Сунь в печку раму!

– Отстань, ведьма, – откликнулся Гудоемов, гневно шлепая туфлей, – это не девятнадцатый год – топить печку рамами! Я хочу жить в девятьсот тридцать пятом.

– Поезжай обратно на Триумфальную! Это ты первый сказал – домик с колоннами. Тупичка захотелось, дубина!

– Молчи, урна! Это ты гудела насчет домика с колоннами. Отдай мне паровое отопление и отдельный телефон!

– Интеллигент! Верни мне мою ванную и номер шесть без пересадки! Подавись своими колоннами. Рябина на дворе! Куры! Живи с дворовой курицей и оставь меня в покое!

– Замолчи! Я не могу слышать вас, Анна Карловна!.. Карл! Имя какое выбрал! Может быть, еще какой-нибудь Карл Пятый или Седьмой. На чистке все обнаружится!

Прошло еще полторы декады, и в «Вечерней Москве» появилось маленькое заманчивое объявление:

СРОЧН. МЕН. уютн. кварт. со вс. уд. в тихом тупичке в дом. с колон. на одну прох. комн. в центре. Согласн. за год вперед, на ремонт и застр. Левохалупьевский пер. д. 7, во дворе за колодцем, кричать два раза.

Ночью уже ворвался первый кандидат на обмен. Он нетерпеливо мял серую барашковую шапку и восхищенно ахал:

– Домик с колоннами! Рябина во дворе! Тихий тупичок!..

– Замечательно, замечательно, дорогой товарищ, – радостно лебезил Гудоемов. – А какие закаты! Пушистый снег... Вы будете вслух читать Диккенса... чайник... вишневое варенье... Наполеон заходил... Дайте ваш адресок. Вещички мы ваши сами перенесем, честное слово, вы не беспокойтесь. Я люблю со шкафами ходить. И она любит. Вы не смотрите, что она такая грустная. Дайте ей сундук в трамвае провезти – сразу повеселеет. Значит, завтра в шесть утра. Обязательно придем, обязательно!..

Через пять дней Гудоемов и Анна Карловна сидели около парового отопления в узкой проходной комнате, грели ноги и радостно прислушивались, как сосед прибывал большим

молотком вешалку к стене.

– Жизнь! Размах! – восторженно шептал Гудоемов. – Стучит! Прибывает! Вихрь большого города! Это тебе не домик с колоннами! Дай я тебя поцелую!

– Топят каждый день, – возбужденно шевелила ногами Анна Карловна, – внизу трамваи, завтра пойдем в театр... Дай я тебя поцелую... Я всю жизнь мечтала об уютной проходной комнате в центре!

– Еще бы, – ласково подмигнул Гудоемов. – Это тебе не рябина во дворе.

– И даже не куры, – ласково закончила Анна Карловна и поцеловала мужа в висок.

Сосед упоенно играл на гармошке. Стекла дребезжали.

1935

Из журнальных и газетных публикаций

Девяносто листов

Мы за память о великих. И за освоение литературного наследства. И вообще – за всё. Но все-таки...

В жизни Пушкина, Бальзака и Льва Толстого совершенно незаметными прошли три эпизода, правда не повлиявших на их творчество, но почему-то оставшихся незамеченными.

Пушкин и извозчик Пурчук

«Однажды Пушкин проходил по Невскому проспекту в два часа ночи. На углу стоял одноконный извозчик.

– Свободен? – спросил А. С. Пушкин.

– Занят, – ответил извозчик С. Пурчук и заснул».

Оноре Бальзак и хромовые ботинки

«Будучи на юге Франции, великий романист Бальзак заказал себе хромовые ботинки у сапожника Анри Тюрена.

– Как ваша фамилия? – спросил сапожник.

– Бальзак, – ответил великий писатель и, уходя, обронил счет от прачки».

«Уже в преклонном возрасте и будучи вегетарианцем, Лев Николаевич Толстой зашел в баню.

Один из его поклонников, духобор Иннокентий Гнедых, вошел в парильню с шайкой в руках и сказал:

– Я написал поэму о неубийстве комаров и телят.

Толстой вздохнул и отвернулся к стене. Иннокентий Гнедых бросился домой и радостно изложил свою встречу с мировым писателем».

В тихий летний вечер, кушая пирожные «наполеон» и запивая их лимонадом, маститые исследователи из журнала «Поленья» вели тихий разговор:

– Кстати о Пушкине. Есть прекрасный материалчик. Воспоминания о семействе извозчика Пурчука в дни кратковременного его пребывания в Либаве. Почти сенсация. С поясным портретом внучатого племянника извозчика. Надеюсь, в сборнике хватит места и для поэмы «Без кошмара не убьешь и комара» духобора-самоучки Иннокентия Гнедых.

– Это который не успел прочесть стихи Льву Николаевичу Толстому в рязанской бане? Можно и духобора. А у вас что?

– Сравнительная таблица хромовых ботинок Бальзака с штиблетами современников.

Давайте теперь перелистаем сами очередной выпуск «Поленьев», вышедший в размере 90 печатных листов.

Внук С. Пурчука о своем деде

«В Костроме до сих пор еще живет духовный пастор отец Вавила Дудуев, который был знаком с внуком извозчика С. Пурчука, известного своей ночной беседой с поэтом А. С. Пушкиным.

По словам племянника внука, дедушка его, будучи уже портным в Могилеве, об этой беседе рассказывал так:

«Сумеркалось. Поев щец, я отвез моего барина в Собрание и тут же получил по морде от одного гвардейского офицера в капитанских чинах, с аксельбантами.

Сижу я после этого на козлах, и вдруг подходит ко мне один мужчина в бобрах и говорит, как сейчас слышу:

– Извозчик, свободен?

Кажись, это и был Пушкин. А может, и кто другой из поэтов либо из военных. Потом я переехал в Ростов, а оттуда в Могилев, где и шил в рассрочку».

Дальше идут 382 страницы убористого текста с описанием С. Пурчука-деда в качестве портного, отца и соседа. Со снимками его мастерской, огорода и первых сшитых в рассрочку штатских брюк.

Следующий раздел «Поленьев» в 496 страниц занят трактовкой эпизода «Лев Толстой –

Иннокентий Гнедых».

Прежде всего приводится второй черновой вариант поэмы духобора-самоучки «Без кошмара не убьешь и комара». Начинается поэма так:

И комар есть божий дар,  
Пусть живет себе комар.  
Человека он вкушает,  
Песней воздух оглашает.  
Так зачем же комара  
Убивать мы будем зря?

На 379 строфе выясняется, что убивать для пищи можно только сливочное масло и морковь.

Затем идут пространные мемуарные воспоминания о встречах автора с Львом Толстым в бане. Для того чтобы будущему читателю не было зазорно представлять великого классика голым, автор заблаговременно описывает встречу так:

«Облик великого старца был скрыт паром. Облик смотрел в одну сторону, а я – в другую.

– Учитель, – сказал я, взмывая в воздухе шайкой, – я хочу тебе прочесть поэму.

Облик вздохнул и повернулся в облаках пара».

Оноре Бальзаку после этого в «Поленях» остается скромное место в 409 страниц. Сам сапожник Анри Тюрен, которому великий Оноре заказал ботинки, почти не фигурирует в автографах и мемуарах. Но прачка, счет которой классик потерял в лавочке сапожника, растекается в «Поленях» с неведомой миру стремительностью. Налицо одиннадцать фотоснимков усадьбы ее второго мужа, план маленького уютного ресторана, открытого им впоследствии в Дувре, и даже картина Шишкина с соснами, как напоминающая леса Северной Франции, где жил последний сапожник Бальзака.

– Нет ли свеженького однотомника Пушкина? – робко спрашивает конфузливый студент, затерявшийся в извилинах книжного магазина. – Нет. Может, Толстого есть что-нибудь из романов? Тоже нет? Может, Бальзака?

– Скоро будет, с брошюрками-то нынче туговато. Пока могу предложить что-нибудь посолиднее. Последний сборник «Поленьев». Девяносто листов, С. Пурчук о Пушкине и Гнедых о Толстом.

– Хорошо, давайте и Пурчука и Гнедых. Давно я уже что-то не читывал классиков.

1934

Лавочка смеха



У многих жуликоватых людей есть старый испытанный способ. Толстого, лысого человека, с большой рыжей бородой, уличили в том, что он на прошлой неделе продал рассеянному знакомому один испорченный механизм в качестве точилки для бритв; третьего дня отнял у школьницы бутерброд с сыром, пока она собирала упавшие в грязи книги. Все знают, что все это так и было, а он смотрит на всех синими сияющими глазами и с трогательной теплотой рассказывает:

– С особенной грустью я вспоминаю свое далекое детство. Вот я сижу на руках у своей доброй матушки и, протягивая ручонки к вечернему небу, лепечу: «Мама, мама, достань мне эту звездочку...»

Всем в данную минуту очень трудно представить этого рыжебородого жулика в виде малютки на коленях у его доброй матушки. Но всем как-то становится неловко.

– А черт его знает, может, действительно, когда-нибудь и на коленях сидел, и жуликом не был, и вообще зачем этот разговор только завели?..

Так, когда заходит разговор о сегодняшней западной сатире и юморе, сейчас же начинаются теплые историко-литературные воспоминания:

– А помните – Сервантес? А помните – Диккенс? А помните – Рабле, Мольер, Гейне?..

Помним. Были. У европейской сатиры и юмора были прекрасные предки, но потомки их поставили на голову дарвинскую теорию, и, вопреки ей, от великих людей произошли маленькие обезьяны. О них и поговорим. (Чтобы не было личных ссор, неприятностей и затянувшейся за полночь дискуссии, предупреждаю, что все образцы, приводимые ниже, я выдумал, но если все-таки кто-нибудь из-за дурного характера захочет вступить в полемику – отсылаю его к английскому «Пвич», французскому «Ле рир», немецкому «Симплициссимусу» и т. д. – пусть убедится сам.)

\* \* \*

Английский буржуа юмористические журналы читает обычно по воскресеньям, между Библией и поджаренной свиной грудинкой. Ясно отсюда, что и поставляемый для него юмор должен содержать некоторую долю библейской непорочности и по практической полезности своей не уступать свиной грудинке в сухарях.

Действующие лица в рассказе должны быть солидны, обладать капиталом и скромной недвижимостью и преисполнены добрых намерений, и все приключения с ними должны доказать, что только здоровый стол, монархические принципы и аккуратно разглаженные брюки доводят человека вообще, а подданного его величества в частности, до пределов недостижимого совершенства. Вот типичный образец сегодняшнего английского юмористического рассказа.

Счастливым день сэра Норфолька

Нотариус Роберт Норфольк шел по улице Бим-стрит и думал о том, что сиднейские акции нынче упали на семь процентов.

– Однако, какой сегодня крупный дождь, – задумчиво сказал он, снимая с цилиндра банку с вишневым вареньем.

– Сэр, – раздался сверху нежный женский голос, – я не для того варила варенье, чтобы оно падало на голову незнакомым джентльменам.

– Я благодарю бога, – вежливо ответил Роберт Норфольк, – что вы сегодня не варили лошади. Я бы тогда пострадал сильнее.

Прелестный смех незнакомки был сразу заглушен запахом бензина, который охватил Норфолька.

– Нынче делают чертовски крепкие шины, – с деланным спокойствием сказал он, поднимаясь с земли и глядя вслед опрокинувшему его такси.

– Сэр, – почтительно сказал мальчик, оглядывая его с ног до головы, – вы забыли прицепить себе сбоку надпись: «Осторожно, накрашено».

– Увы, дитя, – уже грустно заметил Норфольк, взглянув наверх, – этот проклятый маляр еще держит два ведра краски. Подождем, пока он выльет на меня оба. Прогулка была слегка испорчена. Роберт Норфольк, не теряя времени, вбежал по лестнице на шестой этаж, где еще раздавался смех, попал головой в ведро с угольной пылью, и едва только отворил дверь к незнакомке, как она сразу оказалась зажиточной вдовой из благородной семьи старого патриота и дачевладельца.

– Дайте мне щетку, чистый воротничок и согласие на законный брак, – сказал Норфольк.

– Я согласна, – ответила вдова, подавая ему мыльную пену, – только кабинет в нашей квартире должен быть темный, а спальня в голубую полоску.

Через два года он прошел в парламент. Честное, зажиточное, британское солнце ласково освещало их первенца.

\* \* \*

Французский рантье, верящий в своего духовника, морской флот и утренние газеты солидных издателей, требует совершенно иного юмора.

– Жерменочка, – говорит он жене, расстегивая две жилетных пуговицы и собираясь читать юмористический журнал, – отошли деток куда-нибудь дальше... Папа будет читать сатиру и юмор...

Расстроенный неприятностями на мировом рынке и собственными – на соседней фабрике, французский рантье требует от юмориста то же самое, что он ждет от молодого барашка: побольше сала. И съедает всю очередную похабщину, как волк курицу: с перьями, с хрустом и урчаньем.

Поставщики его знают, чем ему угодить, и поэтому типичный французский сатиро-юмористический опус таков.

Этот чудак Вальжан

– Жаннет, – обиженно сказал Жан Вальжан, вылезая из-под дивана, – чьи это ноги?

– Тебе показалось, – испуганно возразила Жаннет, пряча мужские ноги в желтых ботинках под ковер.

– И голова мне тоже показалась? – сердито сказал Жан, заметив длинную бороду, высовывающуюся из шкафа.

– Показалось, – ласково кинула Жаннет, запирая бороду.

– А чьи это трость, штиблеты и лысина высовываются из-за зеркала? – уже тоном недоверия спросил Жан.

– Мои, – уверенно кивнула Жаннет, – накидывая на зеркало манто, – теперь все дамы носят штиблеты и лысину.

– Ну, тогда, значит, мы одни, – успокоенно вздохнул Жан, наливая ликер.

Под столом кто-то закашлял басом.

– Когда я тебя полюбил, ты не кашляла басом, – ревниво заметил Жан.

– Я всегда теперь по четвергам кашляю басом, дорогой, – нежно целуя его, уронила Жаннет.

– Итак, ты меня любишь? – радостно вскрикнул он.

– Да, – хором ответило одиннадцать голосов.

Жан весело шел домой и смеялся над теми, кого можно обмануть. В руках у него было одиннадцать пар штиблет, четыре трости, восемь колец, не считая манто. Он лихо засвистел и свернул в апашеский кабачок. На церкви святой Кунигунды пробило семь часов.

\* \* \*

Буржуазный юмор скандинавских стран изготавливается специально для отдыха между развеской сыров и оптовой торговлей и покупкой глубоких калош для блистающего здоровьем дедушки.

Этот юмор имеет чрезвычайно короткие формы и рассчитан на невиданные еще запасы веселья в человеческом организме.

Вот образец скандинавских юморесок.

Умная корова

– Корова, корова, дашь ли ты сегодня молока? – спросил хозяин фермы, закуривая трубку.

– Нет, – ответила корова и взмахнула хвостом.

Свинья мельника

Один состоятельный мельник вез в город на продажу жирную свинью.

– Не хочешь ли выпить водички, моя свинушка? – ска-вал мельник.

– С удовольствием, – ответила свинья, и они поехали дальше. Потом свинью закололи, а мельник женился. Все.

\* \* \*

Нельзя, конечно, обойти молчанием и американский юмор. От Марка Твена в нем осталось ровно столько же, сколько от резеды после отдыха двух волов на цветочной клумбе. Американский бизнесмен не позволяет сатире и юмору касаться вопросов этики и морали. Для этого есть храм. Политики тоже. Для этого есть биржа, где каждому событию знают вкус и цену с точностью до одного цента. Юмор нужен только для тех моментов, когда бизнесмен едет на крыше двухэтажного автобуса, ему надоело жевать резину, и нет разговорчивого соседа или когда ему чистит ботинки на улице негр, с которым стыдно перекинуться словами. Тогда он вынимает из кармана пересыпанный крошками табака журнал и, сплевывая на сторону прорезиненную слюну, проглатывает услужливый рассказик.

Поставщики изготавливают ему материал в таком виде.

Заработок старика Ларкинса

Бандит Джим Перкинс лихо выпустил пару зарядов в живот бродяге Билью, скрутил папироску и весело спросил:

– Не беспокоит?

– Немножко колет, – ухмыляясь, пробормотал Биль, разряжая в него браунинг.

– Придется умирать, – позевывая, заметил Перкинс, – а жаль. Сегодня хотел в десять вечера ограбить старика Ларкинса.

– Что ты говоришь, – удивился Биль, приподнимаясь на локте, – в десять часов я его граблю.

– Не спорь, Биль. Десять часов – мое время.

– Не спорь и ты, Джим. Лучше позовем сюда самого Ларкинса. Он-то ведь лучше знает, кто его должен сегодня ограбить.

Когда Ларкинс вошел, оба были уже мертвы.

– Мир их праху, – набожно процедил сквозь зубы Ларкинс, доставая у них часы и бумажники, – славные были ребята. Жаль, если бы пришлось их сегодня укокошить в десять вечера.

Это был первый честный заработок старика Ларкинса.

\* \* \*

Так смеются на Западе. Каждый смеется, как может. Особенно, когда ему хочется плакать.

1934

Неосторожный Бимбаев

Трудно даже было представить, что в таком маленьком рыжем человечке, с непростительной щедростью осыпанном веснушками, могло накопиться столько капитальных знаний. И Бимбаев орудовал ими, как орудует кайлом терпеливый и деловой рудокоп, пробивая мощные пласты твердых пород.

Его с большой опаской звали в гости, потому что при появлении на столе простого кахетинского вина Бимбаев говорил мягко и вскользь!

– Лучшее вино производится на склонах Аррагон, в городке Тумбезе. В тысяча восемьсот девяносто четвертом году местный виноградарь Курсо дал образцы, не уступающие малаге. Умер Курсо бездетным.

И все понимали, что человека такой высокой культуры надо угощать только портвейном не дешевле шестнадцати рублей за бутылку.

На службе Бимбаев ограждал себя знаниями, как частоколом, от всех попыток заставить его работать.

– Славяне не умеют работать, – снисходительно говорил он, отодвигая от себя груды срочных бумаг. – Труд, рассчитанный на неподвижность и искривление позвоночника, уже осужден в тысяча восемьсот восемьдесят седьмом году голландским физиологом ван Браменом. Возьмите австрийских фермеров. Легкий завтрак, белая одежда, винтовка Манлихера образца тысяча восемьсот девяносто второго года и вечерний воздух – вот что закаляет человека и делает его восприимчивым. Он быстро загорает, и память его может удерживать целые главы из Библии. Это метко определил профессор Висбур в книжке «Верхом за зебрами».

После этого Бимбаев уходил в красный уголок играть в шахматы, а сослуживцы сконфуженно чувствовали себя славянами и распределяли между собой срочные бумаги с бимбаевского стола.

Он возвращался отдохнувший и, избегая вопросов, почему у него обеденный перерыв затянулся до конца работы, говорил авторитетно и с некоторой грустью, складывая чистую бумагу в портфель:

– Лето в полном разгаре. Самое жаркое лето бывает во Флориде. Там даже собаки умирают от солнечного удара на руках у своих хозяев. Последняя собака, умершая таким способом, была Топси, принадлежавшая в тысяча восемьсот восемьдесят шестом – тысяча восемьсот восемьдесят девятом годах королю клея Дранку. Впоследствии Дранк торговал козьими шкурами и покровительствовал речной гребле. Портреты его были помещены в иллюстрированных изданиях.

После этого он облегченно вздыхал, освободившись от некоторой доли мучившего его научного груза, и уходил со службы первым.

Но особенно подавлял своими знаниями Бимбаев в тех случаях, когда внезапно начинал носить полотняные воротнички, лихорадочно бриться и водить в кино на дешевые места какое-нибудь неопытное существо в сиреневой блузке. Таких существ у Бимбаева было много. В тридцать семь лет человек уже имеет право настоятельно тянуться к личному счастью. Бимбаев просто еще не знал, на каком идеале женщины ему остановиться. Должна ли это быть голубоглазая Гретхен с двумя иностранными языками и папой-спецом на всякий случай или порывистая и пылкая Кармен, уже переехавшая в собственную квартиру в новый дом. Он еще был на распутье. Но к каждой он подходил одинаково, подавляя ее бурлящими в нем знаниями.

– Нет, Катя, – грустно шептал он в кино, ерзая на покатам стуле. – Это не жизнь. Я не люблю

Юг на экране. Температура меня не радует. Я люблю северные широты. Возьмите Норвегию. Льды. Прессовка льдов была впервые введена в половине прошлого столетия. Шведские предприниматели первые поняли это и рассылали прессованный лед в Данию, где им пользовались для сохранения молока.

– Неужели молока? – ласково и встревоженно спрашивала Катя, уже начинавшая гордиться своим собеседником,

– Именно молока, Катя, как это ни странно, – задумчиво подтверждал Бимбаев, подсаживаясь ближе. – Молоко пьют везде. Только на Цейлоне после массовых отравлений молоком в тысяча восемьсот семьдесят третьем году его заменили в законодательном порядке соком кокосовых орехов. Кокосовые орехи есть и на острове Борнео, где они составляют тридцать девять процентов экспорта. А может быть, и больше.

– Безусловно, больше, – соглашалась Катя и тактично отвечала на легкое бимбаевское пожатие.

В дальнейшем, если научный поход и не давал особенно осязательных результатов, все равно Катя и другие Кати – звали ли их Сонями или Валями – уже скептически смотрели на других собеседников.

– Это вам не Бимбаев... Ну, обидели человека веснушками, ну, допустим, что он на данном отрезке времени рыжий и маленький, но зато какие слова... Посидишь с ним – и точно вечернюю газету прочитаешь...

Так шли дни и дела Бимбаева. И росла его популярность среди друзей и знакомых. И, как всегда бывало в истории с загадочными счастливицами, карьеру его разбила женщина.

Звали ее Наталия Петровна. Кроме этого лаской звучащего имени, были у нее серые глаза, грудной голос и умение терпеливо и внимательно слушать. Неизвестно, в силу какого из этих качеств, но Бимбаев так неожиданно и с такой экспрессией влюбился в Наталию Петровну, что мог около нее только молчать и потеть от волнения. Для того чтобы быть любимым, – этого, конечно, мало. И Бимбаев долго готовился к этой решительной минуте, когда он сможет раскрыть перед Наталией Петровной все глубины своего культурного багажа и заставить ее почувствовать обычное в этих случаях смутное восхищение.

И счастливая минута настала. Вернее, это была даже не скромная минута, а солидные два часа, в течение которых они сидели на бульварной скамейке, молчали и не без некоторой лирики прислушивались к далеким паровозным гудкам и протяжной ругани пьяных за оградой близости.

Привычным движением Бимбаев взял Наталию Петровну за руку и подтянул к себе. Не менее привычным движением она положила к нему на плечо голову, используя этот старый классический прием.

– Вот мы сидим, Наташа, – оптимистически начал Бимбаев, успокоенный податливостью любимой девушки, – и сидим. Мы, так сказать, неподвижны. А как развивается движение! Волосы становятся дыбом! Экспресс между Чикаго и Вашингтоном проходит восемьдесят километров в час!

– Сто девяносто, – ласково уронила Наталия Петровна. – Иногда даже больше.

Бимбаев несколько настороженно, но чувствуя щекочущие ухо волосы Наташи, взволнованно добавил:

– Юг! Какое слово! Всех оно тянет к себе. Как цветок мимоза. Путешественник Ливингстон в

тысяча восемьсот пятьдесят третьем году двинулся на юг Африки и прошел пешком от Замбези до Лоанды. Подумайте, Наташа, вот мы сидим здесь, а на африканском юге уже открыто озеро Мое-то и Бадвелло.

Наташа осторожно подняла голову, поправила волосы и суховаато заметила:

– Теперь там уже автобусное движение. Два отеля для путешественников.

Бимбаев испуганно посмотрел на собеседницу и робко произнес:

– Я люблю путешествовать. Особенно, если есть время, на океанских пароходах. Океанский пароход, делающий рейсы между Гамбургом и Нью-Йорком, вмещает тысячу сто пассажиров, располагает одиннадцатью буфетами, залами для карт и кегельбаном.

– Три тысячи пассажиров, – холодно сказала Наталия Петровна, резко отодвинувшись, – площадка для тенниса и для футбола, а также собственный театр и газета. Пойдемте домой, Бимбаев.

– Посидим еще, – с жалобной тревогой промямлил Бимбаев, – здесь так хорошо. Зелень. Звезды. А сколько их! Еще недавно живущий во Франции французский астролог Фламарион...

– Умер, – уже почти враждебно перебила его Наталия Петровна и поднялась, – похоронили в Париже. Последние открытия в области астрономии принадлежат американским ученым. Вам куда? Мне налево.

– Разрешите, я провожу вас...

Дорогой Бимбаев убито молчал. Наконец он не выдержал и тонким голосом спросил:

– Наталия Петровна... Я человек не молодой, у меня веснушки и вообще все рыжее, но я хочу любви и ласки... Что мне делать?

Она тоже немного помолчала и ответила:

– Переходите с энциклопедического словаря «Брокгауза и Эфрона» издания тысяча восемьсот девяносто девятого года на «Большую советскую». Это помогает. Кстати, я работаю корректором в типографии, где она печатается. Хотите, могу достать несколько томов?

Бимбаев снял шляпу, поклонился и ушел. С этого вечера его слава как носителя тайн науки и знания померкла.

1934

## Девушка с плаката

Знаете ли вы миф о прекрасной Ниобее? О том, как в давние времена молодой скульптор создал в своем воображении образ прекраснейшей девушки, изваял ее статую, статуя ожила и что из этого вышло? Наверное, знаете. И не думайте, что автор напрасно напоминает вам об этой истории.

Дело в том, что...

Художник Алибабов уже девять лет рисовал плакаты. Темами он не стеснялся. Иногда под его кистью вырастал могучий хребет полевой мыши, пожирающей колосья, а зачастую и бодрая спина калеки, вылезавшего из-под трамвая, в качестве показателя неумелого хождения по рельсам. Но еще чаще рисовал Алибабов на плакатах наших девушек и юношей.

И странно. Его фиолетовую мышь хотелось взять домой на воспитание и делить с ней тихие досуги. Голубая мышь с алибабовских плакатов вдохновляла газетных поэтов на беспочвенную лирику вне календарных сроков, а его калеки будили бодрый и здоровый оптимизм. Но с девушками было хуже. Вокруг Алибабова, как ответственного съемщика и гражданина великого города, ходили хорошие девушки. Порой это были веселые блондинки с невыдуманнными ресницами и голубыми глазами, порой кокетливые шатенки с губами еще не выясненной прелести, а иногда и брюнетки с явно интригующим профилем. Но Алибабов игнорировал эти беспредметные проявления голой физиологии. Он не поддавался на эту уловку. Он шел в свою мастерскую и рисовал на плакатах девушек сложной и пугающей конструкции.

Вдохновенно и безжалостно он снабжал их скулами, напоминающими куски застывшего творога. Прекрасные девичьи глаза выходили на алибабовских плакатах в виде щелок почтового ящика в несколько уменьшенном размере. Нередко наличие ноздрей заменяло отсутствие носа на широком девичьем лице. Шея ориентировочно шла непосредственно из туловища, слегка поддерживая большие оттопыренные уши. Еще сохранившиеся старушки опасливо крестились на алибабовские плакаты, видя в них графическое изображение будущих мук; дети подрисовывали им усы, но сам Алибабов был доволен. Были довольны и заказчики плакатов, видя в них законченный протест против западноевропейского эстетизма и веский удар по искусству отжившего прошлого.

Некоторые из алибабовских приятелей пробовали повлиять на него, но безуспешно.

– Очень уж у тебя хари дикие, – задумчиво сказал ему художник Казбеков, – жить от них страшно. Точно масло вздороджало или из квартиры выгоняют.

– Брось, – раз и навсегда ответил ему Алибабов. – Не понимаешь – помалкивай. Пора уже покончить на плакате с девушкой как таковой. В наших рядах не может быть Веласкесов и других Рембрандтов. Я рисую, как вижу внутренним оком.

– Око так око, – вздохнул Казбеков, – тебе виднее. Особенно еще если внутреннее.

И больше не спорил. А Алибабов уже продумывал новую девушку для плаката с такими невиданными в мире лбом и подбородком, которые еще ни разу не украшали наши витрины и заборы. И как человек работающий, закончил плакат в тихий осенний вечер, посмотрел на него с мягким восхищением, не лишенным испуга, и крикнул:

– Да... Выкатилась, можно сказать, девица... Страшновато с такой встретиться...

Тут-то и произошел случай, явно не предусмотренный нашим материалистическим мировоззрением. Девица на плакате взмахнула кривыми ручками, повела лысой бровью и голосом, напоминающим шипенье обиженной черепахи, ирииво сказала:

– Здравсте! Вот мы и к вам.

Алибабов дрожащей рукой схватился за мокрую кисть, чтобы в экстренном порядке замазать на плакате свою неожиданную собеседницу, но было уже поздно. Девица еще раз шипяще хихикнула, ободряюще хлопнула его по плечу и тонко заметила:

– В кино так в кино. Чего дома-то сидеть.



– Я с такой харей в общественные места не пойду, – уже несколько оправившись, пробормотал несчастный Алибабов.

– Сам меня выдумал – сам и ходи, – ласково улыбнулась широким ртом девица и подмигнула кривым глазом, – с первого дня и попреки. Чай, не с беспредметной красавицей разговариваешь, эстет!

– Вижу, что не с красавицей, – вздохнул Алибабов, – пойдем уж, что ли...

В кино впервые Алибабову уступали лучшие места. Сначала его толкали, но, посмотрев на его спутницу, быстро освобождали целые ряды. В трамвае кондукторша потребовала за нее специальный добавочный билет, как за корзину. На улице Алибабов вел ее робко по менее освещенным уголкам, чтобы не мешать уличному движению, а вернувшись домой, сказал взволнованно и категорически:

– Ложись вот там в углу и загородись чемоданом. Я человек нервный и пугливый.

– Уж и художники пошли, – обиженно просипела девушка с плаката, – сами выдумывают, а сами задаются.

Для Алибабова наступили тяжелые дни. Нужно было девушку с плаката прописать, сводить для приличия в ЗАГС и познакомить с близкими. При прописке у нее долго допытывались о последней судимости, в ЗАГСе испуганная гражданка упорно пыталась записать ее в книгу скоростижно умерших, а соседи при первом же беглом знакомстве обещались жаловаться в домоуправление.

Только один Казбеков, как человек чуткий, хотя и эстет, дружески спросил, посмотрев на девушку:

– Сам выдумал или нечаянно? Внутреннее око или несчастный случай?

Алибабов горько вздохнул и ничего не ответил. Он вообще перестал разговаривать и только мрачно ходил по улицам. И, как это ни странно, впервые увидел неограниченный комплект девушек без особых дефектов. То ему пересекала дорогу чудесная блондинка из шахты Метростроя, то маячила перед глазами кудрявая девица с нормальным ртом, то немым укором влезала в сознание хорошенькая продавщица из универсама. Алибабов хватался за голову, рычал в глубокой тоске и бежал домой. Там его ждал живой и безоговорочный протест против эстетизма и упадочничества – девушка с плаката. Алибабов мрачно плевал на приготовленный холст и пил большими глотками спирт.

Девушка сама ходила за получением гонорара и подписанием договоров на новые плакаты, но их становилось меньше и меньше. Даже самый выгодный заказчик – Яша Безумнец – и тот выдавил из себя со вздохом:

– Если у художника такая жена, ему лучше идти в полотеры. В тех кругах на это смотрят легче.

Алибабов с ненавистью рассматривал свои прежние плакаты. Ночами он потихоньку подрисовывал на оригиналах человеческие скулы, выравнивал глаза и укорачивал уши но было уже поздно, – плакаты уже давно висели во всех людных местах. Так продолжалось до той памятной минуты, когда однажды под утро ожившая девица подошла к нему сзади и неожиданно сочно поцеловала его в полысевшее темя. Алибабов обернулся, взгляделся в нее еще раз и с отчаянием вскрикнул:

– Ну, марш, жаба, на полотно! Втискивайся обратно, каря!

– Сами выдумываете, а сами ругаетесь, – жалобно пискнула девица и вдруг испуганно стала

вдавливаться в плакат.

– Зашпаклюю! – рычал Алибабов, – марш под грунт, уродина! Ура!!

Таяли последние жуткие черты под мощными ударами грунтующей кисти. Девица исчезла под белой краской. Снежной белизной заблестело перед Алибабовым полотно. Он схватил кисти и начал...

\* \* \*

Вы думаете: начал рисовать человеческие лица на плакатах? Ничего подобного. До сих пор и он и другие плакатисты иногда еще пытаются рисовать что-то невообразимое. В этом и вся мораль столь неправдоподобно и подробно нами рассказанной истории.

1934

Убийство на ходу

Неопытные в светских правилах люди измеряют достоинство зубочистки количеством ртов, в которых она побывала. Так некоторые титаны дела и гении недовыпуска печатной продукции утверждают, что прелесть художественного произведения познается лишь через примечания к нему.

Для этого к каждому роману, поэме или другому опусу обычно плотно примыкает дивизион примечаний, обосновавшийся в конце книги за унылыми окопами замеченных опечаток.

Примечания в конце книги составляются по тонкому, но легко уяснимому замыслу: толкование малопонятных советскому читателю слов считается обременительным для его художественного восприятия, а объяснение обычных слов знаменует собой показатель солидности и углубленности штатных служащих издательства и вольнонаемных комментаторов искусства.

Вот наиболее типичный стандарт таких примечаний.

Берется, например, такой отрывок из Байрона:

Смотрите, призрак встал кровавый,

Защитник Трои умерщвлен...

В семье Приама были нравы

Святей и чище...

Примечания к отрывку делаются обычно в таком стиле.

Троя – множественное число от слова – трех.

Приам – древний грек. По некоторым источникам – мужчина. См. «Историю римской религии» на немецком языке. Берлин, 1874 г., стр. 171.

Семья – соединение родственников на почве экономических интересов или бытовых предрассудков.

Призрак – обычай в средние века ходить вне своего тела. Ныне не существует, кроме отдельных буржуазных стран.

Нрав – деепричастие от слова нравиться, нравный, нервный (см. поговорку «Норов – как боров»).

Умерщвлен – убит тупым орудием на почве классовых разногласий.

Чище – восклицание от глагола чистить. (Сравни у Шиллера «И чистота твоя приятна».) Чистой сапог в Голландии занимаются прибрежные жители.

Кроме примечаний в конце текста, чрезвычайно популярны в издательских прериях и пампасах и примечания, так сказать, на ходу. Вставленные непосредственно в текст, причем текст в этом случае напоминает провинциальную баню, обставленную лесами для девятиэтажной постройки.

Делается это так. Берется, например, стихотворение Гейне «Незнакомка», спешно перемальывается в комментаторской мясорубке, пересыпается укропом мемуарных лет и встает перед ошеломленным читателем в таком виде:

Златокудрую [[1]] красотку (вариант: тетку)

Ежедневно (еженедельно; см. черновик 1923 г.

(я [[2]] встречаю

Здесь [[3]] в аллее тюильрийской [[4]]

Под каштанами [[5]] гуляя (вариант: простоквашу доедая).

Как видите, читатель, будучи спущены с цепи, комментарии и примечания не всегда все-таки догрызают текст. В руках же малоопытного комментатора текст иногда даже доходит до читателя в почти не искаленном виде. Идя навстречу нарастающей издательской потребности неустанной борьбы с текстом, мы предлагаем ниже стандартный образец внутренних и внешних примечаний, применимых к каждому поэтическому и прозаическому опусу.

Для популяризации нашего стандарта прибегаем к широко известному стихотворению Козьмы Пруткова «Из Гейне». Вот оно уже в готовом, запакованном и пронумерованном состоянии для помещения его в книгу.

Вянет лист [[6]], уходит лето [[7]],

Иней серебрится (вариант: золотится)

Юнкер (вариант: штабс-капитан)

Шмидт из пистолета (прим. ред.: маленькая винтовка).

Хочет (см. черновик № 17: не хочет) застрелиться (пр. ред.: повеситься).

Погоди, безумный (ср. у Грибоедова и Пушкина: безумец я, довольно!),

Снова (т. е. во второй раз. Ред.)

Зелень [[8]] оживится...

Юнкер (вариант: генерал-майор)

Шмидт I (умер в 1863 г. Ред.) честное слово [[9]]

Лето воз (зачеркнуто. Ред.) возвратится!

Отдельных лиц и издательства, не желающие пользоваться приводимым выше стандартом, автор к этому не принуждает, но находит неразумным не воспользоваться совершенно безвозмездно хорошо продуманным и технически совершенным образцом

1934

Семья

I

Бубенцов разбивал семьи с налету. Так два-три столетия назад грабили барки на Волге. С лихим посвистыванием, одинаковыми приемами и всегда безошибочно.

По этой же системе он и сейчас уводил Анну Петровну.

На второй день знакомства он заявил решительно:

– Анна – это не имя. Тускло. Пахнет прохладной комнатой и керосинкой. Я вас буду звать Дэзи.

У Анны Петровны были двое детей и молчаливый муж с одним костюмом, и ее никто не называл Дэзи. Это было так неожиданно и красиво, что уже на пятые сутки, перешивая сыну штанишки, она поняла, что она действительно Дэзи и только раньше этого никто не замечал.

– Я вас выну из семьи, – веско предупредил ее Бубенцов, ковыряя в зубах после ресторанного шницеля. – Вы пропадаете в ней, как бабочка в клетке. Золотая бабочка в ржавой клетке... Я вас выну.

– Выньте, – тихо, но восторженно согласилась Анна Петровна.

Молчаливый муж изредка называл ее кособокой, а дети сердились, что она храпит в лунные ночи. На таком фоне ей очень хотелось поверить, что она бабочка в клетке. В ржавой. И она сразу стала вести себя и как Дэзи, и как бабочка: дети начали ходить неумытыми, а муж

приносил на обед служебные бутерброды с соленым повидлом.

Через полторы декады Бубенцов окончательно открыл ей глаза.

– Я признаю семью как социальное явление, – горько сказал он. – Пусть даже будут дети, если уж это предусмотрено Конституцией союзных республик. Государство требует жертв. Но кому это надо? Идеальный брак – это муж, жена, комната. Ну, если хотите, плюс коммунальные услуги. Остальное – мещанство. Дети? Дети – это те же взрослые, только пока маленькие. Они любят жрать и требуют мануфактуры. Из-за них гармонически развитая личность должна получать жалованье, не считая вычетов, не меньше трехсот пятидесяти рублей. Типичные кандалы для индивидуума. А какая от детей радость? Сегодня он сидит у вас на коленях и портит вам брюки, а завтра уже кто-то зовет вас дедушкой. Тускло!

Анна Петровна вспомнила, как вчера Лиза прожгла ей новую блузку, а Миша сунул карандаш в творог, и поверила, что дети – не сплошная радость.

– Почему спасают людей, когда они в пьяном виде падают с лодки? И никто не спасает утопающих в мещанстве? – победно добивал осколки семьи Бубенцов. – Что такое солидный брак? Это когда муж по утрам икает, любит суповое мясо и требует от жены верности. Мужья – это хищники с кривыми ногами, заедающие чужое добро.

– У моего мужа прямые ноги, – безнадежно пробовала отбиться Анна Петровна, чувствуя, что это – ее последнее возражение.

– Кривые, – властно подтвердил Бубенцов, – вы только не знаете этого. Внутренне-духовная слепота. Вы как спящая царевна. Проснетесь – и увидите, что кривые. Кроме этого, он ходит в стоптанных туфлях, на нижних рубашках у него наверняка большие красные метки, а после пива мокрые усы. Бедная Дэзи!

Муж не ходил в туфлях, у него были прямые ноги, и он не пил пива. Кроме этого, он ежедневно брился, но чувствовать себя бедной и погибающей в тине мещанства было так мучительно приятно, что Анна Петровна все это шумно и недвусмысленно высказала мужу.

– Хорошо, – горько ответил этот молчаливый человек. – Дай объявление в вечернюю газету, что ты ищешь мужа с прямыми ногами. Что я могу сделать?

А через несколько дней Анна Петровна приехала вечером на такси к Бубенцову, внесла чемодан и взволнованно сказала:

– Прими твою Дэзи. Твоя бабочка ушла от мещанства.

И началась новая жизнь. Шестая, по счету Бубенцова.

Слева, на диване, поселился он, а справа, на кровати за ширмой, – бабочка, принцесса и Дэзи, объединенные в лице Анны Петровны.

II

Прошел год. Бубенцов только что вернулся из амбулатории, где доктор напомнил ему, что ему уже тридцать девятый год, за которым пойдет сороковой и т. д., а не наоборот.

– Анюта, – грустно сказал он бывшей Дэзи, – мне нужен покой и уют.

– Хорошо, – сухо заметила она, – я куплю тебе кальсоны на гагачьем пуху. В них тепло.

– Не в кальсонах счастье. Кальсоны продают и холостым в любом универмаге. У нас нет семьи.

– Семья – это мещанство, – зевнула она, вспомнив о красивом brunete, который посмотрел на нее в автобусе. – Семья – это дети. А мне уже надоели дети. Где-то я читала или слышала, что дети – это те же взрослые, только еще маленькие, и что они требуют мануфактуры.

– Нигде ты этого не читала, – сердито закурил Бубенцов. – Никакой идиот не мог написать этого. Я хочу, чтобы у меня в комнате на полу резвилось веселое существо, которое...

– Ну, купи собаку. Она будет бегать по полу, – снова зевнула Анна Петровна, – и не мешай мне спать.

Она закрыла глаза и еще раз вспомнила bruneta из автобуса.

– Нет, ты не спи, – бросил окурок Бубенцов. – Спать после обеда всякий может. Только я не могу. Приходишь домой усталый... человеку тридцать девять, у него почки – и никакого уюта.

– Ну, купи себе туфли и ходи в них на кривых ногах, если тебе нужен уют, – не открывая глаз, сказала Анна Петровна. – Может, еще икать по утрам хочешь?

– У меня прямые ноги, – едко заметил Бубенцов, – и я с детства не икаю по утрам.

– Врешь! – вскочила Анна Петровна. – У всех мужей кривые ноги, и все икают.

– Проснулась, принцесса! Молчи, ведьма!

– А ты мещанин. Я как бабочка в ржавой клетке...

– Брось клетку к черту! Я тебя этой клеткой как ахну!.. Бабочка! Бабочки не приходят подвыпившие в третьем часу утра.

– А что делают бабочки? Красные метки на ночных рубашках вышивают? Да? О, господи, какой тусклый человек!..

И она сразу уснула от негодования.

### III

Над бульварами плыла луна, взятая напрокат из тургеневских романов. На скамейке около памятника сидела тихая пара. Полная шатенка сосала мороженое.

– Не говорите так, дорогая Мария Васильевна... Ах, какое красивое имя, оно звучит ландышем в роще, – слышался голос Бубенцова. – Семья – это все. Вот вы живете с мужем одна. Вы, муж и плюс коммунальные услуги. Тускло, почти мещанство. Я вас выну из него. У нас будет семья. У нас будут дети. Я буду приходить домой, класть портфель и гладить русые головки... А Вася – он непременно будет Васей или в крайнем случае Катей – станет говорить: «Папа, папа...»

– Какой вы редкий! – страстно шептала шатенка сквозь холодеющие от мороженого зубы.

А подальше от памятника, с другой скамьи, слышались грудкой смех Анны Петровны и рокот автобусного брюнета.

– Нет, вы не Дэзи. Вы Китти! Я буду вас звать так. В этом имени что-то пьянящее! Не говорите мне слова «муж». От него пахнет трамваем и котлетами. Я вас похищу после пятнадцатого. Вы проснетесь обновленная в моем уютной комнате с лифтом и с газом. С моими заработками и знакомствами мы смело шагнем в жизнь. Никаких пеленок и мещанских гарантий!

– Вы исключительный! – радостно простонала Анна Петровна.

По бульвару пробежала собака. Где-то пили ситро.

1935

Искусство

Сегодня Катю в первый раз брали в театр.

Уже с утра она ходила по комнате с большим голубым бантом в волосах, такая торжественная и строгая, что отцу нестерпимо хотелось поцеловать ее в тоненькую шею, от которой так замечательно пахло душистым мылом и родным ребячьим запахом.

– Пойдем, – сказала она в шесть часов, терпеливо дождавшись электричества, – а то все сядут, и нам будет негде.

– Там места нумерованные, – улыбнулся отец.

– А на нумерованных сидят?

– Сидят.

– Вот на них и сядут.

Глаза у нее стали такие печальные, что пришлось ехать за час до начала. В трамвае Катя, как взрослая, платила сама. Она вынула из вязаного кошелечка два гривенника, протянула их кондуктору и сказала:

– За меня и вот за него. До театра.

Хмурый человек, читавший газету, посмотрел на нее сквозь очки, скрыл под усами улыбку и подвинулся:

– Садись, старуха.

Катя села, но из предосторожности все-таки уцепилась за отцовское пальто.

В театральном зале вошли первыми. Люстра, красный бархат лож и мерцающий тусклым золотом занавес сразу прихлопнули маленькое сердце под коричневой кофточкой.

– А у нас есть билеты? – робко спросила она.

– Есть, – успокоил отец. – Вот тут, в первом ряду.

– И с номером?

– С номером.

– Тогда сядем. А то ты меня опять потеряешь, как тогда в саду. Ты такой.

До самого начала спектакля Катя не верила, что занавес поднимется. Кате казалось, что достаточно и того, что она видела, чтобы запомнить и это на всю жизнь.

Но электричество потухло, люди сбоку и сзади присмирели, перестали шуметь программками и кашлять, и занавес поднялся.

– Ты знаешь, что сегодня играют? – шепотом спросил отец.

– Не шуми, – ответила еще тише Катя. – Знаю. «Хижину дяди Тома». Читала книгу. Как продали одного негра. Старого.

Со сцены пахло сыростью и холодом. Деревянными голосами заговорили актеры уже надоевший текст. Катя вцепилась в ручки кресла и тяжело дышала.

– Нравится? – ласково спросил отец.

Катя ничего не ответила. Разве стоит отвечать на такой глупый вопрос?

В первом антракте она съежилась комочком на большом кресле и потихоньку всхлипывала.

– Катюша, маленькая, ты что? – забеспокоился отец. – Ты что плачешь, глупеньш?

– Продадут, – сквозь слезы ответила Катя.

– Кого продадут?

– Дядю Тома. За сто долларов. Я знаю. Я читала.

– Не плачь, Катя. На тебя смотрят. Это же театр, актеры. Хочешь, я тебе принесу пирожное?

– С кремом?

– С кремом.

– Не надо. – И глухо добавила: – Я, когда плачу, не люблю с кремом.

Второе действие. Катя смотрела, вплотную прижавшись теплым плечом к отцу, и тихонько посапывала носом. В антракте сидела грустная и молчаливая.

– Нервный ребенок, – недовольно сказал лысый сосед, разгрызая монпансье.

– Первый раз в театре, – извиняюще шепнул отец.

Настал следующий акт. Дядю Тома продавали на аукционе. Сам он сидел около картонной хижины и думал о том, что на улице слякоть, а он пришел в театр прямо из биллиардной, без калош. Аукционист, игравший сегодня утром бывшего попа, торопился скорей кончить роль, чтобы не упустить белокурую контролершу, которая может уйти домой одна. Он поднял деревянный молоток и крикнул:

– Продается негр Том. Сто долларов! Кто больше?

И вдруг тоненькой рыдающей струйкой вырвался из первого ряда звенящий детский голос:



– Двести.

Аукционист опустил молоток и в недоумении посмотрел на суфлера. Крайний левый статист икнул от смеха и скрылся за кулисы. Сам дядя Том закрыл лицо руками.

– Катя, Катя, – испуганно схватил ее за руку отец. – Что ты, Катюша!

– Двести, двести! – кричала Катя. – Папа, не давай его продавать!.. Папочка!..

Лысый сосед бросил на пол программу и зашипел:

– Безобразие!

Из задних рядов стали вытягиваться головы зрителей. Папа быстро поднял Катю на руки и понес к выходу. Она крепко обхватила его за шею и прижалась мокрым лицом к уху.

– Ну вот и сходили в театр, – сердито в пустом фойе сказал папа, покрасневший и смущенный. – Ты что же это?

– Жалко, – еле слышно ответила Катя. – Я больше не буду.

Отец посмотрел на съехавший на сторону бант, на длинную слезинку, застрявшую в уголке глаза, и вздохнул.

– Выпей воды. Хочешь, я тебе его сейчас покажу? Дядю Тома? Сидит у себя в уборной живой, непроданный. Хочешь?

– Покажи. – Катя лязгнула зубами о стакан с лимонадом. – Хочу.

Из зала уже шумно выкатились в коридоры и фойе зрители. Все над чем-то смеялись, и отец быстро повел Катю к обитой войлоком двери в конце коридора.

– К Заполянскому, – сказал он капельдинеру у дверей. – Которая уборная?

– Вторая слева.

Заполянский уже смыл черную краску густыми потоками вазелина. Лицо у него стало толстое, красное, и пудра делала его похожим на клоуна. Недавний аукционист торопливо завязывал галстук.

– Здравствуйте, Заполянский, – сказал отец. – Ну, смотри, Катерина, вот он – твой дядя Том. Любуйся!

Катя широко раскрытыми глазами посмотрела на пудренное актерское лицо.

– Нет, – сказала она.

– Ну вот, – жирным смехом засмеялся Заполянский. – Да честное же слово, я же... А хочешь, я тебе покажу, как суслики свистят?

И, не дождавшись, он свистнул тоненько и совсем непохоже на суслика.

– Ну, что, – спросил бывший аукционист, завязав галстук бабочкой, – можно его теперь продавать?

В глазах у Кати что-то погасло, и она сказала грустно и разочарованно:

– Продавайте.

## Первое поручение

Красивая и сладкая, как торт на банкете, мечта – неотъемлемое право юности.

Новый сотрудник спортивного отдела Коля Баякин терпеливо приносил заметки о недозавозе маек, невнимании к городошникам и неудобствах стоячих мест на стадионе. Заметки шли в газете обидным мелким петитом и действовали на Колино самолюбие своим унылым видом мух, присохших к булке. Но, читая их, Коля красочно и образно представлял себе тот момент, когда его вызовет к себе в кабинет редактор, которого он еще не видел, даст ему первое ответственное поручение.

– Баякин? – скажет редактор, кивнув на кресло. – Новый сотрудник? Слышал, слышал. Садитесь. Курите? Прошу. Английским владеете? Нет? Жаль! Впрочем, с вами поедут два переводчика. Едете сегодня в восемь тридцать. Экспресс. Встретите иностранных чемпионов на границе. Впечатление молнируйте. Интервью телеграфьте. В случае чего – радио.

– Есть, товарищ редактор, – деловито кивнет головой Коля. – Могу идти?

– Можете. «Линкольн» ждет внизу. Кинооператор уже выехал. Кстати, зайдите в контору – там вам выписана тысяча на расходы. Возвращайтесь самолетом. Все.

Фактически дело обстояло несколько иначе. Коля сидел в отделе, дожидаясь заведующего, курил, рисовал на промокашке козу. В комнату вошел грузный человек в больших очках, неодобрительно понюхал и кисло сказал:

– Ну вот. Весна. Окна не выставлены. Сидит юноша и курит. И это – спортивный отдел! Художник?

– Нет. Литсотрудник, – хмуро ответил Коля. – Баякин.

– Не слышал. Терентьеву знаете?

– Которая сорок прыжков?

– Она награждена. Поезжайте и поговорите. – Грузный человек в очках внимательно посмотрел на Колю. – Только без фокусов. Коротко и просто, чтобы человека было видно. Нате вам ее адрес.

– А вы кто? – робко спросил Коля.

– Ну, это не важно, ну, редактор, – кисло пробурчал грузный человек в очках. – Мелочь-то на расходы у вас есть, юноша? А то вы не стесняйтесь... Идите, идите! Никогда у вас никого в спортивном отделе нет.

Коля выбежал из редакции, обиженно обвел взглядом редакционный «Линкольн» с дремлющим шофером у подъезда и втиснулся в автобус.

– Первый подвал в газете, – возбужденно шептал он, – сбоку фотография, внизу текст, а под ним фамилия: «Н. Баякин». Нужно будет «Ник. Баякин» подписаться. Литературнее. Вроде «Анат. Франс». Только бы поймать ее дома...

Через полчаса Коля уже стоял перед дверью на седьмом этаже и высчитывал, сколько раз

надо звонить Терентьевым, если к Ивушиным – четыре, к Павчикам – пять, а Терентьевы стояли между ними.

Дверь открыл толстый мальчик в колпаке из газетной бумаги, с деревянным ружьем в руках.

– Могу я видеть Катерину Петровну Терентьеву?

– Нет, – решительно ответил мальчик. – Такой нету.

– Не может быть, – испуганно сказал Коля, – у меня адрес. Терентьевы здесь живут?

– Здесь. Я сам Терентьев Василий. Только никаких Катерин Петровн нету.

– Может, родственники ваши? – убито добивался Коля. – Мне Катерину Петровну надо. Парашютистку.

– А! Вот кого! – разочарованно протянул мальчик. – Вы бы так и сказали, что Катюшу. Катя, к тебе! Вот тут она. Заперлась, змея. С утра зудит. Экзамены у нее. И меня из комнаты выкинула. Говорит, что водой обольет, если лезть буду.

Коля поправил галстук и постучал.

– Не лезь, – услышался раздраженный голос из комнаты, – не мешай! Честное слово, отцу расскажу.

– Я – не он, – робко, но громко сказал Коля. – Я из газеты. Можно?

В маленькой комнате за столом сидела девушка лет восемнадцати в синей кофточке. Перед ней лежала раскрытая книга с какими-то чертежами, а около книг – торопливо покрытая газетой тарелка с недоеденным пирожным.

– Я к вам от газеты, – официально начал Коля, но слегка осекся от хорошенького личика девушки, от предательского кусочка бисквита, прилипшего у нее к губе, и, кивнув на книгу, спросил: – Механика?

– Механика, – вздохнула Терентьева. – И не говорите. Ой, трудно. Засыплюсь.

– И не мудрено, – деловито подтвердил Коля. – Сам мучился. – И, помолчав, добавил: – Я от редакции. Насчет этого... первого прыжка. Ваши впечатления?

Терентьева умоляюще посмотрела на Колю и тихо выдавила:

– Полетела я на аппарате. А потом прыгнула.

– А подробнее нельзя? – безнадежно спросил Коля.

– Можно, – беспомощно сказала девушка. – Полетела на аппарате. Потом на крыло вылезла.

– А потом?

– Потом прыгнула, – с отчаянием закончила Терентьева. – Честное слово, больше ничего не было!

– Это не впечатления... – обиженно заметил Коля. – Во впечатлениях высота должна быть. Воздух.

– Высота была. Семьсот метров. И воздух был. Не с земли же прыгала.

– Ну, а вообще как?

– Вообще, ничего. Прыгнула – и все. Другие тоже прыгают.

– Может, сильные переживания были? А?

– Переживаний не было. У меня тогда тоже экзамены были. Некогда было насчет переживаний.

Коля уныло закрыл блокнот. Газетный подвал с подписью «Ник. Баякин» таял.

– Может, случаи какие были? – уже хмуро сказал он. – Не я же прыгал с парашютом, а вы.

– А вы бы прыгали, товарищ, – виновато откликнулась Терентьева, – это же не страшно. А насчет случая – не помню. Вам исключительные нужны?

– Исключительные.

– Таких не было. Тяжелый был один. Вышла я на крыло, хочу прыгать и вдруг вспомнила, что ключ от комнаты с собой на аэродром увезла. Отец придет, а в комнату попасть нельзя.

– Ну и что?

– Ничего. Потом прыгнула.

Коля вздохнул и встал.

– Ну, прощайте. Может, фотография у вас есть?

– Фотография? – Терентьева сконфуженно оглянулась. – Фотографии нет. А вам очень нужно? Погодите, я с удостоверения сдери... Только вы мне потом верните...

– Хорошо. Верну.

Через два часа Коля Баякин сидел в редакции и с отчаянием в душе писал на маленьком листике:

«У Терентьевой

Мы застали знаменитую парашютистку товарища Терентьеву за подготовкой к экзамену по механике. Она была очень занята.

По ее словам, дело обстояло так:

– Я поднялась на аппарате. Потом вылезла на крыло. Ничего страшного не было. Потом прыгнула. Другие тоже прыгают, и ничего страшного нет.

На этом мы расстались».

К листку Коля прикрепил маленькую карточку с удостоверения, с которой смотрело улыбающееся, радостное, почти детское лицо, и понес редактору. Потом подумал, отдал материал секретарю и ушел домой.

«Вот тебе и „Анат. Франс“, – грустно думал он, не откликаясь на соседкин стук. – Вот тебе и первое поручение... Провалился, как щенок... Снова садись, Ник. Баякин, на заметки о недозавозе маек...»

Утром в газете заметка была напечатана. А вечером его вызвал главный редактор и,

улыбнувшись, сказал:

– Садитесь, Баякин. Курите? Курите. У меня было два очерка насчет Терентьевой. По шестьсот строк. С облаками, с птичками, с фокусами и без Терентьевой. Не уместилось и в шестьсот строк. А у вас она вся. Настоящая. Придется вам еще одно порученьице дать. Здорово пишете. Французским владеете? Нет? Жаль. Впрочем, с вами переводчик поедет. Встретите на границе французскую команду... В случае чего – телеграфом. Скажите, между прочим, Николаю Петровичу, чтобы «Линкольн» не отпускали, а то опоздаете на вокзал...

Когда Коля уже сидел в автомобиле, переводчик спросил его:

– А вы по-французски сами понимаете?

– Нет, – рассеянно ответил Коля, – за последние два дня я что-то ничего не понимаю... А кажется – все так просто.

1935

### Случай в «Театре возможностей»

Кстати, о формализме в театральном искусстве...

Молодой режиссер Сенокосов ставил в провинциальном «Театре возможностей» новую пьесу.

Пьеса была обычная, из расчета на сорок два действующих лица – одиннадцать положительных, а остальные ходили бодрой полуротой по сцене и произносили вслух цитаты или валялись по полу под надрывавшийся за кулисами баян. Два специальных чревоушителя лаяли за сценой собакой, изображая степное безлюдье, а стажировавшийся помощник режиссера в тех же целях и в специальном гриме имитировал в фойе волчью стаю.

Особых затруднений с постановкой не предвиделось, так как «Театр возможностей» был оборудован и приспособлен для самых разнообразных изысков в сценическом искусстве. Сцена была на галерке. Зрители сидели разбросанные по всему помещению, откинувшись назад, как в зубоветеринарных креслах, чтобы увидеть изредка мелькавшие то там, то здесь ступни и икры героев и второстепенных персонажей. Чтобы не рассеивать общего впечатления, билетеры ходили босиком, а вместо традиционного гонга начало и конец действия возвещал специально законтрактованный вместе с бубном безработный шаман.

Особых затруднений с постановкой...

Впрочем, мы об этом уже говорили. Затруднение произошло, и совершенно неожиданно.

Героиня пьесы Аглая по ходу действия должна была отвергать любовь некоего Никодима. Авторская ремарка говорила об этом скромно и конкретно: «Отталкивает».

По замыслу режиссера Сенокосова сцена отталкивания имела реалистический и актуальный характер. Аглая упиралась Никодиму в живот, скрипки подхватывали ее жест буйным аккордом. Никодим делал в воздухе двойное сальто и падал около ошеломленных зрителей в проходе. Шаман ударял в бубен, босые капельдинеры зажигали свет, и на этой эффектной точке кончался акт.

На одной из репетиций скрипки взяли аккорд несвоевременно, Аглая уперлась в Никодима не с той стороны и сломала ему ногу. Никодима, ныне просто А. П. Репкина, перенесли в оркестр, где он и остался на истекающий сезон в качестве солиста на треугольнике.

Роль освободилась. Надо было искать заместителя. Воспользовавшись этой заминкой, автор успел переделать положительного Никодима в отрицательного Никиту, лишил его слов и сделал рыжим для усиления комического элемента в пьесе.

Через два дня помощник режиссера таинственно прошептал на репетиции режиссеру Сенокосову:

– Нашел. За вторую собаку лаять буду я, а исполнитель собаки может сыграть Никиту. Вот он.

Перед Сенокосовым с радостной улыбкой на краснощеком лице стоял молодой человек, буйно горевший пламенем искусства.

– Вы?

– Я, – упоенно ответил молодой человек. – Давно добивался поиграть. Очень хочется.

– Старо, – строго остановил его Сенокосов. – Сцена – это прошлое. Оно рухнуло. Актер должен быть вне сцены. Он в публике. Он наверху и под. Понятно?

– Хорошо, – быстро согласился молодой человек, – я буду вне. Если надо и под. Пожалуйста.

– Можете стоять на одной руке?

– Не больше двадцати минут. Потом устаю.

– На шесте раскачиваетесь?

– Извиняюсь, как кошка.

– Приступим. Ваш первый выход – с дерева. Во втором акте вы, как отрицательное явление, сидите на дерезе и игнорируете жизнь. Потом вы замечаете любимую женщину и начинаете ползти по канату. Дальше под флейту вы прыгаете через своего соперника и стараетесь оскорбить его ухом... Понятно?

– Почти, – несколько неуверенно ответил молодой человек и почему-то вздохнул. – Моя фамилия Пифоев. Начнем.

Уже после первых трех репетиций Сенокосов деловито сказал директору:

– Прибавьте ему жалованья. Клад.

Пифоев проделывал все, на что только даже отдаленно намекал режиссер Сенокосов. На любую лестницу он поднимался только на руках. В сцене с Аглаей он, не дожидаясь ее толчка, проделывал в воздухе тройное сальто и уходил со сцены на голове, подкидывая ногой шляпу. Даже в сцене похорон дяди Пифоев ходил колесом, придерживая в зубах, как символ мещанского счастья, поднос с недорогим сервизом.

Единственно, что огорчало Сенокосова, это скорбное выражение на лице Пифоева, которое становилось все рельефнее и рельефнее с каждой репетицией.

– Смотрите веселее, – бодро говорил ему Сенокосов, – в вашем лице «Театр возможностей» приобрел настоящего актера. Зачем эта традиционная ходьба по сцене и говорение слов.

Старо! Отжило! Человек в реальной жизни говорит слова, но хочет стоять на голове. Он ложится спать, но мечтает о том, чтобы сделать двойное сальто на глазах у общественности. Человек пьет лимонад, но мысленно ходит колесом. На сцене надо обнажать внутренние позывы человека. Канат, плюс музыкальное оформление, минус сцена – вот подлинное искусство, и «Театр возможностей» умело подметил это. Работайте, Пифоев. Из вас выйдет блестящий актер. На премьере старайтесь ходить на голове около самых зрителей. Зритель должен уйти из театра взволнованный.

Пифоев мрачно кивал головой в знак согласия и худел на глазах у действующих лиц и босых капельдинеров.

На последних репетициях он играл свою роль так вяло и с таким безнадежным видом, что Сенокосов даже прикрикнул:

– Не имитируйте утопленника! Веселее!

– Не могу я, – страдальчески уронил Пифоев, – не лезет.

– Как?

– А, да что говорить, – безнадежно махнул он рукой и безучастно встал на голову, изображая уход от действительности.

На спектакль Пифоев не пришел.

После поломки ноги бывшего Никодима это был первый серьезный удар по премьере.

– Приведите мне этого человека живым или мертвым, – метался Сенокосов, – я не дам без него второго звонка. Без него зритель не уйдет взволнованный!

Пифоева нигде не было. Зрители ели в буфете сухое печенье и стучали ногами. Наскоро надев ботинки, билетеры бегали по всему городу за Пифоевым.

В половине одиннадцатого один из них подал Сенокосову коричневый конвертик с запиской, на которой незнакомым размашистым почерком было бегло написано синим карандашом:

«Я в цирке. Вернулся на прежнюю работу. Уже загримирован. Сейчас мой выход. Здесь – тоже без слов, тоже на голове и тоже под скрипку, но только представление раньше кончается и можно поспеть на трамвай. Прощайте.

Пифоев».

Сенокосов быстро изорвал записку и пугливо осмотрелся по сторонам.

– Никто не читал записки? – шепотом спросил он у билетера.

– Никто, товарищ Сенокосов.

– Так... Ваша фамилия Пигусов? На руках стоять можете? Да? А с декорации прыгать можете? Да? Идите, гримируйтесь. Только бородку какую-нибудь для настроения нацепите...

Премьера в «Театре возможностей» была спасена.

1935

Человек и вещи

Это был ничем не прикрытый запах собственности. Резко пахло красками, клеем и мокрой бумагой. Но Милобоев умиленно осматривал свою новую квартиру, и ему казалось, что от нее веет сладким и волнующим запахом, как от шубки любимой женщины, тайком прибежавшей на свидание.

– Это будет мой кабинет, – победно сказал он члену правления. – Сколько метров! Смотрите, как здесь можно шагать!

– Получите ваши метры и шагайте по ним на здоровье, – безучастно подтвердил член правления. – Одиннадцатого распределять будем. В семь, без опоздания.

До одиннадцатого Милобоев с иронической жалостью ежеминутно оглядывал свою прежнюю комнату.

– Ты подумай, – взволнованно говорил он жене, – Ершакову мешает эпоха. Лузгину – дети. Васе – пессимизм. А кто мне мешал жить? Мне мешал жить вот этот шкаф, о который я ударялся боком. Вот эта вешалка, о которую я тыкался мордой. Я должен был ходить боком мимо этого дивана. Почему человек, который верит в будущее, должен ходить боком? А там, в новой квартире, у меня будет большой, просторный кабинет, два больших окна, два широких подоконника. А какие стены! Ты понимаешь, что такое стены.

– Нет, красавец, – сурово остановила его жена, – не понимаю. Дай энциклопедию, посмотрю. Не мешай спать.

Четырнадцатого переехали. В кабинете у Милобоева поставили письменный стол, этажерку и два стула. Комната выглядела такой большой, как будто из нее только что выехали ясли.

– Пространство! – восхищенно вскрикивал Милобоев. – Метраж! Кубатура! Какая ширь!.. Только я и воздух!

– Если ты будешь носиться как бешеный по комнате, – с нескрываемым неодобрением заметила жена, – пусть лучше останется один воздух. Помоги хоть перенести горшки с цветами! Кстати, синий ковер ты повесишь у себя.

– Ковер – это еще можно, – без большой охоты согласился Милобоев, – ковер не так мощно убивает пространство. Давай ковер.

Через два дня Милобоев на неделю уехал в Киев. Когда он вернулся, всю дорогу мечтая о своем новом кабинете, жена встретила его теплой улыбкой.

– А кто моему песику приготовил сюрприз? – таинственно спросила она, подставляя щеку, пахнущую зубной пастой.

– Его маленький кролик, – умиленно ответил Милобоев, ткнув щеку губами.

Сюрприз оказался действительно неожиданным. Маленький кролик успел купить в рассрочку бурый диван, сразу и охотно занявший полкабинета, шкаф для костюмов, вытеснивший пустоту второй половины, и гипсовую фигуру, изображавшую римского воина, сушившего портянки.

– Александровской эпохи, – горделиво указал маленький кролик на диван, – по случаю. Тебе, может быть, не нравится?

– Нет. Ничего. Оригинальная эпоха, – грустно вздохнул Милобоев, – тогда, наверное, в манежах жили. Для нормальной комнаты такой диван немножко великоват.



– А какой воин! Ты посмотри на эти линии!

– Линии что надо, – еще раз вздохнул Милобоев и с тихой ненавистью посмотрел на гипсовую портянку, загораживающую свободный проход к столу. – Его нельзя в уборную поставить?

– Ставь, – сразу обиделся маленький кролик. – Если ты желаешь жить в пустом сарае – мне все равно. Твой дядя тоже дикарем был, хоть и инженер.

– Хорошо, – грустно сказал Милобоев, – мне все нравится. И шкаф нравится. И то, что он большой, – хорошо. Я буду в нем проводить выходные дни.

После этого маленький кролик проплакал от девяти до одиннадцати. Надо было мириться, и Милобоев произнес с бледной улыбкой:

– Может, второй ковер повесим у меня?

– Да, – сквозь бывшие слезы уронил кролик, – слева. А около окон – тумбочки. Березового оттенка. Я уже купил.

Милобоев посмотрел на кроликову ногу в сером чулке и согласился на тумбочки.

За тумбочками в комнату въехало трюмо. Оно было тоже какой-то эпохи, потому что закрыло вентилятор и половину окна.

– На, получай, неблагодарный, – через несколько дней трогательно прошепелявил кролик, пыхтя с чем-то плоским, завернутым в газету. – Все только для тебя и для тебя.

Это была картина в золотой раме. В лесу стоит олень и близоруко смотрит на корягу. Милобоеву сразу захотелось надеть оленю пенсне и выгнать его из комнаты вместе с рамой, но пришлось повесить на стену. Через полмесяца к оленю прибавился визави – серый голландец, ковырявший в дупле глиняной трубкой. От голландца было скучно, как от йодоформа в больнице, но повесили и его. Вслед за голландцем в комнату мелким победителем въехала люстра с дикарскими висюльками, два затоптанных кресла, опрокидывавших человека на спину, а на стене угнездилось восемь увесистых тарелок, на каких пригородные купцы в свое время ели пироги с изюмом.

– Тоже из эпохи? – спросил Милобоев.

– Александр Труа, – упоенно ответил кролик.

– Валяй, мне теперь все равно, – безнадежно согласился Милобоев. – Может, еще фисгармонию финикийской эпохи подкупить, – пожалуйста. Я могу жить и под столом. Там только две корзины для бумаги: кустарная и стиля рококо. Мне места хватит.

Он сидел, окруженный вещами. Шагать уже было негде. Вещи съели метры. Кубатуру. Пространство. Воздух. Вещи доедали человека. Наконец они добрались и до его любви.

Однажды в осенний ненастный вечер маленький кролик захлебываясь рассказывал соседке о том, какой она сюрприз готовит мужу: синие гардины на окно и чучело медведя на пол.

– Любимому человеку надо создать уют. Быт. Вещи привязывают мужчину к семье. Вещь неотделима от семьи, уверяю вас...

А в это время любимый человек сидел у своей бывшей стенографистки и действительно пожимал ей ногу в рыжем чулке.

– Славно живете, Сонечка, – проникновенно шептал он.

– Где там, – морщила Сонечка курносое личико, – разве это жизнь? Даже обстановки нет. Один диван да этажерка...

– Прекрасно, Сонечка, – шептал Милобоев, – простор, воздух... Так бы и остался у вас.

– А вы останьтесь, – конфузливо предложила Сонечка.

– Ненадолго можно, – быстро согласился Милобоев, – надо только позвонить моей нуде, что за город уехал.

1935

## Законное явление

Это было в стране, известной только действующим лицам описываемого нами события.

Джордж Вильям Мекенгем сидел у себя в кабинете и взволнованно икал. По установившейся традиции это означало приступ гнева и получение печальных сведений с фабрики.

– Мистер Мекенгем, – осторожно шепнул секретарь, просовывая голову, – к вам посетитель.

– Попробуйте его выкинуть, не спрашивая фамилии.

– Пробовал. Он держится за кресло и не уходит.

– Пустите его ко мне. От меня он вылетит вместе с креслом.

В комнату вошел плохо одетый молодой человек, почтительно поклонился и опустился на стул.

– Кто вы такой?

– Моя фамилия Бирт. Я инженер и ангел.

– Ангел? Вон! Я не имею никаких коммерческих дел с ангелами и другими нищими.

– Я ангел особого назначения. Я – ангел-спаситель. Я хочу спасти вас от разорения. Мое изобре...

– До вас я выкинул за сегодняшнее утро уже девять изобретателей. Не думайте, что, если вы десятый, вам повезет. Я ненавижу изобретателей, как змей в собственной спальне. Вы понимаете?

– Нет.

– Тогда вы идиот. Я купил у одного изобретателя патент на электрический бак, который заменяет стиральную машину, ванну для детей, прибор для мытья кошек и складную кровать. Я выпустил сто тысяч моих баков и потерял миллион долларов. Население из экономии стирает штаны в речке, тут же купает ребятишек, топит кошек и спит на берегу, выпив сырой воды вместо пива. Я купил у другого изобретателя патент на мотоциклет, заменяющий в хозяйстве корову, жену, двух негров и кофейную мельницу. Снова девять тысяч. Снова миллион убытка. Население не купило ни одного мотоцикла на том основании, что корову можно доить, а его нельзя. Негров можно вешать, а его нельзя. Вы понимаете? Идите к черту с вашими изобретениями!

– А я думал, – уныло вздохнул изобретатель Бирт, – что ваше производство...

– Молчите. Мое производство выпускает теперь только одни безопасные бритвы. Слава богу, что из экономии еще никто не зарастает бородами и что нельзя бриться тросточками и половыми щетками.

– Дело как раз идет о бритве, – робко уронил Бирт. – Я принес вам, мистер Мекенгем, патент на особую бритву, которая никогда не ломается, не ржавеет, не тупится. Человек, купивший эту бритву, бреется ею не меньше шестидесяти двух лет. Потом она переходит к сыну, который бреется ею еще минимум четверть века. Колоссальная экономия.

– Итого восемьдесят семь лет одной бритвой, – с ужасом прошептал Джордж Мекенгем. – Бандит! Мерзавец! Восемьдесят семь лет такой человек не будет покупать ни одной бритвы, а я должен буду ходить по улицам и продавать спички... За такие изобретения надо бросать с мостов, предварительно сломав спинной хребет!

– Хорошо, – испуганно поднялся со стула изобретатель. – Не надо бросать с мостов. Я ушел.

– Погодите. Не будьте идиотом. Сколько вы хотите за ваше проклятое изобретение?

– Десять тысяч долларов наличными.

– Так... Десять тысяч... У вас есть еще один костюм, кроме этого?

– Увы, мистер Мекенгем, последний.

– Ах, последний! Тысяча долларов. Ни цента. Вы сюда пришли пешком? Да? Двести долларов. Берите, или я позвоню! Нате вам записочку в контору. Сто долларов тоже деньги. Не благодарите. Я этого не люблю.

В конторе изобретатель Бирт тщательно пересчитал деньги, вспомнил, что рядом есть ресторан, слегка ожил и вкрадчиво сказал серьезному джентльмену в больших очках:

– Мистер... Я бы очень вас просил прибавить к моему гонорару хотя бы две дюжины первого выпуска моих замечательных бритв.

– Болван, – сухо ответил человек в очках, – неужели вы думаете, что их кто-нибудь собирает выпускать? Выход налево. Заприте за собой дверь. Шляются же этакие...

Изобретатель робко почесал за ухом и боком вышел на улицу.

Официально известно, что в числе предприятий, покупающих патенты новейших изобретений с целью их уничтожения, находятся самые мощные тресты. «Комон-Санс» (Нью-Йорк)

1935

## Рождение языка

Популярный Зиновий Бедакин уехал с дачи с шестичасовым поездом. После него остались семь окурков на резедовой клумбе, тревожное настроение и рукопись нового романа. Рукопись лежала на садовой скамейке, белая и вспухшая, как утопленник, выкинутый на берег в лунную ночь. Было в ней что-то интригующее и страшное.

Редактор Кудыковский осторожно вытащил окурки, еще осторожнее взял рукопись и понес ее читать в маленькую комнатку под крышей.

– Может, тебе туда чаю дать? – соболезнующе спросила жена.

– Не надо чаю, – безнадежно вздохнул Кудыковский. – Чай здесь ни при чем.

Таким тоном отказывается от дорожного бутерброда человек, идущий с перочинным ножом на старого тигра.

Через полчаса из-под крыши послышались мягкие стонущие звуки. Так стонут голуби на солнце и завхозы в бане, когда им растирают спину.

– Тяжело? – сочувственно спросила жена, заглядывая в комнату.

– Нет, – сердито ответил Кудыковский, – легко. Как ершу в мармеладе. Ты только послушай.

Он с ненавистью вытянул лист из рукописи и едко прошипел:

– На, любуйся. Посмотри, каким стилем пишет популярный Зиновий Бедакин. Вот его герой в третьей главе идет по полю. Слушай: «Игнатий задрюкал по меже. Кругом карагачило. Сунявые жаворонки пидрукали в зукаме. Хабындряли гуки. Лопыдряли суки. Вдали мельтепело». Понятно?

– Нет, – уклончиво ответила жена. – Я рязанская. Может, вологодские так говорят.

– Вологодские отпираются. Намекают, что это псковский диалект.

– А псковские что?

– Говорят, что это новочеркасский язык.

– А ты Бедакина что, пробовал убедить?

– Пробовал. Обижается. «Я, говорит, не для того популярным стал, чтобы мой стиль калечили». Жаловаться даже хочет. «Пушкина, говорит, до дуэли довели, Толстой из дома ушел, а теперь из меня стиль вынимают».

– Ну, верни роман, – необоснованно предложила жена.

– Куда там. Две части издали, а третью вернем? Роман же интересный же, пойми ты это... О господи, хоть бы он четвертую часть русским языком написал бы! Вот послушай... Героиня у него есть. Зоя Проклятых. Ну, черт с ней, пусть уж так называется, если нежнее фамилии не нашел. Вот как она страдает: «Зоя пурашилась. В голове у нее ситарунило. В ушах пляпали будрыки. Еще минута, и она бы горько встрапнула». Это же не девушка, а каменоломня из сна пьяного дворника. Завтра поеду к Бедакину, – может, сжалится...

Разговор с Бедакиным был короток и почти безнадежен.

– Не могу, дорогой, – категорически сказал он Кудыковскому, – язык мой, сам его создал и чужим ломать не позволю. Как думаю, так и пишу.

– Может быть, вы по-русски думать будете, – уныло предложил Кудыковский, – раз уж на русском языке роман пишете?

– Типичный великодержавный шовинизм, – сухо остановил его Бедакин. – Так нельзя. Меня по всему Союзу читают.

– У вас вот сказано, что ваш Игнатий задрюкал по меже. Почти непонятно неподготовленному читателю; может, это на четвереньках человек ползет, а может, на флейте играет. Нельзя ли другое слово?

– Можно. Запишите: «курлонил».

– А это что такое, собственно?

– То же, что фудыркнул. Живой, напоенный образом глагол.

– Жаль, что напоенный. Не поили бы их лучше, эти глаголы, – вздохнул Кудыковский. – И вот еще героиня у вас пурашится. Это что-нибудь физическое или внутреннее? В голове у нее ситарунит, а сама она пурашится. Некоторые не поймут.

– Вставьте так, – миролюбиво предложил Бедакин: – «Зоя хапурилась, как душатая». Ясно теперь?

– Уже яснее, – горько пожевал губами Кудыковский. – Может, разрешите кое-какие слова самому перевести с вашего на общепонятный? Сами понимаете: читательская масса. Не все подготовлены к восприятию самобытных образов. Отсталость. След проклятого прошлого.

– Переводите, – строго согласился Бедакин, – но с соблюдением стиля.

– Да уж не без этого, – обрадовался Кудыковский. – Я даже со словарчиком. На базе точной науки, так сказать. Будьте спокойны, Зиновий Гаврилович.

Поздно вечером Кудыковский вернулся к себе на дачу вдвоем. Впереди шел он, а сзади мальчишка, который нес с вокзала охапку толковых словарей русского языка. Не снимая кепки и на ходу закусывая холодной бараниной, схваченной на террасе, Кудыковский сел за рукопись романа.

– Так, так, – радостно шептал он через полчаса, роясь в рукописи и словарях, – дрюкать... На «Д». «Драпать... Дробить... Дрюкать... Дрюкать... – скакать на левой ноге. Костромское выражение». Так. Теперь на «К». «Карагачить... Кабкать... Калпить... Карагачить... Ловить рыбу руками. Из архангельских сказок». Так... Посмотрим теперь, что героиня делает... В ушах пляпали будрыки... «Пляпать – сверлить стену»... «Будрыка, множ. будрыки – донское название молодых медведей...» Ну-с, теперь дальше...

Через два месяца Зиновию Бедакину принесли корректуру третьей части его нового романа-трилогии «Угодья и половодья». Сверху была пришпилена записочка Кудыковского: «Что мог – исправил. Работал по словарям. Если что не так – извините. К.».

Бедакин начал читать прямо с третьей главы. Карандаш медленно падал у него из рук.

«Игнатий, – прочел Бедакин, – прыгал на одной ноге по меже и ловил рыбу. Небогатые жаворонки запрягали лошадей и били сапогами простоквашу. Свистели колеса, вбивали гвозди суки. Вдали было весело».

Еще более странные строки, родившиеся при помощи толковых словарей и его языка, мелькнули перед Бедакиным в следующей главе.

«Зоя рыла землю. В голове у нее шел снег и молодой медведь сверлил стену. В ушах танцевали холодные бани. Еще минута – и она бы пошла дождем».

Бедакин растерянно оглянулся, убедился, что в комнате никого нет, и быстро зачеркнул обе фразы.

«Игнатий шел по меже, – торопливо вписывал он, – и вокруг него пели жаворонки. Вдали пахло сеном...» Здесь так сделаем: «Зоя страдала. В ушах у нее шумело, и перед глазами плыли круги...» Пойдем дальше...

«Иван Петрович малапурил...» Не стоит... «Иван Петрович курил» – это будет лучше... «Даль стырчевела...» Не надо. «Даль синела». Так будет красивее...

Еще через два месяца роман «Угодья и половодья» появился в печати.

– Не понимаю тебя, – сказала жена Кудыковскому, прочтя роман, – хороший роман. Что ты злился? И очень простой, понятный язык. Что ты от него хочешь?

– Теперь решительно ничего, – хитро ухмыльнулся Кудыковский. – Прекрасный писатель! Кстати, Вера, вели выкинуть эти словари, которые я купил. Кажется, мне они больше не понадобятся,

1935

Заяц съел козу

I

Социальная заказчица влезла в комнату и упрямо остановилась у двери.

Писатель Атакин оторвался от рукописи и не без теплоты посмотрел, на молодую посетительницу.

– Чего тебе, Елизавета?

– Папка, напиши сказку! – твердо сказала социальная заказчица и без особого доверия к сообразительности собеседника добавила: – Хорошую.

– А насчет чего сказку?

– Насчет всего. Насчет мамы, насчет зайцев, самолетов, медведей, бабушки, и чтобы не страшно. Напиши.

– Хорошо. Иди-ка сюда...

Когда социальной заказчице стукнуло всего пять лет, когда она – дочь, а кроме того, залезая на колени, сидит на них таким радостным, теплым и мягким комочком, отказать невозможно.

«Действительно, – подумал на другое утро Атакин, – сколько таких Елизавет сидят без сказок. Надо написать. Пойду посоветуюсь, как это делается...»

Из длинного списка знакомых гигантов теоретической мысли Атакин выбрал критика Перететина. Последний числил за собой немало критических опусов о том, какова должна быть подлинная советская сказка. Опусы были большие, с цитатами, с аккуратно расставленными знаками препинания и убедительны. В результате их опубликования никто не решался писать сказок, обескураженный теми барьерами, которые тщательно расставил

заботливый Перететин.

В настоящее время Перететин писал большой труд на тему «Быт коня в русской сказке» с подразделениями: а) («Сказочные герои и современное машиностроение») и б) «Сказка-складка как помощь техминимуму».

За этой ответственной работой и застал его Атакин.

II

– Нет, нет и нет, – через полчаса возмущенно и взволнованно доказывал Перететин, – это откат назад, к чистому идеализму. Советский заяц не должен разговаривать.

– Позвольте, дорогой, – защищался Атакин, – это же сказка.

– Мало ли что сказка. Тогда какая же разница, позвольте вас спросить, между мелкобуржуазным зайцем тысяча восемьсот девяносто второго года и нашим подлинно советским зайцем? Тот разговаривал в сказке на потребу мелкого собственника. А носителем какой социальной идеи вы сделаете разговаривающего зайца в сказке нашего года?

– Это же заяц. У него уши. Хвост. Идей у него действительно маловато...

– Ну вот видите. Если в сказке начнет разговаривать заяц, значит, должен говорить и медведь? Ясно? Если медведь, то почему не может говорить корова?

– Я не собираюсь никого лишать слова.

– И напрасно. Животные не должны разрушающе действовать на психологию ребенка. Допустив корову разговаривать, вы должны точно выявить ее социальное лицо, чтобы ребенок знал, от имени каких групп она разговаривает. И не является ли данная корова носителем...

– Чего?

– Всего. Вы не можете ручаться за незнакомую корову, раз вы ей развязали язык. Животные в сказке могут только олицетворять. Понятно? Допустим – лиса. Вы ее незаметно для ребенка делаете идеологом нарождающегося фашизма в скандинавских странах. Волк может промелькнуть в сказке в качестве депутата европейского парламента из промежуточной группы радикальной буржуазии. Медведь...

– А если ребенок заснет?

– Зачем? Предупредите его, что за невнимание к социальным проблемам его можно оставить без обеда. Да никакой нормальный ребенок не будет спать при полноценной, хорошо продуманной сказке. И только без всякой фантастики. К чему эта устаревшая техника довоенного периода – эти ковры-самолеты с их отжившим механизмом? Вагонетка сталепрокатного завода, дежурная дрезина на ответственном участке транспорта, наконец, если уж этого требует ваше творческое «я», небольшой грузовик. Вот те способы передвижения сказочных героев, которые должны легко улечься в пытливом уме ребенка... Фея на грузовике – это, если хотите, уже некоторая смычка мира фантастического с миром индивидуальным. Выявите только социальное лицо феи, укажите, что она член профсоюза с тысяча девятьсот восемнадцатого года и не активистка на производстве только потому, что она не существует. Ребенок сразу согласится с таким толкованием. И насчет концов. Главное,

насчет концов.

– Каких? – уныло спросил Атакин.

– Благополучных. Помните, что благополучные концы в литературных произведениях – это рецидив мещанства. Нужно хлопнуть по рукам этих молодых героев, которые женятся на последней странице перед оглавлением и списком опечаток. Надо выжечь этих старичков, которых авторы оставляют благополучно доживать свой век. Пусть женятся наши классовые враги. Пусть доживают старики на развалинах капиталистического мира. Советский старик должен умирать в предисловии. Так и в сказках. Дети не должны привыкать к благополучным концам. Конец должен быть бодрый, но не слащавый.

– Например? Заяц съел медведя и, лихо запев, пошел работать на огороде?

– Не совсем так, но вы уже близки к истине. Главное – в оправдании поступков сказочных героев. Довоенная Баба Яга просто беспредметно летала в ступе. Куда она летала? Неизвестно! Может быть, владея орудиями производства, она жила на сверхприбыль и летала из-за отсутствия забот и квалификации. Наша Баба Яга... Виноват... Героиня нашей сказки должна летать целеустремленно. Вы настаиваете на животных? Хорошо. Я уступаю вам. Допустим, у вас в сказке коза ест репу. Обоснуйте. Оправдайте ее поступки перед малолетним читателем. Докажите, что козу и репу связывает не простой инстинкт, а что коза ищет в ней витаминов. Дайте легкое цифровое исчисление необходимых для козьего организма витаминов, и вы увидите, каким внутренним горением засветится ваша сказка... Понятно?

– Слушайте, – обиженно сказал Атакин. – Я не идиот, чтобы не понимать, что нельзя писать для советского ребенка бессмысленных сказок с чертовщиной, с прославлением царей и с мужиками в качестве холопов... Я все понимаю, но то, что вы говорите... Эх!..

Он бросил недокуренную папиросу и, не простившись, ушел домой.

### III

Социальная заказчица упрямо стояла у дверей и ждала,

– Написал сказку, папуля?

– Написал, Елизавета. Слушай.

Атакин вынул из стола свежую рукопись и стал читать:

– «В дремучем лесу, оставшемся от лесосплава в виду неподачи гужевого транспорта, жила одна фея, которой вообще не было. И коза. Фея ездила на дрезине уплачивать профвзносы. А коза жрала витамины. Полтора процента на завтрак и семь и четыре десятых процента на ужин. В лесу жили разные звери, а так как они говорить не умеют, они между собой переписывались. И никто из них не летал, а просто они жили в норах и олицетворяли банковский кризис в индустриально отсталых странах. Однажды пришел заяц с резко очерченным социальным лицом и съел козу, – чтобы не было благополучного конца. Я там был, мед-пиво пил. По усам оно не текло, так как лес был очень культурный и все брились. Все...» Хорошо?

– Очень, – тихо сказала социальная заказчица и заплакала.



## Отдел привидений

Это подлинная выдержка из лондонской газеты «Дейли экспресс».

### Объявление

Ввиду оживления интереса к привидениям редакция «Дейли экспресс» просит своих читателей сообщить все свои переживания, связанные с этим вопросом, и рассказать, кто, когда и где встречался с привидениями и духами.

Каждое опубликованное письмо оплачивается по 10 шиллингов и шесть пенсов.

Писать (не более 500 слов) по адресу: «Привидения», «Дейли экспресс», Флит-стрит, Лондон, К. С. 4.

Дальше уже от себя. Применительно к фактическому положению вещей.

Редактор отдела «Привидений» Д. – Д. Хринт начал прием.

– Сэр, – почтительно начал первый посетитель, грузный человек лет шестидесяти, – я бывший колониальный полковник. У меня подагра. С некоторого времени я стал замечать, что моя племянница во время лунных ночей лязгает зубами.

– Обратитесь в подотдел «Упырей и вурдалаков». Наш отдел интересуют только мертвые племянницы.

– Мертвых не имею, – с сожалением вздохнул бывший полковник. – Кладбищенскими историями не занимаетесь?

– Имеете местное привидение?

– Местным служить не могу. Мог бы предложить одного испанца семидесятих годов, которому гаванский мертвец оторвал ногу.

– Не подходит. За импортные привидения не платим. Попробуйте подыскать парочку местного производства. Следующий.

Вслед за полковником пришла экономка одного молодого виконта, которая видела привидение в Манчестере, днем, во второй половине июля, но не помнит, как оно выглядело. Впрочем, если ей дадут десять шиллингов и шесть пенсов, она вспомнит. Потом приходили еще какие-то посетители, причем один из них заснул в углу и, проснувшись, заявил, что привидение он сам и чтобы ему дали пива.

Словом, это были не те люди, в которых нуждается отдел «Привидений» газеты «Дейли экспресс», и редактор Д. – Д. Хринт уже хотел идти играть в покер, когда в комнату вошел мрачный человек с большим, тяжелым бельмом на глазу.

– Сэр, – сухо сказал он, – вчера ночью на мосту около моего дома я слышал привидение. За всякое последующее привидение буду считать только половину.

В ту же ночь редактор Д. – Д. Хринт и человек с бельмом, имевший, между прочим, колбасную лавку и фамилию Райд, в мрачной тишине пробирались по мосту над грязным притоком Темзы.

– Слушайте, Хринт, – внезапно схватил его за руку Райд, – оно!

Из-под моста раздавалось протяжное, заунывное пение.

– Я слышу мужской голос, – прошептал редактор Хринт.

– Вы наблюдательны, Хринт. Ребенок или молодая леди не могли бы мычать, как этот бык. Хотите спуститься?

– Идем. Держите мой браунинг. Я боюсь, что он заряжен.

Осторожными шагами они спустились по лестнице под мост и сразу наткнулись на небритого мужчину, который лежал на каменном выступе, плевал в воду и отмечал попадание непристойными куплетами.

Редактор Д. – Д. Хринт осветил его фонарем и осенил крестным знаменем.

– Бросьте, – кисло проворчал небритый мужчина, – я уж крещен по англиканскому обряду и наречен Арчибальдом. Бывший антрепренер – Арчибальд Роберт Суррай. Вы ко мне по делу или на чашку чая? Простите, что я один дома и мой лакей не мог открыть вам парадное.

– По-видимому, это не привидение, – недовольно проворчал Хринт.

– Нет, сэр, – прохрипел тот, – я уже имел честь вам докладывать, что я – бывший антрепренер. После этого я был смазчиком, приказчиком и лодочником, но привидением еще не был.

– Какого же черта вы делаете под мостом, – обиделся Райт, – и еще поете?

– В правилах высшего света, джентльмены, нигде не сказано, что ночью под мостом сидеть надо молча. Это раз. Что я делаю здесь? Сажу и дожидаясь, когда правительство его величества так наладит отечественные финансы, что театральные антрепренеры не будут под мостами. Это два. Имеете еще вопросы? Помните мудрое правило: если вы пришли к занятому человеку – излагайте ваши претензии и уходите...

– Пойдем, – вздохнул редактор Д. – Д. Хринт, – я боюсь, что таких привидений мы с вами можем набрать днем а любой части города. Я, кажется, обещал вам десять шиллингов?

– Пять уже дали.

– И напрасно. Идите к черту.

На следующий день хмурый и слегка простуженный редактор Д. – Д. Хринт снова принимал посетителей в отделе «Привидений».

– Имейте в виду, – предупреждал он каждого, заходящего в кабинет, – если ваше привидение только храпит и не показывается, оно не стоит и двух пенсов. Хороший бульдог может тоже хрипеть и не показываться и оставаться при этом обыкновенной собакой, а не нечистой силой.

Посетители вяло рассказывали о своих наблюдениях, торговали ночными стопами, саванами из-за деревьев, гробовыми крышками и другими подержанными мелочами.

И, как вчера, только к концу дня один из посетителей сразу привлек внимание Д. – Д. Хринта.

Это был старый Швейцар, от которого на два метра пахло пылью и чаевыми.

– Я – швейцар лорда Брамслея, – деловито начал он, делая жест, как будто бы останавливает лифт. – Лорд Брамслей ведет свое происхождение от викингов и в настоящее время уехал на Антильские острова изучать расцветку акульих плавников в дни новолуния. Наш особняк пуст, как наволочка без подушки. Даже дрессированная змея Биби проглотила недавно солонку и умерла от тоски по своему хозяину. И тем не менее каждую ночь в верхнем этаже я слышу чьи-то шаги.

– Может, это змея ходит? – рассеянно переспросил Д. – Д. Хринт.

– Я вам уже докладывал, сэр, что она сдохла. Это ходит привидение. Если вы захватите с собой сегодня браунинг...

– И десять шиллингов для вас. Хорошо. Я согласен. Сегодня в двенадцать ночи буду. Задаток не даем. Получите при предъявлении привидения.

В половине первого ночи редактор Д. – Д. Хринт, в сопровождении швейцара, мягко ступал по дорогим коврам на лестнице роскошного особняка виконта Брамслея.

Во втором этаже слышались тяжелые шаги.

– Оно? – порывисто дыша, спросил Д. – Д. Хринт.

– Оно-с, – сокрушенно подтвердил швейцар, – типичные простонародные шаги. В роду лорда Брамслея никто так невоспитанно не шлепал пятками. Не иначе, как привидение младшего истопника.

– Войдем, – решительно заявил Д. – Д. Хринт. – От имени моей газеты предлагаю вам войти первым. Я буду сзади воодушевлять вас и светить фонарем.

Когда дверь открылась, яркое пятно света упало на тощую фигуру молодого парня в серой кепке и пестрой фуфайке. Он поднялся с мягкого кресла и виновато почесал затылок.

– Привидение? – сердито спросил Д. – Д. Хринт.

– Пока нет, сэр. Но боюсь, что, если не пообедаю еще дней пять, вы окажетесь правы.

– А как вы сюда попали?

– Уезжая на Антильские острова, лорд Брамслей забыл прислать мне специальное приглашение, – добродушно ответил парень, – и мне пришлось воспользоваться шестым окошком слева.

– Что вы здесь делаете, любезный? – сердито заорал швейцар.

– Временно пользуюсь особняком лорда Брамслея, любезный. Хочупереждать в нем, когда освободите места под мостами и на скамейках бульваров. Боюсь, что там уже все переполнено.

– Мы вас арестуем, – плаксиво прогудел швейцар. – Будете ночевать в полиции.

– Увы, – вздохнул парень, – этот вид ночлега уже отменен. Полицейских участков слишком мало для того, чтобы вместить всех желающих. Это единственная область в наше трудное время, где спрос превысил предложение.

– А вы не вор? – сухо спросил Д. – Д. Хринт.

– Нет, сэр. Иначе бы я ночевал в собственном особняке, а не в чужом.

– Прощайте, – кинул редактор швейцару, – попробуйте дать вашему привидению холодной баранины и не приходите в редакцию. Вас выкинут еще со второго этажа, хотя я принимаю в пятом.

На следующий день редактор Д. – Д. Хринт не принимал посетителей. Начал он прием только через два дня. В приемной уже толпилось много народа. Д. – Д. Хринт сам выбрал какого-то сизого старичка с перевязанным ухом и позвал его в кабинет.

– Говорите короче. Видели?

– Видел, сэр.

– Где?

– На крыше, сэр.

– Что оно делает?

– Шлялось и ругалось, сэр.

– Что оно говорило?

– Привидение? Очень хорошо помню, сэр, – и старичок перекрестился, – оно говорило, сэр: «Хоть бы кого-нибудь встретить». Могу ли я получить мои десять шиллингов и шесть пенсов?

– Нет, – сердито ответил редактор Д. – Д. Хринт. – Это был я. За себя я не плачу.

– А зачем вы полезли на крышу? – спросил старичок.

– За привидениями, – тяжело вздохнув, ответил Д. – Д. Хринт. – Уже четыре дня в моем отделе нет ни одной строчки. Боюсь, что вместо меня завтра будет сидеть другой редактор. А вы знаете, как неприятно лишиться места в старом, богатом Лондоне...

1935

Дочь

К мужчинам Лиза подходила с суровой требовательностью. Одни внешние достоинства ее не удовлетворяли. Ей было непонятно, почему, например, вешают на стенке портрет Льва Толстого, когда у него такая длинная борода, которая может присниться ночью. Или еще: приходит к маме такой летчик дядя Костя. Говорит, что он придумал какую-то машину и, наверное, очень смешную, потому что она, оказывается, легче воздуха, а кому такую машину нужно, раз ее можно сдунуть? И еще он даже где-то летал, и ему один раз и другой раз дали по ордену. Но больше он ничего не умел. Как неспособный. На пианино играл одним пальцем; когда рассказывал о львах, то они у него только рычали, а не ели людей, а на гребенке играл хуже домработницы Маруси, хотя она женщина и боится мышей. Со знакомыми дядя Костя поступал необдуманно и почти оскорбительно. Брал двумя пальцами за тугую косицу, подтягивал к себе и целовал в нос.

С мамой, конечно, он так не посмел бы проделать, потому что мама взрослая и стриженная, но с Лизой поступал так неоднократно. Шестилетние девушки редко прощают такие выпады.

Поэтому, когда мама осторожно спросила Лизу, как она относится к тому, что дядя Костя может оказаться ее новым папой, Лиза ответила уклончиво:

– В папы он годится, но в гости его с собой не бери. Он неинтересный. – И, чтобы было понятнее, добавила: – Как мужчина.

Мама незаметно улыбнулась, необоснованно поцеловала Лизино ухо и снова спросила:

– А ты интересных мужчин видела?

– Видела, – сухо ответила Лиза, – хромой из четвертого номера интересный. Он все умеет. Про зайцев рассказывает. Как зайцы в озере-океане плавали. Лаять умеет, как собачки ночью. Дядя Вася, который тебе незнакомый, интересный. У него карта в руке прячется. А во дворе портной живет – у него уши шевелятся.

Мама была молодая, розовая и так приятно пахла духами, но оказалась старой сплетницей. Она все выболтала дяде Косте, а он почему-то сделался грустным и стал курить папироску за папироской.

– Трудная девушка, – шепотом сказал он маме, – не знаю, как подойти к ней. Не умею я с ихним братом разговаривать.

– А вы ее уже любите, Костя? – тревожно спросила мама.

– Да уж ладно, – буркнул дядя Костя, – вчера увидел на бульваре такую вот, с косицей, думал, что Лиза, как идиот за ней подрал, сердце екнуло...

И мама посмотрела на него такими же нежными глазами, какими смотрела на Лизу, когда укладывала ее спать.

Через несколько дней мама пришла откуда-то вместе с дядей Костей, оба веселые, с цветами, покупками, и сказала:

– Ну, Лизавета, вот твой новый папа! Поздоровайся.

– Здравствуйте, дядя папа Костя, – вежливо прошептала Лиза и неожиданно для себя заплакала. Ей вдруг показалось, что этот высокий, плотный человек отнял у нее маму и она лишняя в этой комнате.

– А я тебе какие предметы зацепил! – робко начал дядя Костя, заметив ее длинную слезу, выкатившуюся из глаза, и начал разворачивать покупки. – Вот это, брат, тебе кукла. Видишь, глаза закатывает? А нажмешь – пищит. Здорово пищит?

– Здорово, – вежливо и тихо подтвердила Лиза. – Ее в пуп надо давить.

– А вот лошадь. Вот тут хвост. Большой?

– Хвост, – кивнула Лиза. – Большой.

И Лиза потащила куклу в угол.

Дядя Костя безнадежно вздохнул и посмотрел на маму.

– Не умею я, Вера. Не выходит это у меня. – И шепотом добавил: – Не любит меня. Не нравлюсь. С тобой и то легче было.

– Привыкнет, – успокоила мама.

В этот вечер много раз звонили по телефону. Говорили о каком-то проекте, поздравляли дядю Костю, мама ходила очень радостная и все время напевала, а дядя Костя сидел мрачный и искоса поглядывал на Лизу. Ночью он о чем-то очень долго шептался с мамой и не гасил света.

Утром за дядей Костей заехал автомобиль, – оказывается, его ждали в каком-то учреждении. Он наскоро допил кофе и смотрел, как Лиза макает в блюдечко тянучку.

– Знал я одного зайца, – неожиданно сказал он, уже не глядя на Лизу, – здоровый был заяц. Прямо, можно сказать, страшный. Лис бил.

– А как бил? – подняла на него Лиза синие глаза.

– А так, – обрадованно отозвался дядя Костя, – как увидит лису, как даст ей по животу – и все.

– А как даст?

– Лапой. Один раз лисе хвост даже выгрыз. Его все в лесу боялись.

– А он что?

– А он не боялся. Волк идет, а он сидит под кустом и смеется. Честное слово,

– Тебе пора, Костя, – ласково сказала мама, – там уже шофер второй раз гудит...

– Сейчас, сейчас... А то-то вот еще идет этот самый заяц, а старый барсук сидит у огорода. Ну, что он там опять гудит!

– Барсук гудит?

– Нет, Лиза, шофер. Ну вот сидит этот самый барсук и трясется... А наш заяц схватил палку да как бросится...

– Костя, – снова вступилась мама, – неудобно. Поезжай.

– Сейчас, сейчас... Как схватил палку да как бросится... Я тебе, Лиза, как вернусь, все доскажу.

– А доскажешь?

– Честное слово. Что я – жулик какой, разве обману?

До его приезда Лиза спокойно играла, но почему-то прислушивалась ко всем звонкам в коридоре. Дядя Костя приехал скоро, опять с покупками, и, раздеваясь, спросил у мамы:

– Ну как?

– Ждала, – улыбнулась мама, – все в коридор выбегала.

Дядя Костя неожиданно повеселел и небрежно начал:

– Так на чем мы остановились? Ах да, насчет барсука. Ну, вот, как это даст ему заяц палкой – а тот в лес.

– Убежал?

– Убежал. А в лесу медведь жил. Грязный такой, старый и курил сигары. И звали этого

медведя Егором. Вот прибегает к нему барсук и говорит...

– Пусти-ка, – деловито сказала Лиза, – я к тебе на коленки сяду. Только не урони. Ты еще не умеешь на коленках держать.

Мама ушла в магазин и вернулась не скоро.

– Заждались меня? – спросила она, снимая шляпу.

– А разве ты долго была? – удивился дядя Костя. – А у нас как-то незаметно время прошло. Интересная тема попалась.

Потом он сел писать речь. Дядя Костя не умел говорить. А завтра его должны были чувствовать, и он должен был отвечать.

– Я говорить затрудняюсь, – со вздохом сказал он маме.

– Лисы тоже говорить затрудняются, – поддержала его Лиза.

– И барсуки, – подтвердил дядя Костя.

– Не мешай папе писать, – строго сказала мама.

– Я не мешаю. Мне бы только хотелось знать.

– Что тебе хотелось бы знать?

– Насчет волков. У волков болят зубы?

– Болят, – сказал дядя Костя, откладывая бумагу. – Здорово болят. Им старые волчихи выдерживают. Сучьями. Интересно?

– Очень. Пусти-ка меня опять на колени. Мне отсюда неудобно слушать.

– У папы работа, Лиза, – покачала головой мама.

– Успею, – остановил ее дядя Костя. – А хочешь, я тебе расскажу, как белка купила курицу?

К одиннадцати часам Лиза уснула на коленях у дяди Кости. Он сам ее отнес на кроватку и сам неумелыми пальцами осторожно подтыкал розовое одеяло.

Утром дядя Костя уехал на какой-то прием. Мама радостно волновалась и совала ему носовые платки в карманы.

А Лиза сказала вскользь:

– Ты мне подарков не покупай, не задерживайся в магазинах, а приезжай скорее. Есть о чем поговорить.

Дяди Кости не было целый день. Мама все время подходила к телефону, опять благодарила за какие-то поздравления и рано уложила Лизу спать.

Дядя Костя приехал очень поздно. Он вошел в комнату на цыпочках.

– Ну, рассказывай, рассказывай, что было, – встретила его мама.

– Уже спит? – разочарованно спросил он, кивнув на ширму, за которой лежала Лиза.

– Спит. Ну, рассказывай...

– Сейчас. А она давно уснула?

– Давно, давно. Хочешь чаю?

И вдруг из-за ширмы раздался толстый сонный голос.

– Папа! А папа...

Дядя Костя от неожиданности уронил папироску.

– Мне кажется, – тихо и сконфуженно сказал он, – она меня назвала папой...

– Тебя, тебя. Иди уж, поцелуй ее, если не терпится...

Мама долго сидела за столом и читала вечернюю газету. На первой странице был портрет дяди Кости, большой, плохо отпечатанный и такой волнующий.

А из-за ширмы до нее доносился громкий восторженный шепот:

– Ну, а медведь что?

– А медведь ничего – схватил его за хвост и в берлогу.

– А заяц что сказал?

– Засмеялся.

– Как?

– Мелким смехом. Как все зайцы смеются.

Чай остыл. На часах стрелка перешагнула за двенадцать. Мама осторожно подошла к ширме, постучала пальцем и строго сказала:

– Спи, Лиза.

В эту ночь Лиза видела во сне, как к ней пришел волк, очень нестрашный, и попросил ватрушку. А неподалеку от нее спал высокий, плотный человек крепким радостным сном. Завтра о нем снова будет говорить вся страна. И, кроме того, у него нашлось еще то – о чем он так бережно и затаенно мечтал. У него есть дочь.

1936

Рассказ для клуба

Она была белокура и восторженна, эта маленькая англичаночка. Ей так все нравилось у нас. Она приехала вместе с рабочей делегацией из промокшего от сырости и посеревшего от черной пыли каменноугольного района Южной Англии. Вместе со своей делегацией она ежедневно жадно обегала заводы, музеи, типографии и беспрестанно теребила переводчиков.

Особенно страдал от нее маленький лысенький переводчик Дедис, от которого она требовала все сразу – и названия машин, и фамилии художников, и русские пословицы, и детские песни.



– Я не поющий, – тихо и вежливо оправдывался маленький Дедис. – А песен у нас много. Честное слово. Услышите!

– Я хочу выступить у себя в клубе! – восторженно говорила белокурая девушка. – Я все хочу знать! И хочу иметь настоящий рассказ о вашей стране для нашего клуба.

Один раз, когда делегация проходила по большому, раскинувшемуся у реки парку, девушка схватила Дедиса за руку, оттащила его в сторону и умоляюще зашептала:

– Устройте интервью. Ну, я прошу вас!

– Какое интервью? – озадаченно спросил Дедис. – С кем интервью?

– С вашим простым обывателем, – серьезно сказала белокурая девушка. – Я хочу послушать, что говорят ваши обыкновенные граждане. Понимаете – рядовые.

– Хорошо, – уныло ответил Дедис, вспомнив, что делегацию уже поджидают у входа автомобиля. – Устрою. Обывателя какого-нибудь? Видите, вон там человек на скамейке сидит с бородой. Эскимо сосет. Хотите?

Через две минуты Дедис и белокурая англичанка сидели на скамейке рядом с пожилым мужчиной с большой окладистой бородой и в очках.

– Скажите, а он действительно простой обыватель? – осторожно спросила англичанка.

– Простой! Абсолютно простой. Спрашивайте, о чем хотите.

Девушка вынула блокнот в кожаной корочке и солидно спросила:

– Местный?

Дедис стал переводить.

– Приезжий, – солидно ответил мужчина с окладистой бородой.

– Надолго в Москву?

– До завтра. По дороге в Крым.

– Зачем он едет в Крым?

– Лечиться. На курорт.

– А где он служит?

– В банке.

– А на какие средства он едет на курорт?

Мужчина с бородой, выслушав от переводчика вопрос, несколько изумленно посмотрел на него.

– Видите ли, – озадаченно почесал за ухом Дедис. –

У нас государство дает деньги на отдых. Понимаете? Вот и в Конституции есть такая статья о праве на отдых. Чтобы все отдыхали. Понимаете? А он больной. Нездоровый. Ему еще отдельно выдается на лечение. Понимаете?

Англичанка что-то подумала, доверчиво черкнула в блокнот и спросила:

– А что он там будет делать?

– Как что? – удивился переводчик, но поймал себя на улыбке и объяснил: – Он будет жить, купаться, читать газеты, книги, отдыхать... Оказывается, что он любитель крокета – ваша английская игра.

Белокурая англичанка сердито захлопнула блокнот, встала со скамейки.

– Пойдемте, – сказала она и обиженно посмотрела на переводчика. – Служащий банка! Я знаю этих служащих банка, которые ездят на курорт, купаются в море и играют в крокет!

– Уверю вас, мисс...

– Бросьте! Я вас просила познакомить меня с простым обывателем, а вы мне подсовываете какого-то туза! У нас есть тоже финансовые тузы... Пойдемте!

Человек с бородой растерянно посмотрел на англичанку, Он не понимал ее фраз, но чувствовал, что сказал что-то неладное. Сконфуженно смотрел и маленький лысенький переводчик.

И когда уже англичанка зашагала в сторону, он быстро догнал ее и сказал:

– Мисс... Вы же не спросили его, где он служит?

– Он же сказал, что в банке. – И она сердито отвернулась.

– А кем? Спросите его, кем!

Человек с бородой солидно откашлялся и деловито ответил:

– Пензенский коммунальный банк. Швейцар.

Когда Дедис перевел, белокурая англичанка виновато покраснела, протянула ему руку и тихо сказала, напряженно подбирая русские слова:

– Какой это будет чудесный рассказ для мой клуб.

1936

## Местный материал

Редактор газеты «Наше зарево» товарищ Рыбкин (Зоркий) не любил местного материала.

– Не то, – обиженно и грустно говорил он, просматривая кучу рабкоровских писем и репортерских заметок. – Без масштабу пишут. Широты нет. Возле Фунякина волки корову заели. Ну заели! Волк – не классовый враг, его разоблачать нечего. У него и функция такая – заедать. Кого этот факт интересует?

– Тут подборка есть, – осторожно замечал секретарь Ихонов, – насчет пыли на проспекте. Четвертый день, как квасной киоск засыпало, – вытащить не могут. У меня и заголовочек есть для подборки: «Ударим пыль по рукам!» Пустим?

– Не стоит. Не та пыль. В узком масштабе пыль. Жизнь кипит. Слыхали, жара-то какая в Америке стоит, а вы поперек всего с киоском лезете!

– Может, насчет школ поместим? Второй месяц подборка лежит.

– На школы мы уже откликнулись. Письмо комсорга насчет прошлогодних каникул поместили. Дайте-ка центральные газеты. И клею!

И тогда в напряженной творческой тишине рождался очередной номер районного «Нашего зарева». Темпераментно и бойко вгрызались беспощадные ножницы в широкие листы центральных газет, аппетитно хлюпала кисточка, вылезая из узкого горлышка бутылки с клеем, а пол покрывался скорбными остатками газет.

– Может, кое-что и недоперевырезал, – вздыхал товарищ Рыбкин (Зоркий), – обидно, но ничего не сделаешь. Размеры у нас маленькие.

– А как насчет местного материала, – уже безнадежно спрашивал секретарь, – может, вставим?

– А там полколонки осталось. Вставьте насчет утери паспортов. Да к кому-то еще рыжий сеттер пристал – тоже вставьте. Нельзя не обслуживать местное население.

В один типичный летний день товарищ Рыбкин (Зоркий) прибежал в редакцию и торопливо стал собирать заседание.

– Звонили из райкома, – испуганно сказал он секретарю Ихонову, – требуют, чтобы помещали местный материал. Гоните всех на заседание. Тут в приемной какой-то человек в шляпе стоит, гоните и его.

– Это приезжий агент Союзпушнины. У него портфель пропал. Объявление дает.

– Все равно. Не игнорируйте местную общественность. Гоните и его. Пусть слушает и высказывается от имени проезжих читателей.

На собрании товарищ Рыбкин (Зоркий) сразу охватил План будущего номера.

– Что мы имеем на сегодняшний день? – бурно говорил он. – Мы имеем богатейший местный материал. В кино «Порыв» мы имеем крыс, каковые бегают во время сеансов по ногам трудящихся... Товарищ Ихонов пишет передовую: «Ударим по крысе в местном искусстве!»

– Я вам три месяца заметку насчет крыс подсовывал, – обиженно заметил секретарь, – а вы, Игнатий Семенович, сказали, что пусть, мол, их бегают, где хотят, – не специальный же стадион для них открывать.

– Пишите, пишите!.. У кого еще есть материал?

– Тут из района заметка лежит, – вмешался один из сотрудников, – насчет волков. Корову заели.

– Большой подвал. Раздраконьте заметку. Волк как таковой. Случай из жизни волков. Покажите живую корову. Без излишнего натурализма, но чтобы корова жила на страницах газеты. Несколько там мыслей из Пушкина и Щедрина о мертвых коровах. В конце стишки и лозунги. Что еще есть?

– Тут вот пылью квасной киоск занесло.

– Знаю. Помню. Подборку на полосу. Сверху шапку «Пыль как явление». Найдите продавца из киоска и напишите его биографию. Если есть групповой снимок его семейства – клишируйте. Автобиографию киоска. Исторические случаи из жизни киосков, их друзей и близких. А что вам надо?

– У меня местная сенсация, – бойко и независимо предложил репортер Ухаев, вытаскивая блокнот. – Трагедийный роман в ресторане «Еда». Откушенное ухо у трудящегося несознательным элементом на почве совместного ухаживания за продавщицей Ньютой...

– Передовую. Виноват. Передовая крысами занята. Отдаю вам четвертую полосу. Подробное описание пострадавшего, героини и уха. Больше и красочнее!

...К концу заседания в комнате остались только редактор и секретарь.

– А это не перегиб, Игнатий Семенович? – тихо спросил секретарь.

Товарищ Рыбкин (Зоркий) оглянулся по сторонам и задумчиво ответил:

– Может, и перегиб... Кто ж его знает?.. Говорят, дайте местный материал, я и дал...

И вдруг с радостной улыбкой он посмотрел на конверт, только что принесенный курьершей. Дрожащими руками он вскрыл его, ласково разгладил большие страницы с фиолетовыми строчками и облегченно вздохнул.

– Вывернулись, товарищ Ихонов!.. Горсоветское постановление... Я так и знал, что вывернемся!

Секретарь тоскливо посмотрел на постановление. На одиннадцати страницах категорические строки четко и ясно излагали постановление горсовета о пользовании садовыми скамейками, правила о продаже шипучих и газированных вод в киосках, а также конкретно излагали права и обязанности работников местного гужевого транспорта во время летнего сезона.

– Все давать? – уныло спросил секретарь.

– А как же? – радостно откликнулся товарищ Рыбкин (Зоркий). – Обязательно. Дайте еще какую-нибудь международную телеграммку, а все остальное – под постановление... Пусть теперь кто-нибудь скажет, что мы не даем местного материала!

1936

## Семнадцатая профессия

– Сыщиком в Филадельфии я был всего четыре дня, – сказал Алиссон, скovyрнув грязь с подметки. – На пятый меня выкинули, как крысу из погреба, и обещались переломить ноги и еще что-то, чего я уже не дослушал. Это была вообще очень запутанная история, и напрасно вы ею интересуетесь. Ничего поучительного, и только одно невезение.

Рано утром я зашел в частную сыскную контору братьев Рипп и попросил, чтобы ко мне вышел хоть один из братьев.

Какой-то человек, похожий на лису, после второго завтрака сразу принял меня по-деловому:

– Братья Рипп умерли в тысяча восемьсот девяносто первом году. Дело ведут их наследники. Если вы хотите, чтобы вас вышвырнул именно один из них, а не простой служащий, я могу привести к главному директору конторы. Что вам вообще надо?

Я почувствовал, что тесной дружбы с этим человеком мне все равно сразу не наладить, и выложил свое предложение:

– За последнее время я перепробовал шестнадцать профессий, включая сюда кражу зонтов во время народных гуляний. Нельзя ли устроить так, чтобы семнадцатая оказалась профессия сыщика? Я умею ходить, молчать, стрелять, слушать. У меня крепкие ноги, а вот этим кулаком я легко вколачиваю шестидюймовые гвозди в доску.

– Из вас, по-видимому, вышел бы прекрасный молоток, – сказал он, выслушав мою последнюю фразу, – но для сыщика, особенно в нашем предприятии, нужно еще кое-что другое. Вы не социалист?

– Избави господи, – покачал я головой. – Я не настолько молод, чтобы исповедовать бесплатные убеждения, Я люблю закон и порядок. Особенно такой закон, который меня не очень преследует, и такой порядок, при котором я могу обедать и ужинать с пивом.

– Хорошо, – сказал он, подумав. – У нас есть кое-какая работа. Если вы не окончательно глупы, вы сможете на ней продержаться и зарабатывать по два доллара в день. Документы у вас какие-нибудь есть?

– Временно у меня нет ни пригородного особняка, ни собственного авто, ни документов. Сейчас я располагаю только фамилией Дика Алиссона, доставшейся мне по дружбе от одного парня, сидящего в тюрьме, под случайным псевдонимом.

– Черт с вами! – быстро согласился он. – Получайте задаток и кое-какие инструкции.

Работа оказалась простой, как пенье канарейки. Я должен был служить швейцаром в ресторане «Гренада» на Ковбо-сити, слушать, что говорят посетители, помогать агентам сыскальной конторы братьев Рипп вылавливать каких-то подозрительных типов, а также хватать бандитов в случае полицейских облав.

Первый день я служил с аппетитом. Я снимал с джентльменов, посещающих этот темный ресторанчик, мокрые пальто и следил за их зонтами и шляпами. В одном из вверенных мне карманов я даже нашел скомканную пятидолларовую бумажку и серебряный портсигар, из чего понял, что приработки к основному жалованью мне обеспечены.

На второй день служба показалась монотоннее, и я уже стал прислушиваться к тому, что говорят кельнеры и посетители, а также присматриваться, не мелькнет ли где-нибудь, как суслик из норы, один из тех бандитов, которых я должен ловить.

– У нас сегодня кислый вечер, – позевывая, сказал мне второй швейцар, – почти все столики заняли кондуктора автобусов. Ребята затевают какую-то стачку и будут до ночи шептаться и требовать дешевое пиво и вторые порции картофеля с сосисками. Видел? Прошел один такой долговязый, в серых штанах. Это их главный. Хороший парень, но, к сожалению, от них всех как от посетителей такой же толк, как от мокрицы в бульоне.

«Значит, сегодня спокойный вечер, – решил я, – одни кондуктора и никаких бандитов. Можно спокойно покурить и поиграть с кельнерами в кости около кухни».

Но ни играть, ни курить не пришлось. Через полчаса в швейцарскую вмазался какой-то чернявый парнишка с глазами, как у кролика, и, поймав меня за рукав, тихо шепнул.

– Дик Алиссон? Номер три ноль два? Имей в виду, что сегодня к полночи здесь будет облава. Возьми глаза в зубы и будь готов. Бери, кого укажет инспектор, и не рассуждай. Понял?

– Ага. Не маленький. Понял.

И что же вы думаете? У конторы братьев Рипп дело поставлено как надо. Не пробило еще и двенадцати часов, как в подъезд вошел этакий мясистый дядя в коричневом костюме, с пухлой пудреной мордой и весь осыпанный брелоками, как собака репьями.

Кельнеры сверху, с лестницы, посыпались в швейцарскую, как гнилые груши с дерева, второй швейцар взял у него палку, точно она была из хрусталя, и все так кланялись, что вот-вот могли переломиться.

– Видел? – подмигнул мне швейцар. – Сам Джед Кирт, И совершенно один. Вот это человек.

– Не гуди в ухо, – остановил я его. – А кто этот самый Джед Кирт?

– Идиот, – усмехнулся швейцар. – Ты не знаешь Толстого Джеда? Хозяина нашего района? Этот толстяк стоит три миллиона. У него больше сорока человек одной шайки. Третьего дня молодцы Джеда ухлопали вот тут на углу двух парней из шайки Слиппера, который ограбил Северный банк. Говорят, что одного из молодцов Джед угробил собственноручно из пистолета...

«Здорово, – подумал я, и у меня мускулы заходили под рубашкой. – Контора братьев Рипп не даром мне платит деньги. Сегодня я покажу, какой я работник».

Прошло еще с полчаса. Толстый Джед уже заказал с полдюжины шампанского и поил каких-то тощих девиц с хриплыми глотками. Не успел я сбегать на кухню за кружкой пива, как поднялось бог знает что.

Человек тридцать полицейских ворвались в ресторан, бросились вверх по лестнице в зал, и свет сразу погас. Крики, выстрелы, посуда бьется, как миленькая... И что же вы думаете: совершенно спокойно спускается сверху мимо полицейских этот самый бандит Джед Кирт и выходит на улицу.

«Погоди, – говорю я себе, – я тебе не полицейский. Эти коровы могут проспять у себя под носом кого угодно, но не будь я Джеком Алиссоном, если ты у меня уйдешь».

Короче говоря: короткий удар сзади по черепу на втором углу от ресторана, и молодчик не успел даже схватиться за пистолет. Я впихнул его в такси, там помял еще, чтобы он был спокойнее, и уже через двадцать минут внес его в сыскную контору братьев Рипп.

Вид у него был, как у селедки, которую мешали в цементном котле.

– Получите, – сказал я человеку, похожему на лису. – Бандит в вашем распоряжении.

Тот наклонился над моим пойманным толстяком, вдруг захрипел и повалился на стул.

– Мерзавец! – выдавил он из себя, как клей из трубки. – Кого ты поймал? Что ты сделал с нашим уважаемым клиентом? Так ты обслуживаешь наших лучших заказчиков?

Признаюсь, мне стало немного не по себе. Кажется, я чего-то не понимал.

– Подлец! – без особой ласки прошипел он. – А где тот? Где этот проклятый кондукторский вожак? Что с ним?

– А черт его знает! – буркнул я. – Разве за всеми усмотришь? Наверное, ест сосиски в другом ресторане. У нас сегодня слишком шумно для приличного посетителя.

Выкинули меня из незнакомого подъезда. Еще два дня я считал себя служащим сыскной конторы братьев Рипп, потому что меня вызывали и били под лестницей. Мне это так не понравилось, что я окончательно плюнул на свою семнадцатую профессию.

## Неудача Кости Галкина

Речь идет о Косте Галкине, младшем чертежнике конторы «Промстрой», молодом рябоватом человеке без особых примет. О его честолюбии, неразделенной любви к Елене Петровне и неудаче, постигшей его на пышном и радостном карнавале в городе З.

Так как Костина неудача принесла ему много огорчений, а нам его жалко, мы остановимся подробно на некоторых обстоятельствах этой неудачи, не скрывая никаких деталей,

– Елена Петровна, – неожиданно и тихо сказал Костя, впиваясь обожающим взглядом в холодную завивку сослуживицы, – какой я себе костюмчик к карнавалу удумал!

– Испанский? – деловито осведомилась Елена Петровна, стирая пухлой резинкой лишнюю линию на чертеже. – От нашей конторы четверо будут в испанском. Двое из счетного отдела и двое внештатных. Счетные в плащах, внештатные за одеялами побежали: сами шить хотят. Завхоз Иван Сергеевич тоже в испанском хочет. Персидскую шаль ищет и губную гармошку. Тореадором одевается.

– Я, Елена Петровна, – обиженно заметил Костя, – испанцем не буду. Это при царизме помещичьи дети на карнавалах бегали испанцами. Это, Елена Петровна, пошлость и почти непонимание. Я, Елена Петровна, себе сельскохозяйственное удумал. Чтобы и на приз и выдержанно.

– У меня сосед снопом одевается. Только боится, что курить рядом будут – как бы не подожгли. Он семейный и огня боится.

– Сноп – это мелко, – покачал головой Костя Галкин. – Сноп не означает. Снопы и в мелкобуржуазных странах зачастую встречаются. Я, Елена Петровна, трактором буду.

– Это что же, вас, Костя, по аллеям на колесах катать будут или сами кататься будете?

– Сам. Я для ног дырки оставил. А какой я для вас костюмчик удумал, Елена Петровна...

– Какой, Костя?

– Стоячий, – горячо зашептал Костя, чтобы не подслушали сослуживцы. – С боков фанера, пояс соломенный, сверху голова в маске, а снизу ободок.

– Это что, изба-читальня? – недоверчиво, но с некоторым любопытством спросила Елена Петровна.

– Нет, – еще больше сбавил голос Костя. – Тоже сельскохозяйственное – силосная башня. И как у меня для ног, так у вас для рук две дырки сбоку. У глазного павильона будете стоять, Елена Петровна. И я рядом, и гудеть буду, чтобы привлечь внимание карнавальная общественности и жюри. Честное слово, приз получим. Это вам не испанские костюмы с беспочвенными бахромами да балалайками. Я бы вам на квартиру костюмчик привез. Разрешите?

Елену Петровну куда-то позвали. Она быстро вышла, оставив после себя обаяние недоступной прелести и легкий запах духов «Магнолия», и на ходу успела бросить восхищенному Косте:

– Ладно. Привозите. Только чтобы без гвоздей, а то всю блузку из-за вашего сельского хозяйства порвешь перед карнавалом.

Два дня Костя не приходил на работу. Измазанный клеем, он заперся у себя в комнате, пилил, строгал и энтузиастически стучал молотком. До соседей из Костиной комнаты доносились только короткие возгласы восхищения и резкие гудки автомобильного рожка.

На третий день поздно вечером к дому Елены Петровны подъехал извозчик с каким-то громоздким, очень высоким сооружением, напоминающим модель собачьего небоскреба. Из-под него выскочил Костя, постучал в окошко и, когда в темноте показался белокурый перманент, торжественно шепнул:

– Привез, Елена Петровна. Разрешите в окошко пропихнуть, чтобы не подсмотрели?

Елена Петровна испуганно посмотрела на сооружение и робко сказала:

– Ладно. А в него как – сверху влезать?

– Снизу, снизу, Елена Петровна, – суетился Костя, проталкивая костюм в окно, – вот так: ободочек поднимете и пролезете... А здесь дырки для рук... Обеспеченный приз, честное слово. В газете писать будут. Около квасного павильона встретимся. А то что – испанки, турчанки... Типичная струя пошлости...

Тронутая Елена Петровна позволила поцеловать руку, и ликующий Костя даже не слышал, как извозчик, запихивая смятый рубль за пазуху, неодобрительно проворчал:

– Нажрались на казенных жалованьях... По ночам шкафы в окошки пихают...

В день карнавала Костя заранее двинулся к парку. Небольшая, но сплоченная группа мальчишек, игравшая в камешки на пыльной и залитой солнцем улице, шумным восторгом встретила медленно передвигавшийся по мостовой темно-зеленый ящик с гудком и рулем, под которым медленно и натужно шагали чьи-то ноги в белых парусиновых ботинках. Сверху, над ящиком, маячила голова в пестрой кепке клеточкой и в синей маске на запотевшем лице.

Мальчишки помогали тихому шагу мелодичными свистками и незамысловатыми шутками. Только самый маленький из них, и поэтому наиболее жалостливый, крикнул проезжавшему мимо грузовику с цементом:

– Дяденька, довезите ящик... Там внутри человек мается...

К парку Костя пришел рано, и распорядитель с голубым бантом, прожевывая копченую колбасу, сухо заметил:

– В семь пустим, гражданин. Как ракета будет – так и идите. А пока гуляйте по улице.

– Это пусть испанки на улице ждут, – отдуваясь, взмолился Костя. – У меня сельскохозяйственное. Мне тяжело. Гвозди, дерево. Я на крайней аллейке подожду.

– Нельзя. Там и так под деревом две селькооперации, один капиталистический броненосец и Каракумская пустыня дожидаются. С утра их пустили. – Тут устроитель неожиданно заметил чей-то приятный голубой берет и смягчился: – Ладно. Топайте. Только чтобы не гудеть. А то заберутся заранее и гудят неорганизованно. Сашка, пропусти.

Темные тучи напозлали с двух сторон, и потемневший парк начинал сверкать радостными огнями разноцветный фонариков. Костя стоял около квасного павильона, поддерживая отклеившееся колесо и изредка нажимая несвойственный трактору гудок. Это были грустные и немного хрипловатые зовы любви. По ним его должна была найти Елена Петровна. Вот сейчас в полутьме покажется силуэт силосной башни и любимая станет рядом. В двух фанерных сооружениях тепло забьются сердца, а несколько позже участники карнавала оценят эту маленькую, но живописную группу.



Костя гудел. И гудки становились безнадежнее и беспокойнее: парк уже был залит чуждыми Костиному сердцу турчанками, испанками, представительницами неведомых рас в буйных волнах пестрого ширпотреба, острыми пародиями на городской водопровод, туркменками в кепках, желтыми парашютистками, представителями толстых западных капиталистов в бумажных цилиндрах и серых тапочках, – но силосной башни не было.

«Придет, – неуверенно убеждал себя Костя. – Елена Петровна не такая».

Но ее не было. Уже бегали маски, рассовывая призовые билетки, уже где-то в соседнем павильоне дотанцовывали седьмую румбу и готовились к восьмой. Вот мимо прошел промстроевский завхоз в пестрой шали, загадочно икая. Кто-то, проходя, сунул в Костин гудок окурочек. Ныли ноги под громоздким сооружением и холодело сердце.

– Еремицын! – дрогнувшим голосом подозвал Костя пробежавшего мимо сослуживца в незамысловатом белом балахоне, на котором было бегло начертано углем: «Долой подхалимаж!» – Еремицын!

Тот подбежал к Косте и радостно вскрикнул:

– Подгорелов? Ты?

– Нет, – грустно сказал Костя, снимая маску, – это я.

– Маска, я тебя знаю! – еще радостнее закричал Еремицын. – Ты Коська!

– Ты Елену Петровну видел? – грустно спросил Костя. – В башне такой. Снизу ободок, а посередине солома. И для рук дверки. Силосная.

– А она и вовсе без ободка, – радостно сообщил Еремицын. – И без соломы. С Сашкой Крухиным танцует.

– В испанском? – глухо спросил Костя.

– В нем. И с цветком. А сзади гребень. Пойдем покажу.

– Не могу, – вздохнул Костя. – Я в тракторе. Пошли ее сюда.

Взвилась ракета. Музыка играла туш. Где-то громко аплодировали: это раздавали призы. Эскимос, остановившийся с турчанкой покурить у соседнего дерева, сердито говорил:

– Первый бабочке дали. А второй приз – северному сиянию. Продернуть бы их в газете. Вот и потей после этого в вате. На мне, может, одних жилетов четыре штуки...

Пестрой змейкой в свете фонаря мелькнула женская фигурка. На ней была цветистая шаль, в волосах алела большая роза и блестел высокий гребень.

– Спасибо, Елена Петровна, – тихо сказал Костя, – спасибо.

– Я, Костя, – взволнованно ответила Елена Петровна, – в ваше сельскохозяйственное полчаса влезала. Я, Костя, в фанере не могу ходить. Мне, Костя, танцевать хочется. Может, выйдете, Костя? Я на Крухина кадрили записала, я на вас перепишу...

– Я не могу вылезти, Елена Петровна, – вздохнул Костя. – Я заклепанный. Я на приз шел, а вас пошлость соблазнила... Я, Елена Петровна, в костюм душу вложил... Я, Елена Петровна, сельскохозяйственную проблему разрешал, а вы в испанском костюме с Сашкой танцуете... Идите, танцуйте, Елена Петровна, не поняли вы меня...

– Может, вас к выходу докатить, Костя? – виновато предложила Елена Петровна.

– Сам докачусь. Идите. Я мужчина. Я один перестрадаю.

Медленно и горько по освещенной луной улице передвигался Костя и скорбно говорил дружески шагавшему рядом Еремицыну:

– Нет, брат... Разве женщину увлечешь высокой идеей?.. Женщине шик нужен. Гребни, розы, ситро. Испанское. Ее к забытому прошлому тянет. В тину... Э, да что говорить... Дай закурить, Еремицын...

1936

Роковое влечение

– А что ваш супруг теперь поделявает, Анна Васильевна?

– Коленька-то? Коленька возглавляет.

– И давно это он?

– А как в Кострому переехали. Сразу. Приходит он это, как сейчас помню, домой, на лице пафос, галстук набоку, руки трясутся, и даже папироску не с того конца зажигает. Ну, говорит, Анята, вот оно началось, стихийное движение соцсоревнования, и я прямо-таки не могу его не возглавлять на данном отрезке времени у себя на переплетной фабрике.

– Включился, значит?

– Насчет включения не скажу. Даже обиделся, когда спросила. Я, говорит, временно не в состоянии включиться по случаю ревматизма и переутомления. И опять же вставать рано и в глубоких калошах на фабрику бегать, как какой-то неквалифицированной единице. Но возглавлять буду. Так вся семейная жизнь и пошла прахом.

– Да что вы, родная?

– И не говорите. С утра, как встанет, запрется – и писать. Чаю, спросишь, не надо ли, так и на то даже обижается. Ты, говорит, у меня своим неприятным голосом все красивые фразы из мышления выбиваешь. Все резолюции писал. У Вовочки все тетрадки израсходовал. Напишет, выучит наизусть и Анисью кашу заставлял по тетрадке его спрашивать – и на фабрику. А там, знаете, помещение большое, здесь речь, там речь, – домой вернется – прямо лица нет. Не переутомляй, говорю, Коленька, себя. Нет, говорит, переутомлю. Брось, говорю, возглавлять. Нет, говорит, не брошу.

– Ну и как?

– Слава богу, все благополучно кончилось. Перевели в Тулу. А там опять это самое – ударное. Опять возглавлять начал.

– Сам?

– Сам. Остальным некогда было. И люди черствые. Сделались ударниками и в ус себе не дуют, а все остальное на Коленьку свалили. Я уж ему от всего сердца советовала: плюнь ты на них, сделайся ударником, – может, легче будет. А он вторично обижается. Это, говорит, при моих нервах – и в рядовые ударники записываться. При моем размахе незаметным винтом болтаться? Так ты своего мужа расцениваешь? Даже абажур от огорчения разбил.

Розовый. И прямо к ночи домой приходиться стал. И все на торты жаловался. Прямо, говорит, невозможно руководить стало. Как собрание – так торт. На одном – сливочный, на другом – ореховый, а я один. У меня, говорит, ни нервов, ни желудка не хватает. Потом, слава богу, и здесь кончилось.

– Перевели?

– Сам ушел. Обидели. Какой-то субъект на торжественном заседании спрашивает: а почему, мол, вы, Николай Семенович, не ударник? Коленька, конечно, стерпел и мягко возражает: пардон, а кто же возглавлять будет, если все в ударники бросятся? Ну конечно, не поняли его. Обиделся, взял отпуск и уехал. В Пензу перевелся.

– Хорошо устроился, золотая?

– Куда там! Опять возглавлять начал. Разве у нас может культурный человек спокойно жить и работать? Стахановское началось. Я уже заранее говорю Коленьке: не мучь себя, нервы у тебя средние, ревматизм наблюдается, попробуй работать. Я где-то в газетах читала, что за работу деньги платят. И вижу я, что ходит мой Коленька сумрачный такой, некрасивый и даже вздыхает в коридоре. На кого, спрашиваю, Коленька, обижаешься, а если нет, то почему? Раскрыл он мне душу около ванной: я, говорит, Анюта, разочаровываться стал. Теперь, говорит, Анюта, для человека моего широкого размаха просто гибель. Кругом – сплошная разруха настроения, грубый эгоизм и полное крушение общественных горизонтов. Возьми, например, Семенухина и положи нас с ним на весы. Что он и что Я? А Семенухин полторы тысячи зарабатывает, а у меня четыреста восемьдесят с вычетами. И возглавлять не дают. Обидно мне стало за единокровного мужа. Девять лет вместе живем. Попробуй, говорю, Коленька, примиришься с положением, стань стахановцем, – может, чего-нибудь выйдет.

– А он что?

– Сердится. Даже угрожать начал, что гриппом нарочно для меня заразится. Я, говорит, может, и стал бы, если бы от меня пафоса потребовали, а они что требуют? Чтобы мой упаковочный цех на две нормы выше работал. Я, может, стахановское движение до корней понял, я, может, конкретные заветы у себя в душе выносил, а они мне тарой и упаковкой в морду тычут. Упаковывать, говорит, всякий человек без заслуг может, а возглавлять – не всякий.

– Ну дали бы уж человеку возглавлять что-нибудь...

– Сухие людишки. И даже не стесняются. В фабричном доме живет – так кругом такие нахалы! Кто с новым патефоном по лестнице шлепает, кто пианино в квартиру впирает, кто мебель тащит, а такой человек, как Коленька, сиди и смотри. Затерли работника.

– И не говорите, дорогая! У нас это всегда. Пусть отпуск бы взял, что ли.

– Берет. В Евпаторию едет. А оттуда – в Казань. Там у него родственник – дядя – на свечном заводе служит. Насчет места ничего не скажу. Да и где Коленьке при его нервах местом интересоваться. Устроится возглавлять – и за то слава богу!

1936

Чемодан

Будучи трамвайным вором, Пашка Симков привык определять пригодность пассажира для

своих операций сразу, не вдаваясь в психологические подробности. От остановки до остановки всего две минуты – где там высчитывать, сколько у человека может находиться денег в заднем кармане и как он будет реагировать, когда их у него вытянут: хвататься за голову, жалобно скулить или бросаться на ни в чем не повинного соседа?

Другое дело – на железной дороге, где Пашка только что начал работать, поплыв к более широким горизонтам своего беспокойного ремесла. Здесь можно осмотреть пассажира спокойнее, деловито взвесить, стоит ли у него утаскивать чемодан на остановке или же просто, с легким извинением проходя мимо, вынуть привычным движением у него часы и пойти с жуирующим видом покурить на площадку.

Вот и сейчас он уже около часа сидит в вагоне дачного поезда и деловито, прикрыв один юркий глаз пестрой кепкой, наблюдает за толстым безбородым человеком в серой шляпе, упоенно жующим ветчину.

«Ишь ты, мордастый! – почти любовно подумал Пашка, решив, что маленький клетчатый чемоданчик у него он стянет на первой же остановке, когда пассажиры хлынут из вагона. – Орать будет, черт... Наверное, кассир какой-либо бухгалтер. Поди, еще деньги казенные везет... Быть тебе, коту собачьему, без чемодана!»

Пассажиры действительно ворвались в вагон пестрой, шумной, взволнованной толпой, и, когда поезд тронулся от дачной платформы, а толстый человек плотоядно вытягивал из портфеля приплюснутый в бумагах учрежденческий шницель, Пашка уже торопливо шагал по направлению к незнакомому, залитому солнцем леску с клетчатым чемоданом в руках.

Трава была еще мокроватая от недавнего дождя, и сосновые иглы блестели, как стеклянные. Пашка расстелил под деревом пальтишко, по-хозяйски положил рядом с собой чемодан, сел и подмигнул какой-то пестрой птице, скакавшей на ветке:

– Кыш, подлая!.. А то еще в свидетели попадешь!

Чемодан открывался туго. Но внутри что-то так солидно и обещающе перекатывалось, что у Пашки даже радостно екнуло в сердце.

– Не встать с места – деньги! Запачкованные. Беспременно казенные трешницы в бандерольках.

Когда щелкнул отломанный замок, Пашка даже зажмурился от предвкушения находки, но заглянул внутрь и разочарованно свистнул: в чемодане лежали толстая бухгалтерская книга и какие-то ведомственные расписки.

«Надул, гад, – с неприязнью вспомнил он толстое лицо владельца чемодана с жирным куском ветчины у рта. – Служилый мелкач, а жрет, как начальство...»

В досаде Пашка полежал несколько минут лицом кверху, следя за пестрой птицей, клевавшей кору, потом зевнул, лениво потянулся, вынул из чемодана толстую книгу, вывалил на траву расписки и стал просматривать.

На первом же листке из блокнота, попавшем под руку, было тщательно выведено:

«Аннотация к книге И. Сапсоева „Как счищать снег с крыш“. В настоящей книжке автор подробно рассказывает, каким образом, преимущественно в зимнее время, производится очистка от снега крыш, крылец, тротуаров и других нежилых мест. Не везде идеологически приемлемая, эта книга все же может служить ценным пособием для дворников и лиц, их заменяющих. Младший консультант Л. Прицкин».

Внизу, под аннотацией, стояла размашистым почерком резолюция:

«Выдать тов. ПРИЦКИНУ за подробную аннотацию о книге „Как счищать снег с крыш“ (24 стр. плюс обложка) 500 (пятьсот) рублей. Старший консультант Е. Хворобин».

Пашка еще раз внимательно осмотрел записку, даже перевернул: нет ли чего на другой стороне? – вздохнул и отложил в сторону.

– Так, значит, – угрожающим шепотом протянул он, – прочитал книжечку и полтыщи оттяпал... Здорово!..

На второй странице бухгалтерской книги Пашкино внимание привлекла несколько непонятная, но тонко сформулированная запись:

«Старшему консультанту Е. Хворобину за не вышедшее в свет второе издание сборника „Лучи и мечи“ и редакторскую работу над примечаниями к третьему изданию – 1500 (полторы тысячи) рублей. Оправдательный документ – записка младшего консультанта Л. Прицкина».

«Ишь ты, – догадливо ухмыльнулся Пашка, – перекрыл! Тот ему пятьсот, а этот ему полторы... Знай, мол, наших...»

Дальше читать стало уже интересно. На маленьком календарном листочке стояли разбросанные строки:

«В бухгалтерию, тов. Л. Прицкину на покупку учебников политграмоты и русского синтаксиса – 8 р. 40 к. Ему же за идеологические поправки к одготомнику басен И. А. КРЫЛОВА – 2200 рублей, по расчету 240 рублей за поправку. Выдать немедленно. Е. Хворобин».

Тут же была пришпилена другая бумажка, серого цвета, с пятнами от рыбы. Должно быть, наскоро оторванная от покупки. На бумажке неровным почерком, вызванным, очевидно, автомобильной тряской, стояли карандашные строки:

«Дорогой Лудя! Не валяй дурака и сегодня непременно приезжай играть в преферанс. Позвони по телефону: не помнишь ли, как фамилия автора, к которому я на днях писал предисловие? Кстати, будет пирог с осетриной».

На записке красным карандашом было выведено:

«Выдать восемьсот без удержаний. Л. Прицкин».

«Без удержаний, – сердито покосился Пашка, – удержишь с такого!.. Самосильно прет к рублю...»

Потом шли записи, которые Пашка не понял совсем. Л. Прицкин забраковал сочинения

Генриха Гейне, и за это Е. Хворобин выписал ему две тысячи. Потом Е. Хворобин одобрил сочинения Генриха Гейне, и за это Л. Прицкин выписал ему на триста рублей больше.

Пашка повернул голову и пристально посмотрел на опушку. Там, рядом с какой-то смуглой девушкой, гулял в белом кителе милиционер.

– И ходят и ходят, – недовольно произнес Пашка, быстро поднялся с земли и хотел сложить книгу и записки в чемодан. Ветер перевернул один из листков, и Пашка бегло прочел:

«В бухгалтерию. Впредь до разбора дел гр. Л. Прицкина и Е. Хворобина в Комиссии советского контроля всякую выдачу им денег прекратить».

Размашистая подпись была неразборчива. Пашка кинул на траву только что поднятую с земли толстую книгу, плюнул на чемодан, ткнул ногой в какую-то записку, быстро зашагал в глубь леса и хмуро сплюнул на сторону:

– Ворюги!

1936

Обида

В соседней комнате был накрыт стол. Из полуоткрытой двери погореловского кабинета была видна только часть стола с большим холодным гусем на блюде и пестрым винегретом в высокой хрустальной вазе.

Толстый инженер Бызин, грузно сидевший в английском кожаном кресле, воровато посматривал одним глазом на гуся и мечтал о лапе, покрытой толстой кожей: он сегодня не обедал.

Поэт Вася, примостившись около окна, рядом с Нюточкой, думал о том, как он пойдет провожать ее домой, и робко пытался прикоснуться щекой к ее волосам, пахнущим нежным и ласковым запахом скромных духов.

Остальные гости разместились на диване и по сторонам с той тихой и деликатной покорностью, с какой дожидаются в подъезде, пока пройдет дождь.

Погорелов вынул из стола прошитую черными нитками рукопись, сипловато откашлялся и, потерев рыженькую бородку, заранее обиженно спросил:

– Может, не стоит читать, а?

– Читайте, читайте, – деревянным тоном ободрил толстый инженер.

– Читай, Аким Петрович, – грустно уронил тихий старичок с дивана, все время шевеливший губами. – Читайте.

Погорелов начал читать. Поэт Вася успел уже подобраться к Нюточкиной руке и убедиться, что у нее нежнейший мизинец в мире. Толстый инженер еще раз обежал холодного гуся алчным взглядом и успокоил себя, что ужин все-таки будет. Тихий старичок на диване закрыл глаза и активнее зажевал губами.

Погореловская повесть зареяла в воздухе.

– «Свежевали барана, – гудел авторский несдержанный баритон. – Сначала выпустили кишки. Были они холодные, скользкие и пахли швейцарским сыром. И навстречу утреннему солнцу выглянули из распоротого живота остальные многоцветные бараньи внутренности».

Толстый инженер испуганно посмотрел на холодного гуся и пестрый винегрет, и его слегка замутило. Он нервно ткнул дверь ногой и, когда она закрылась, подумал: «Кажется, ничего не ел, а тошнит... С чего бы это?..»

Погорелов перевернул страницу.

– «Крепкая, как обгорелый кирпич, Авдотья приблизилась к Пятаку. В ней торжествовало женское. От нее пахло потом степных кобылиц, в волосах гордо гнездились репья и соломинки, а угреватая кожа на лице напоминала седло кочевника. Пальцы были в кизяке и торфе...»

Поэт Вася быстро отодвинулся от Нюточки, заметив, что у нее большие уши, ноздреватая кожа на шее, ему стало жалко себя, и домой он решил идти один.

– «Строили дом, – читал через страницу Погорелов. – Сначала привезли доски. Доски были двухдюймовые и трехдюймовые. Потом привезли гвозди. Гвозди были короткие и длинные. Зычными шагами загуляли плотники. Некоторые были с пилами, некоторые – без пил. Некоторые пилили, а некоторые строгали. Утром они вставали, а вечером ложились спать...»

– Ваш ход, – бойким голосом сказал тихий старичок на диване, внезапно проснувшись, сконфуженно умолк, но потом деликатно спросил: – А он что?

– Кто что? – сердито посмотрел на него Погорелов. – Герой?

– Герой, – согласился старичок.

– Я, знаете, враг этих самых фабул и сюжетов, – сухо заметил Погорелов. – Надо брать жизнь как таковую В дальнейшем герой крепнет, покупает гармошку, и на этом я обрываю первую часть. Во второй он, по моему замыслу, гонит смолу в основном.

Наступило скорбное молчание.

– Предлагаю поужинать, – горько и враждебно предложил хозяин.

Гости робко поднимались с мест.

Толстый инженер вспомнил о цветных бараньих внутренностях и вздохнул.

– А не хочется, Аким Петрович. Спать надо

с легким желудком.

– А вы, Нюточка? Вася вас проводит потом...

Поэт Вася вспомнил об Авдотье, которая пахла степными кобылицами; уныло констатировал, что Нюточка тоже женщина, виновато посмотрел на нее и уклончиво сказал:

– Не по пути нам, Аким Петрович... До трамвая, конечно, другое дело...

Тихий старичок посмотрел на развернутую рукопись и подумал: «А вдруг после ужина еще дочитывать будет?.. Может, у него эту самую гармошку на тридцати страницах покупают...» – и быстро засеменял к выходу.

Когда гости разошлись, Погорелов разделся и подошел к этажерке, на которой лежал только

что полученный толстый журнал. Он кисло перелистал неразрезанные страницы, зевнул, бросил журнал на кучу газет, пылившихся в углу, и, влезая под одеяло, прошептал обиженно, сердито:

– Тоска... И зачем только печатают всю эту муру? Даже почитать нечего...

1936

Таня и Татьяна

Совсем дня за два, за три до начала занятий Таня осталась на даче одна с ворчливой домработницей Нюшей и в первый раз нарушила честное слово. Недрогнувшим голосом она обещалась маме, уехавшей в город, лечь спать ровно в одиннадцать («Честное слово, мамуля! Мне же не десять лет, а тринадцатый год – я не маленькая, и можешь не беспокоиться!»). И обманула без зазрения совести.

В первый же вечер достала у соседей маленький томик Пушкина и читала «Евгения Онегина» до трех утра. Во время письма Татьяны коптила поломанная дачная лампочка, в нос забралась сажа. Но вскоре наступил холодный ответ Евгения, было очень обидно, текли слезы, и не хотелось обращать внимания на мелочи. А когда уже в холодном Петербурге в тоске безумных сожалений к ногам Татьяны упал Евгений, Таня немного успокоилась, с ужасом увидела, что в окошке светло, и в испуге уснула, даже не задув лампочку.

Разбудила ее Нюша тихим, но твердым предупреждением:

– Приедет мать – все обскажу. Нос-то промой, читательница.

Особой паники в Танину душу угроза не внесла. В конце концов, мама – это мамуля, а не кто-нибудь, и ей все можно объяснить. И она все поймет, особенно если ее поцеловать в ухо во время шепота. Таню волновало другое: почему Ольга не могла вызвать Ленского в коридор, объяснить ему, почему она танцевала с Онегиным, и как не стыдно интеллигентному человеку орать на именинах и до смерти драться при чужих людях недалеко от мельницы. Волновало еще многое, и очень хотелось с кем-нибудь поделиться своими догадками и соображениями. Натягивая чулок на пухлую ногу с невымытой по случаю отъезда матери пяткой, Таня заискивающе сказала Нюше:

– Какую я книжку читала!.. Как будто одна Татьяна Ларина влюбилась в одного Евгения и послала к нему записку через няньку...

– Няньков теперь нет... – сухо заметила Нюша. – Сама поди ставь себе чайник, а мне обед готовить надо...

И вышла.

После чаю Таня побежала к соседям. Все ушли на реку, и дома был только Николай Тихоныч, который где-то служит, очень умный и ходит в пижаме.

– Я «Евгения Онегина» прочитала. Здравствуйте, Николай Тихоныч, – доглатывая малину, сказала Таня. – Очень интересно. Только маленький кусочек остался. Вам жалко, когда Ленского убивают?

– Прекрасная ария, – зевнув, сказал Николай Тихоныч. – Обязательно сходи. Только когда Козловский поет. У него это лучше.



– А Татьяна, по-моему, хорошая, – отвечая своим мыслям, добавила Таня. – Ольгина сестра.

– Разве? – еще раз зевнул Николай Тихоныч. – Может быть. Рекомендую посмотреть «Кармен». Тебе больше понравится. Цыгане, балет, быки. Быков, впрочем, нет, но тебе понравится.

Четыре дня ходила Таня, наполненная Пушкиным, Татьяной, безвременной смертью Ленского, снегом в чеканных стихах и колебаниями Евгения. Хотелось с кем-нибудь поговорить обо всем этом, захлебываясь, торопясь, споря.

Приехав в город, забежала в школу узнать, когда начнутся занятия. На школьном дворе познакомилась с второгодником Игорем Бурыкиным, который уже проходил «Евгения Онегина» по учебнику и насчет разговоров о нем уклонился, заметив только вскользь, что этот самый Евгений – подозрительный типчик.

Попробовала было дома поговорить с мамой, но мама в середине рассказа так несерьезно и сочно поцеловала ее в сладкие от варенья губы, что пропала тема.

И только через шестидневку, которая пролетела как-то незаметно, Таня вернулась из школы радостная и возбужденная, торопливо обедала и после обеда капитально уселась за Пушкина.

– Закрой радио, – распорядилась она. – Тебе говорю, мама. Я читать буду. Завтра у нас в классе «Онегина» разбирают. И, пожалуйста, не кричи, если я позже сидеть буду. Мне надо.

На другой день в школу Таня пошла на полчаса раньше. Урок русской литературы был первым, и на лицах у ребят еще веял теплый румянец недавнего сна. Учитель Сергей Семеныч, хмурый лысый человек с общипанной бородкой и булькающим, как галька на морском берегу, голосом, отложив журнал, сказал:

– Начинаем проработку произведения Пушкина «Евгений Онегин». Все читали?

– Все! – радостно крикнула Таня.

– Подлиза! – толкнул ее в бок Петя Хмырин, серьезный мужчина, выстриженный наголо, рыболов и контрамарочник. – Карьеру строишь?

– Тогда запишем, – продолжал Сергей Семеныч, прохаживаясь по классу. – Пишите сначала, ребята, план...

На партах серыми, желтыми и зелеными птицами взметнулись свежие тетрадки.

– Вот здорово, – зашептала Таня, обернувшись назад. – Вот увидишь, Верка, как это интересно!.. Я два раза читала...

Сергей Семеныч остановился около окна, внимательно посмотрел вниз, как на дворе вырывали водопроводную трубу, порылся в карманах, нашел запонку, которую считал потерянной, и начал:

– «Семья Лариных как представителей мелкопоместного, беднеющего дворянства». Записали? «Влияние провинциального неслужилого дворянства на быт полупоместного полудворянства. Точка с запятой. Роль девушки в условиях вырождающегося крупного землевладения при наличии развития городов...»

– Татьяны или Ольги? – тщательно записывая, тихо спросила Таня.

– Всякой, – ответил Сергей Семеныч. – Не перебивай, когда диктуют. «Городов...» Идем

дальше. «Влияние иностранной культуры на дворянскую молодежь, получавшую незаконченное высшее образование в условиях общения самодержавной России с западными культурными центрами...»

– Это кто: Онегин? – еще тише спросила Таня.

– Ленский. О нем так и сказано: «Владимир Ленский с душою прямо геттингенской». Пишите: «Геттингенская школа философии как родоначальница индивидуализма в эпоху намечающейся связи между торговыми центрами Европы...» Понятно?..

– Понятно, – вздохнула Таня. – А Онегин был культурный?

– Нет, – сухо и недовольно кинул Сергей Семеныч. – У Пушкина сказано прямо: «Бывало, он еще в постели». Этим поэт подчеркивает паразитическое социальное положение Евгения Онегина, который, не имея собственных средств к существованию, жил на крестьянские накопления... Пишите: «Онегин как результат перерождения крупнопоместных молодых людей в тип городского мелкого буржуа перед капиталистическим наступлением города на деревню...»

– Я тебе говорил: типчик! – ехидно шепнул Тане второгодник Игорь Бурыкин.

– А зачем Татьяна вышла замуж, раз она любила Евгения? – не выдержала и дрожащим голосом спросила Таня.

– Я не могу вдаваться в детали, – сердито обернулся Сергей Семеныч. – И вообще, что это за вопросы? У меня три урока на Пушкина... У меня Лермонтов на носу, не считая Гоголя, а меня прерывают... Татьяна вышла замуж за генерала потому, что разоряющееся среднепоместное дворянство, чувствуя свою гибель перед наступающей крупной буржуазией, искало контакта с влиятельной военной средой... Понятно?

– Понятно, – робко ответила Таня и капнула конфузливой слезой на две синие линейки тетради.

Сергей Семеныч посмотрел на часы, обиженно вздохнул и начал диктовать уже почти скороговоркой:

– Пишите, ребята... Осталось всего семь минут... Ну так вот. «Индивидуализм Онегина и его пристрастие к путешествиям как следствие влияния Байрона, типичного идеолога английского фермерства в годы борьбы сельского хозяйства с продвижением фабричной промышленности в глубь Великобритании...» Ты что, выйти хочешь?

– Выйти, – всхлипнула Таня. – Я платок в пальто забыла...

Шла домой из школы Таня грустная и обиженная. Рядом с ней шагал второгодник Игорь Бурыкин, который никак не мог понять, почему она такая.

– У тебя что: живот болит? – сочувственно спросил он.

– Нет, – вздохнула Таня. – Так... А тебе Татьяна нравится?

Игорь Бурыкин слегка задумался, потом неопределенно ответил:

– Так себе. Мелкопоместная.

На этом они расстались. После обеда Таня подошла к своему столику, взяла томик Пушкина и потянула за розовую закладку – оставалось дочитать всего две-три страницы. Она села за книгу, потом резко отложила ее в сторону и виноватым голосом сказала матери:

– Мамуля, воткни радио... Читать что-то не хочется...

1936

А. С. Бухов

(Биографическая справка)

Имя писателя Аркадия Сергеевича Бухова (1889—1944) вошло в историю советской литературы как имя автора талантливых юмористических рассказов, сатирических фельетонов, острых газетных статей.

Писать Аркадий Бухов начал до революции. Еще совсем молодым человеком вместе с Аркадием Аверченко и Тэффи он уже сотрудничает в журнале «Новый Сатирикон».

В статье к сборнику юмористических рассказов Бухова («Советский писатель», 1959) Леонид Ленч так характеризовал начало его творческого пути: «Бухов был отличным техником комического рассказа. Он писал легко, много, смешно. Писал, „как все“, не затрагивая острых социальных проблем. Протест против социальных язв тогдашнего общественного строя России очень редко появлялся на страницах „Нового Сатирикона“.

Но в рассказах Бухова того времени есть своя сильная сторона. Их автор был нетерпим к самодовольству, пошлости мещанского обывателя, «сытости» буржуазного быта. Вместе с другими сатириконцами он смеется над глупостью, нелепостью мещанской обыденности, лицемерностью отношений в буржуазной семье. Злые пародии Бухова не раз прикрепляли к позорному столбу всяческую литературщину с ее дешевыми штампами.

Октябрьскую революцию Аркадий Бухов принял не сразу, но, вернувшись из-за рубежа в самом начале двадцатых годов, он отдает свое перо на службу Советской родине.

Его увлекает оперативная работа советского журналиста, ее масштаб, широта тем, действенность печатного слова. Он становится одним из активнейших сотрудников журналов «Чудак», «Бегемот», «Безбожник», печатает свои рассказы, фельетоны и в других советских сатирических журналах, публикуется в «Литературной газете», «Известиях» и др.

С 1934 года Аркадий Сергеевич Бухов переходит на постоянную работу в журнал «Крокодил», где заведует литературным отделом.

Известный советский писатель-очеркист Михаил Кольцов, в то время редактор «Крокодила», высоко ценил не только талант Бухова-юмориста, но и его большие организаторские способности. А работоспособность Бухова всегда поражала сотрудников журнала. Было известно, что в случае необходимости он один мог «сделать» чуть ли не весь номер. Знали, что он и темы для рисунков придумает, и рассказ напишет, и подписи под карикатурами сочинит. И что особенно ценилось – делал он это все без лихорадочной спешки, без натуги, как бы «играючи».

При всем таланте Бухова были в его творческой работе и недостатки. Его собратья по перу понимали, что техника писательского мастерства давала возможность Бухову быстро «осваивать» новые для него темы, но профессиональная бойкость иногда заменяла подлинный жизненный юмор и сатирическую злость.

Однако по свидетельству Валентина Катаева (журнал «Вопросы литературы», № 8, 1967) за время работы в советской печати талант Аркадия Бухова обогащался, стал глубже, острее;

он теперь органичнее сочетал в себе бесшабашную веселость, поразительный юмор, способность смешить читателя с социальной направленностью, сатиричностью, гражданственностью. В лучших рассказах Аркадия Бухова ясно проявляются гражданские симпатии и антипатии автора, большого жизнелюбца, веселого, любознательного человека, жадно интересующегося всем новым, искренне радующегося успехам Советской страны.

Таким сохранила его память современников, таким можно представить себе автора произведений, собранных в настоящей книге, представляющей наиболее полное издание рассказов Аркадия Бухова разных лет.

Раздел ранних рассказов дает представление о начале его литературного пути, раздел рассказов 1928—1936 годов знакомит читателя с тем, что создано писателем в расцвете его таланта и творческих сил.

И когда сегодня перечитываешь рассказы Аркадия Бухова, то невольно вспоминается случай, о котором Максим Горький как-то рассказал Бухову, а тот, в свою очередь, поделился услышанным с друзьями: «У меня болели зубы, а я читал Вашу книжку и все-таки смеялся!»

## Примечания

1

Намек на госпожу М., у которой не было одной ноги.

2

Сам Гейне. По некоторым вариантам – В. Шекспир.

3

В Гамбурге на улице Рябой Кунигунды.

4

Тюильри – предместье Парижа в Лондоне.

5

Чувствуется влияние Оскара Уальда, который хотя и жил позже, но тоже любил хвойную растительность.

6

Лист – композитор. См. Крейцера соната.

7

Лета – река в мифологии. По Версальскому договору отошла к Исландии.

8

Витамины. Чаще всего наблюдаются в лимонах и баранине.

9

«Слово» – орган либеральной буржуазии в Воронеже, в 60-х годах.